

## Annotation

Роман Вс. Соловьева повествует о событиях российской истории, произошедших за два года царствования Петра II.

---

- [Всеволод Сергеевич Соловьев](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
    - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
-

**Всеволод Сергеевич Соловьев**  
**Юный император**

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

Роскошный дом князя Александра Даниловича Меншикова, что на Васильевском острове, представлял необыкновенное оживление. С утра до ночи толпа осаждала его, подъезжали всевозможные экипажи, у всех входов и выходов помещались караулы гвардии.

Дело в том, что вот уже больше двух месяцев, почти с самой кончины императрицы, в этом доме имел пребывание маленький император.

Светлейший князь Меншиков, когда-то бойкий уличный мальчишка, потешный товарищ Петра, потом знаменитый его сподвижник, «дитя моего сердца», по выражению покойного императора, почти полноправный хозяин России в царствование Екатерины I, теперь уже не ведал над собой ничьей власти и ничьего контроля. Хотя, согласно екатерининскому завещанию, он обязан был вершить все дела с согласия Верховного Совета, но, конечно, это было только на словах, а на деле он управлял Россией, как ему вздумается. Да и кто мог ему противиться? Его дочь была объявлена невестой Петра II. Ему никто не мог воспрепятствовать перевезти императора к себе и, таким образом, отстранить от него всякое постороннее влияние.

Было славное летнее утро. Стали поговаривать о переезде двора в Петергоф; но пока еще городская жизнь шла своим порядком: учителя аккуратно приходили давать уроки императору, и теперь один из них только что вышел из его апартаментов.

Петр II сидел за рабочим столом, окруженный бумагами, чертежами и всевозможными математическими инструментами, — ему нужно было приготовиться к следующему уроку. Но он, видимо, скучал за своим делом; он посматривал в окно на Неву, по которой мелькали лодки, и нетерпеливо прислушивался, очевидно, поджидая кого-то.

Второму русскому императору недавно исполнилось двенадцать лет, но он казался старше своего возраста. Полный, высокий, с

необыкновенной белизны лицом, с прекрасными голубыми глазами, он невольно обращал на себя внимание; напудренный, завитый мелкими буклями парик, по моде того времени, еще больше выделял красоту этого лица. Петр был похож на свою мать, «кронпринцессу» Шарлотту, и ничего не наследовал от отца, царевича Алексея.

Вот в соседней комнате послышались шаги. Дверь быстро отворилась, и на пороге показалась небольшая женская фигура. Вошедшая девушка была тоже почти ребенком и в ней сразу замечалось сходство с императором. Хотя она была совсем не хороша, с неправильными чертами лица, но глаза ее сияли необычайной добротой и обнаруживали присутствие мысли и даже какой-то недетской задумчивости, улыбка ее привлекала к себе всех, кто ни смотрел на нее.

Войдя в комнату императора, девушка окинула ее быстрым взглядом и, увидев, что нет никого, со слабо вспыхнувшим румянцем на бледных щеках подбежала к Петру и охватила его шею своими тонкими руками.

— Наташа, — радостно выговорил император, — я давно жду тебя! Я думал, ты не придешь, хотя Андрей Иваныч и сказал мне, что ты будешь наверно.

— Меня задержали, — ответила великая княжна Наталья, — но ведь ты знаешь, что если я что-нибудь тебе обещаю, то всегда и исполню.

— Ах, сестрица, — печально прошептал Петр, — отчего ты не живешь со мною? Меня в последние дни просто замучили совсем эти противные уроки. Посмотри, какая славная погода: по Неве хочется покататься, а Александр Данилыч не пускает... все учиться, да учиться...

— Ну, вот, погоди, погоди, — улыбаясь, заговорила сестра, скоро переедем в Петергоф, там будет больше свободы. Андрей Иваныч сказал, что все уж приготовлено к нашему переезду. Ведь ты любишь Петергоф. Помнишь, как весело было при бабушке? Ну, вот и опять будем устраивать разные праздники, маскарады, сам знаешь, какая Лиза на это мастерица.

При этом имени яркая краска разлилась по щекам маленького императора.

— А что же Лиза, — запинаясь, спросил он, — она не приехала с тобою?

— Нет, но она будет, она обещала за мной заехать.

Дверь опять отворилась и вошел плотный человек средних лет, с круглым, несколько женственным лицом, с мягкими вкрадчивыми манерами.

— За делом, государь, — сказал он, кланяясь императору, — это хорошо. Поучитесь, поучитесь — отдохнуть будет приятнее...

— Эх, Андрей Иваныч, да слишком уж много ученья!.. Вот сестрица приехала, с ней бы побывать хотелось. Неужто ж нельзя отказать учителю хоть на сегодня?

Вошедший улыбнулся.

— Я бы, пожалуй, отказал ему, хотя он уже тут дожидается, да что же скажет князь Александр Данилыч?

— Александра Данилыча нет дома, я видел сам, как он уехал. Голубчик, Андрей Иваныч, скажите учителю, что мне некогда, что я делом занят... Александр Данилыч не узнает даже, когда вернется, — кто ему скажет?

— Ну, хорошо, хорошо, я пойду, — ответил Андрей Иванович, — только вы уж попросите царевну, чтобы она за меня заступилась, если князь будет сердиться.

И Андрей Иванович Остерман вышел из комнаты.

— Какой добрый этот Андрей Иваныч, — оживленно заговорил император, обращаясь к сестре. — Вот если бы он всем распоряжался, не такая была бы наша жизнь! Он бы не стал меня мучить и разлучать с тобой, сестрица.

— Да, Андрей Иваныч добрый человек, он нас душевно любит, я ему верю, — задумчиво проговорила царевна, — а князю не верю. Я боюсь его и знаю, что он нас не любит.

— Видела ты сегодня княжну, мою невесту? — злобно сверкнув глазами, спросил Петр.

— Да, я сейчас встретила с нею. Она было, хотела идти за мною сюда, да ее позвали.

— Вот еще невидаль! Поговорить не дадут как следует. Знаешь что, сестрица? Сначала еще ничего было, а теперь просто мне противно глядеть на нее — на эту мою невесту! Посмотри, какое у нее

длинное лицо, как есть у Александра Данилыча; все мне так и кажется, что это он передо мною, когда я говорю с нею...

Царевна ничего не отвечала и грустно глядела своими большими глазами не мигая. Она вздохнула, но все же ничего не сказала.

— Наташенька, что же это такое? Я вот сегодня ночью проснулся, все думал: как же это будет, какая же это невеста, когда она мне противна и я... не глядел бы на нее никогда... Ах, зачем, зачем умерла бабушка! Она была добрая, я все бы сказал ей! Может быть, она и не дала бы меня в обиду.

— Да, ведь, все это, Петруша, было еще при бабушке решено; разве ты не помнишь, как она слушалась Александра Данилыча?

— Да, слушать-то слушалась, а только я знаю, что меня все же бы в обиду не дала. Бабушка, когда надо, за себя и за нас постоять умела!

Но на этот раз, видно, не суждено было маленькому императору по душе поговорить с любимой сестрой. Дверь снова отворилась, и в комнату вбежала раскрасневшаяся и запыхавшаяся девушка лет семнадцати.

Петр кинулся к ней навстречу и остановился перед нею весь красный, сияющий лучезарной улыбкой. Он несколько мгновений даже не мог сказать ни слова и только смотрел на вошедшую. Да и, действительно, было на что смотреть. Эта девушка была в полном смысле слова красавица: высокая, полная, стройная, с роскошными темно-золотистыми волосами, живыми голубыми глазами и ослепляющей улыбкой на румянном, нежном лице, она производила впечатление светлого дня, живой радостной жизни. Казалось, что она улыбалась всем существом своим, и эта прелестная улыбка не могла изгладиться из памяти раз взглянувшего на нее.

— Тетушка, дорогая, спасибо, что заглянула, — наконец проговорил Петр, кладя свои нежные белые руки на плечи девушки и крепко ее целуя.

— Аи, аи, племянничек, ты опять так больно целуешься, того и гляди кровь из губ пойдет! Сказала, что за уши буду драть, если станешь так целоваться...

И цесаревна Елизавета Петровна взяла хорошенького племянника за ухо и стиснула так изрядно, что он даже сделал неприятворную гримасу от боли.

— Чай, все ленишься, — снова заговорила она, — небось, гулять хочется! Посадили молодца за веревочку, а день-то, день-то какой, Боже мой, так вот петь и хочется!.. Встретила я твоего зверя–цербера, едет себе и ни на кого не смотрит.

Тут она сейчас же и представила, как едет зверь–цербер. И Петр, и царевна Наталья не могли не разразиться неудержимым хохотом.

Под зверем–цербером подразумевался, конечно, князь Александр Данилович, и цесаревна Елизавета из своего прелестного лица сумела мгновенно сделать живое подобие его сухой и горделивой фигуры.

— Что это ты тут подделываешь? — сказала Елизавета, подбежав к рабочему столу императора. — Цифирь все, да глупые фигурки... Видно, умны твои учителя, да не очень, зачем тебе все это? Да вот погоди, постой, разом тебе все это запачкаю.

— Ай, ай, не трогай, Лизанька, что ты это, ведь мне же ужо достанется!

Но цесаревна не слушала. Она схватила карандаш и рядом с какой-то геометрической фигурой в мгновение ока нарисовала карикатуру.

Петр и цесаревна Наталья взглянули и опять залились громким смехом: в карикатуре они узнали того же зверя–цербера.

Но Петр скоро прекратил свой смех и, даже побледнев немного, принялся тщательно вычеркивать карикатуру.

— Что если бы увидел, что если б! — озабоченно шептал он. — Тогда, пожалуй, прощай и Петергоф: да и вас ко мне пускать не стали бы.

— Ну, желала бы я посмотреть, кто бы меня не пустил! — сказала Елизавета с презрительной минкой. — А знаете? Вот вам Христос, что я сегодня зверю–церберу на улице язык высунула. Видел или нет, я не знаю, а только высунула!

— Ведь ты бесстрашная, Лиза, — заметила царевна Наталья, — только не знаю, хорошо ли это; как бы за такие твои поступки для тебя же худо не вышло.

— Да, — озабоченно проговорил и Петр, — вот мы тут смеемся и думаем, что никто нас не слышит, а того и жди у двери чье-нибудь ухо — я уж не раз замечал, что меня подслушивают.

Елизавета подкралась к двери, быстро ее отворила, но там никого не было.

Еще несколько минут продолжалась оживленная беседа в рабочей комнате императора. Цесаревна перебрала и пересмотрела все предметы, каждую книжку, каждую тетрадь и сопровождала этот осмотр своими веселыми шутками, гримасками и передразниваниями. То изображала она какого-нибудь учителя, то вдруг заговорила голосом Остермана, копировала его жесты и манеры, да так удивительно, что сам он, войдя в комнату и застав ее врасплох, не мог не улыбнуться.

— Вот вы чем тут занимаетесь, аи, принцесса, и вам не грех подымать насмех вашего верного слугу! Только все равно я буду просить вас прекратить эти шутки, не обиды ради, я не обидчив, а потому, что сам князь Александр Данилович вернулся и сюда шествовать изволит.

Елизавета мгновенно притихла, а у Петра даже лицо вытянулось.

Меншиков не заставил себя долго ждать. Медленной, важной походкой вошел он в комнату.

Друг Данилыч, дитя сердца Петрова, уже значительно изменился и постарел в это время. Его сухое лицо приняло выражение необыкновенной надменности, ему уже не перед кем было склоняться, заискивать и извертываться. При взгляде на него сразу можно было заметить, что это человек, научившийся повелевать и властвовать, невидящий перед собой никакой преграды.

Неприятным, пронзительным взглядом оглядел он присутствовавших.

— А я чаял, что ты за делом, ваше величество, — проговорил он, положив свою сухую жилистую руку на плечо императора, — по расписанию-то теперь урок математики. Где же учитель?

Петр вспыхнул и опустил глаза. Рука Меншикова давила его как пудовая тяжесть, и он не находил слов, чтобы отвечать ему.

— Чего же ты смотришь, Андрей Иваныч, — обратился Меншиков к Остерману, — нельзя потакать лени. Эх, деда-то нету, он бы эту лень дубинкой выгнал отсюда!

Цесаревна Елизавета уже давно вертелась на месте, очевидно, желая вернуть свое слово.

— Да не ворчи, не ворчи, князь, — наконец засмеялась она, думая взять шуткой и лаской, — тут виноват не Петруша, а вот мы с царевной Натальей. Ну, а на нас не поднялась бы и отцовская дубинка.

Меншиков кисло улыбнулся.



— С вас взять нечего, — сказал он, — я от вас отступился, а за него и людям и Богу ответ отдать должен.

— Да я и так сегодня много учился, — прошептал Петр, — вот сестрица говорит: день сегодня такой славный, погулять бы хотелось...

— Погулять, все гулять, — ворчал Меншиков, — еще успеешь, ваше величество, в Петергофе нагуляться. А в последние-то дни не мешало бы хорошенько поучиться.

— Да ведь он и говорит, что с утра занимался, — тихим голосом сказала Наталья Алексеевна, — я за работой его и застала. Будьте ласковы, князь, отпустите его покататься с нами.

— Всею свое время, царевна, — наставительным тоном заметил Меншиков. — Не хочу огорчать вас, но просьбу вашу не исполню. Андрей Иваныч, позови учителя. А вас, царевны, мои дочери ожидают.

Он указал им рукой на дверь с таким жестом, который исключал всякую возможность сопротивления.

Все вышли и Меншиков остался с глазу на глаз с императором.

— Ну, покажи, что ты тут делал? — обратился он к нему. — Готов урок?

Он наклонился к столу и стал разглядывать исчерченный лист бумаги.

— Это что? Только-то? Да что тут такое, кто тут напачкал? Что зачеркнуто?

— Ничего... это так... я ошибся, — прошептал Петр.

— То-то ошибся, без моего ведома и разрешения всех пускают в учебное время... Смотри, государь, учись хорошенько сегодня, я всю правду от учителя узнаю.

И, не взглянув на Петра, своими тяжелыми мерными шагами Меншиков вышел из комнаты.

Крупные слезы показались на светлых глазах юного императора.

— Что же это такое, — шептал он сам с собою, — что ни день, то он лютее становится. Неужели так-таки никогда я от него и не избавлюсь? Правду говорила Лиза — сущий зверь-цербер... Ах, Лиза, Лиза!..

Петр положил голову на руку и задумался. Слезы, едва показавшиеся на глазах его, уже высохли, все хорошенькое лицо его

улыбалось, и он глубже и глубже погружался в какие-то радостные, одному ему ведомые мысли.

Наконец голос вошедшего учителя вывел его из раздумья.

## II

На половине меншиковского дома, занимаемой княгиней и княжнами, было несравненно больше движения, чем в апартаментах императора. Сюда, обыкновенно с утра, стекались все сановники и их семейства, чтобы показаться и заявить свою преданность царской невесте.

Дом Меншикова был в то время самым роскошным домом петровского «парадиза», и на его отделку князь не пожалел денег. Вообще Данилыч не отличался скупостью, и его огромное состояние, возраставшее с каждым годом и добывавшееся самыми незаконными путями, позволяло эту роскошь. Теперь же, в последнее время, когда дочь его уже была обрученной невестой императора и на содержание ее из казны отпускалась знатная сумма, ему даже необходимо было сделать из своего дома настоящий дворец.

Царевны, проходя из рабочей комнаты императора, то и дело встречали придворных мужчин и дам, которые почтительно с ними раскланивались.

Скоро нагнал их и Меншиков и провел в дальнюю комнату, где находилось его семейство.

Княгиня Дарья Михайловна всеми своими силами старалась избегать в последнее время придворного шума. Очень часто не выходила она по целым дням из своих покоев, звала к себе дочерей и не впускала посторонних. Она и теперь сидела за какой-то работой и тихо беседовала с княжнами. Сразу можно было заметить, что любимицей ее была не царская невеста, а младшая княжна, Александра. Оно было и понятно: необыкновенная разница замечалась между двумя сестрами. Княжна Мария, как уже сказал Петр в разговоре с сестрою, была похожа на отца: высокая, сухая, с резкими чертами лица, с нахмуренным взглядом. Она редко смеялась, была постоянно сосредоточенна и угрюма и не умела ласкаться даже к

матери. Младшая, напротив, была очень живая, милостивая девушка: к тому же теперь ей особенно не следовало печалиться: она была уже почти просватана за принца Ангальт–Дессауского, который ей сильно нравился. И вот она передавала матери свой последний разговор с ним и детски наивно восхищалась всеми комплиментами, которые он расточал ей. Княгиня Дарья Михайловна с доброй материнской улыбкой покачивала головою и радовалась на свое любимое детище.

— А я вот не могу похвастаться комплиментами моего жениха, — проговорила княжна Мария.

— Что же, Машенька, тебе и пождать можно, еще будет время — государь, я чаю, и комплиментов говорить еще не умеет.

— Ну, об этом надо спросить у принцессы Елизаветы, — язвительным тоном заметила царская невеста, — для нее у него откуда и слова берутся.

Княгиня опустила глаза и печально задумалась.

— Эх, неладно! — шепнули ее губы.

— Да уж так неладно, что и сказать нельзя, — вдруг оживленно заговорила Мария, — никакого добра не выйдет. С каждым днем виднее, что ждет нас только гибель, а батюшка ничего не видит, куда и разум его девался! Был у меня жених — человек мне по сердцу — выдать бы за него, так не знала бы я никакой печали; нет, царицей захотели сделать! Ну, а коли не сделаете? Коли вконец меня погубите, кто ж виноват будет?

— Вот ты всегда так, — сказала княгиня, — видно, никогда от тебя радости не дожждаться. О ком же отец-то хлопочет, о тебе ведь!

— Совсем не обо мне, — вспыхнув, ответила княжна, — совсем не обо мне, а о себе только! Ему нужно властвовать, а обо мне он и не помышляет, думает — на его век хватит, а там, без него, пускай я разведываюсь, как знаю. Что ж, разве у меня глаз нет, разве я не вижу, что императору на меня и глядеть противно. Теперь он еще мал, не знает своей силы, а когда вырастет, так ждать мне душевной монастырской кельи, если и еще того не хуже — пример не первый!..

Княжна замолчала и заходила по комнате в волнении.

Что могла ей ответить мать? Бедная княгиня и сама все хорошо понимала; она видела, что ее Данилыч занесся так высоко, что многого и сообразить теперь не может. Она сама себе тысячу раз повторяла то, что теперь слышала от дочери. По ночам не спала княгиня: все думала

да молилась, страшные сны преследовали ее. Просыпаясь утром, каждый раз ей казалось, что это последний день их счастья; мучительные предчувствия давили ее и нигде не находила она себе от них покоя. Ей было тошно смотреть на эти улыбающиеся лица придворных, на их лесть и униженные заискивания. Ей часто вспоминались прежние, лучшие годы, привольная жизнь в Москве с сестрой Варварой, с сестрами Меншикова, с будущей императрицей Екатериной I. Как хорошо было тогда, как весело. Не знали они кручины, жили себе припеваючи, о завтрашнем дне не думая. Наезжал к ним частенько с неизменным своим Данилычем Петр Алексеевич; входил он шутливый и радостный. Пир у них шел горою, когда наезжали веселые гости; а уедут, собирались они все и придумывали шуточные письма к Петру Алексеевичу. Помнила она, как всегда подписывалась под этими письмами: «Дарья глупая». Да и потом хорошо было: Катериночка сделалась великой императрицей, доброй и ласковой, и никогда не забывавшей старинной дружбы. Всегда был княгине до нее свободный доступ, всегда они вместе толковали о делах своих, поверяли друг другу свои радости и печали. Много тоже и напастей изведывала княгиня Дарья Михайловна: бывало, уж очень зарвется Александр Данилыч, натащит себе незаконными путями кучу денег, и дойдет это дело до императора; смотрит, молчит император, покрывает своего Данилыча, да, наконец, и невтерпеж ему станет. Бывали дни, что на волоске висел Данилыч, но и тут вечной заступницей являлась Екатерина. Поплачет перед нею Дарьюшка и смотришь: на другой день всякая беда миновала. А вот теперь это житье старое, эти милые воспоминания отошли далеко, как будто их и совсем не было. Вся знать, весь двор толпится вокруг княгини, в церквях возглашают ее дочь государыней, да не на радость все это. Придет беда — кто заступится? В могиле и Петр Алексеевич, и добрая подруга Екатерина. Ненависть людская, страшная ненависть скрывается под улыбками и льстивыми речами окружающих. Один толчок, один миг — и в прах разлетится все это безумное величие! Темно и страшно на душе у княгини Дарьи Михайловны, с грустью смотрит она на своих девочек.

У дверей послышались шаги. Княгиня встрепенулась и должна была насильно заставить себя весело улыбаться и радушно встретить двух царевен. Да что же? Она ведь их искренно и любила. Одна из них

была дочерью ее сердечного друга, а великая княжна Наталья всех побеждала своим милым видом.

— В добром ли здоровьи, мои япочки? — обратилась к ним княгиня.

— Здоровы-то, здоровы, — ответила Елизавета, — только уж очень жарко нынче — в лес хочется. Когда же мы в Петергоф переезжаем, Александр Данилыч?

— Там все уже готово, — сказал Меншиков, — на этой неделе переберетесь.

— То-то, поскорее бы! Да заступись хоть ты, Дарья Михайловна, за императора, — совсем князь его у нас замучил!

Дарья Михайловна только рукой махнула, показывая этим, что не ее это дело.

Великая княжна Наталья уселась с Александрой Александровной и дружески с ней шепталась.

Княжна Мария даже и не старалась казаться любезной. Она села в угол, потупила свои глаза и, очевидно, не хотела принимать никакого участия в разговоре.

— Что так сурова, государыня? — с ясной улыбкой, несколько маскировавшей насмешливость тона, обратилась к ней Елизавета. — Не годится так хмуриться невесте. Женихи хмурых невест не любят.

При этих словах у Александра Даниловича даже рот скопился.

«Эх, подальше бы эту егозу, да поскорей!» — думал он.

— А что же, цесаревна, — взглянув на нее, сказал он, — подумала ли ты, о чем я вам вчера докладывал?

— Нет, не подумала, да и думать мне не о чем: не подходящее это дело.

— Что же, разве мой жених плох? Чем вам не пара принц прусский?

— А хотя бы тем, что он прусский, а не русский! — живо перебила Елизавета. — Я хорошо знаю, что иные люди желали бы меня подальше отсюда спровадить, да я-то уезжать не намерена. Я с тоски умру на чужой стороне — вот сестрица Анна как в письме плачется.

И веселое лицо Елизаветы мгновенно отуманилось искренней печалью: теперь она была не похожа на всегдашнюю беззаботную

девушку. Даже краска сбежала с ее нежных щек и она тихо говорила, едва подавляя слезы:

— Не ищи мне женихов, князь, все равно теперь не выйду замуж. Был жених — так Бог его к себе взял, да и не время о женихах думать, когда чуть не вчера еще матушка в гроб легла.

Тут цесаревна не могла совладать с собою и залилась горькими слезами.

Все притихли, а княгиня Дарья Михайловна подошла к Елизавете, обняла ее и сама искренно заплакала. Только одна царская невеста сидела в своем углу с безжизненным лицом и понять нельзя было, о чем она думала в эту минуту.

Но слезы и печаль Елизаветы длились недолго. Вот она опять улыбнулась, заговорила шутя и весело и под конец сумела даже оживить Александра Данилыча, который на мгновение позабыл и свои страхи, и свое, в последнее время все возраставшее, злое к ней чувство.

— Ну, князь, как хотите, а теперь я вас не послушаюсь, — вдруг обратилась к Меншикову великая княжна Наталья, — теперь уж пора отдохнуть братцу. Я думаю, он кончил свои уроки, пойду и приведу его сюда.

Меншиков ничего не ответил, и Наталья выбежала из комнаты.

В дверях Петра она, действительно, столкнулась с уходящим учителем.

— Кончил, ну слава Богу, — обратилась она к брату, — а я тебе, Петруша, пришла одну вещь сказать. Давеча Лиза помешала, а сказать нужно.

— Что такое? — живо спросил Петр.

— А вот что, братец, ты хотел мне подарок сделать.

— Да, наконец! — улыбнулся Петр. — А уж я думал, Наташенька, что ты и не поблагодаришь меня за мой подарок; я всегда о тебе думаю. Что же, хорошо я придумал? Каковы червонцы? И все-то блестят, все новые. И целых их девять тысяч? Это мне поднес их цех наших каменщиков. Я сейчас же о тебе вспомнил и послал с ними тебе Долгорукого. Что же — хороши червонцы?

— Верно хороши, да я-то их не видала, братец...

— Как не видала? Что это значит?

— А то, что Долгорукий пришел ко мне, а их не принес.

Петр поднялся и светлые глаза его загорелись гневом.

— Это что? Это что такое?.. И Долгорукий смеет...

— Перестань, перестань, не вини Долгорукого, не он тому причина, а вот что я тебе хочу сказать: несет князь Иван ко мне твой подарочек, и встретиться ему Александр Данилыч... Александр Данилыч и спрашивает: «что это ты несешь?» Тот рассказал ему: «так и так», а Александр Данилыч и отобрал у него весь мешок. Велел ему сейчас же при себе отнести деньги в свой кабинет и говорит: «император еще очень молод, не умеет распоряжаться деньгами как следует; пригодятся на нужное дело». Вот князь Иван пришел ко мне, да и рассказал все это.

Петр заходил по комнате большими шагами.

— Что же это, наконец, такое? — раздражительно говорил он, то краснея, то бледнея. — Что же, уж он мне совсем руки связывает! Я даже не могу своим добром распоряжаться, не могу сестре подарок сделать! На что же это, наконец, похоже? Какой я император? Вот он после вас со мной так говорил... так говорил, что будь моя воля, я бы его далеко куда-нибудь упрятал!..

— А разве у тебя нет своей воли? — тихо проговорила царевна. — Когда была жива бабушка — другое было дело, а теперь ведь ты в самом деле, Петя, император — подумай об этом! Не могу я видеть, сердце сжимается, как Меншиков мудрит тобою, и повторяю я, что не верю его любви к нам. Конечно, ты еще не взрослый и должен учиться, и много учиться, и умных людей слушаться, да будто кроме Александра Данилыча у нас умных людей нет?! Был он, может, умный, да из ума теперь выживать стал. Не ты теперь император, а он. Ты говорил, нет у тебя воли, а скажи себе: есть у меня воля, вот она и будет! Только в дурное что не клади ее. А Меншиков всем нам обидчик.

Петр остановился и жадно вслушивался в слова сестры. С ним, очевидно, совершался какой-то переворот. До сегодня, несмотря на все, что случилось в последние месяцы, он все еще невольно считал себя ребенком, подначальным, и детски боялся Меншикова. Тяготясь его властью над собою, он все же никак не мог себе представить, что есть какой-нибудь способ по собственному желанию выбиться из-под этой власти. И вдруг сестрица говорит, что только стоит сказать себе, что «есть воля» — и она будет. И сестрица права! Она умна, она все

знает и все понимает; сестрица очень умна! Вон еще недавно барон Андрей Иваныч говорил, что такой умной принцессы на всем свете сыскать невозможно.

Не будь истории с девятью тысячами червонцев, может быть, еще долго не пришли бы такие мысли детям Алексея; но раз они явились, так уж не уйдут наверно.

— Пойдем, пойдем! — вдруг заговорил Петр, схватывая сестру за руку. — Пойдем, я покажу Меншикову, что я не ребенок, я покажу ему! Пойдем, пойдем...

И он повлек царевну Наталью за руку в апартаменты князя.

Многочисленные гости, встречавшиеся им в каждой комнате, с изумлением видели, что он совершенно расстроен и спешит куда-то, не отпуская сестру.

Шепот пошел по комнатам: никто не понимал в чем дело, но каждый интересовался в высшей степени и строил всевозможные предположения.

Уж не пожаловалась ли она на Меншикова, вот бы хорошо было!

Император и Наталья почти вбежали в комнату, где еще находились все Меншиковы в сборе и с цесаревной Елизаветой.

— Александр Данилыч, — прямо обратился Петр к князю. — Я послал сестре девять тысяч червонцев, а ты их отнял и запер. Как смеешь ты мешать моим приказаниям?

Мальчик весь дрожал, говоря это, и со злобой глядел на князя.

Тот совершенно растерялся, не мог произнести ни слова, как будто обеспамятел, и машинально опустил на кресло. Он никак не ожидал подобного вопроса от покорного и боязливоего до сих пор ребенка. Если б кто-нибудь еще за час предсказал ему эту сцену, он никогда бы не поверил, что она возможна. Но ведь уши его не обманывают! Вот он стоит перед ним, этот мальчик, и говорит ему: «Как ты смеешь!» — и глядит на него с гневом, блестит перед ним своими глазами. До сих пор Меншикову никогда и в голову не приходило взглянуть на Петра как на императора, опасаться за свое над ним влияние, но теперь перед ним был император. И этот император обращался к нему как к подданному, заслужившему царский гнев и немилость.

Князь все молчал.



Дарья Михайловна побледнела. Младшая княжна инстинктивно бросилась к матери и заплакала. Цесаревна Елизавета с восторгом глядела на Петра, и вся ее фигура выражала торжество и радость. Одна только царская невеста продолжала молча сидеть, ни на что не обращая внимания.

А Петр все ждал ответа, и Александр Данилович, наконец, очнулся. Он заговорил так, как еще никогда не говорил с императором, заговорил робким голосом подданного.

— Ваше величество, — сказал он, — государство нуждается в деньгах; казна истощена; неотложных нужд много, и я подумал, что этим деньгам можно найти хорошее употребление. Я уже сегодня утром хотел представить вам прожект на что употребить эти деньги.

— Хорошо, хорошо, — отвечал Петр, — все это, может, и правда, что ты говоришь мне. Да если я дарю моей сестре, если я хочу, чтобы так было, так оно и будет! И ты не смеешь изменять моих приказаний! Сейчас же изволь послать эти деньги великой княжне Наталье.

С этими словами маленький император круто повернулся и, ни на кого не взглянув, вышел из комнаты.

Опомнившись, Меншиков побежал за ним и должен был бежать долго, потому что Петр не останавливался и не обращал на него внимания. Наконец Александру Даниловичу удалось поймать его за руку, он отвел его в пустую комнату и стал ласковым, вкрадчивым голосом говорить:

— Ну за что ты обидел старика, ваше величество? Я не хотел нанести ни тебе, ни великой княжне обиды. Как на детей своих смотрю я на вас.

— Какие мы тебе дети! — сказал Петр, выдернув у него свою руку.

Меншиков побледнел и затрясся. В тоне голоса нареченного зятя ему послышалась одна знакомая нота. Из-за юной и нежной фигуры Второго императора вдруг, неведомо каким образом, выглянул громадный образ Первого, и старый Данилыч, еще сейчас не ведавший границ своей власти, вдруг почувствовал себя таким же бессильным, каким бывал во время оно, когда сгибался под гневом и грозными речами своего повелителя и друга.

— Ваше величество, — снова шептал он, — прости меня, но вина моя была без умысла. Вперед во всем с тобою совещаться стану, но

опять повторяю, что и сам ты должен подумать о делах государства, должен знать, что часто добрый царь жертвует своими желаниями нуждам своего народа. Если же что и противное тебе делаю, так для твоей же пользы, для того, что хочу, чтобы достойным ты был приемником Петру Великому. И дед твой любил дарить своих близких, но только не тогда, когда подарок его мог пригодиться на пользу России. Прости же меня. Деньги верну царевне немедля, а вашему величеству теперь не мешало бы покататься, благо уроки все кончены.

— Скоро ли мы переедем в Петергоф? — вдруг обратился Петр с просветлевшим лицом. Его гнев мгновенно прошел; он еще не привык к таким сценам и при первом намеке на предстоявшее удовольствие готов был забыть всякую неприятность.

— Когда хочешь, — ответил Меншиков, — хоть завтра переезжайте.

— Ну завтра, так завтра, и слышишь, князь, непременно чтобы завтра. Мне очень хочется в Петергоф, слышишь — завтра!

Гора с плеч свалилась у Александра Даниловича.

Он взял императора под руку и, ласково с ним разговаривая, как будто ничего не было между ними, нарочно тихо прошел вплоть до комнат жены. И все придворные опять стали перешептываться и перемигиваться, и с сожалением соображали, что Данилыч совсем помирился с императором и что нелегко их поссорить.

### III

Царевны занимали дворец, остатки которого до сих пор еще существуют в конце Летнего сада. Это был небольшой и совсем не роскошный дом, несравненно проще убранный, чем дом князя Меншикова, только кругом него во все стороны шел превосходный сад, заключавший в себе теперешний Летний, Царицын луг и Михайловский сад.

Вернувшись домой после катания с императором, великая княжна Наталья велела позвать к себе барона Остермана. Он не замедлил явиться.

— Что прикажите, принцесса? — ласково глядя на нее, спросил Андрей Иванович.

— Садитесь, мне многое нужно сказать вам, — отвечала Наталья, указывая ему кресло.

Барон сел и все с тою же ласковой улыбкой приготовился слушать.

— Вот вы ушли, а после вас случились самые неожиданные вещи, — начала Наталья.

— Я уж кое-что слышал, — ответил Андрей Иванович.

— Откуда? Кто же мог вам сказать? Да, впрочем, и спрашивать нечего, вы всегда все знаете. Ну, так что же вы знаете, что вы слышали?

— На этот раз немного. Я знаю только, что была ссора у императора с князем Меншиковым и что вы, принцесса, тому причина.

— Да, я, действительно, была тому причиной.

И она рассказала Остерману во всех подробностях утреннее дело.

Он внимательно ее слушал и одобрительно кивал головою.

— Это хорошо, хорошо, — наконец заговорил он, — только все же бы лучше было, если б начать осторожнее. Ведь я говорил вам, принцесса, что дела большие всегда нужно осторожно делать и медленно, этак прочнее выходит.

— Ну да, ведь тоже говорят, что нужно ковать железо, пока горячо! — заметила Наталья.

Остерман стал опять ее расспрашивать; ему особенно интересны были подробности о том, как вел себя Меншиков, и, слушая рассказ о его смущении, о его почтительности и трепете, Андрей Иванович с нескрываемым удовольствием потирал свои пухлые руки.

«Хорошо, хорошо! — думал он. — Авось и выйдет что-нибудь. Только бы я был в стороне, только бы меня как-нибудь не замешали...»

— Ну, а теперь они как же, — спросил он великую княжну, — помирились?

— Да, помирились, только я ручаюсь вам, что брат совсем уж другой стал и никогда с сегодняшнего дня не забудет. До сегодня он был ребенок, а теперь — император, уверяю вас, милый Андрей Иванович.

Она ласково поглядела на Остермана и протянула ему руку.

Тот почтительно поцеловал эту маленькую ручку и глядел на великую княжну в полном восторге. Он видел ясно, что семя, им посеянное, попало на добрую почву. Ведь он сам направлял постоянно ее мысли в последнее время, он знал всю силу своего влияния над нею, а вот теперь оказываются и плоды этого влияния. Да, он не ошибся — так именно и надо было действовать: никто лучше сестры не мог направлять маленького императора, а сестру руководить до конца будет он, Андрей Иванович.

— Завтра мы переезжаем в Петергоф, — весело объявила царевна, — а Александр Данилович в свой Ранбов едет; будет не в пример свободней, и много можно за это время сделать.

— Ух, как много! — серьезно проговорил Остерман. — Только помните, принцесса, что все же осторожность не мешает.

— Помню, помню, я никогда не забываю ваших советов, Андрей Иваныч. Да, поскорей бы в Петергоф, — вдруг тихо и как-то печально продолжала она, — мне что-то нехорошо здесь. Даже и в саду моем воздуху как будто мало, душно что-то и опять кашель... Вчера почти всю ночь не спала, а теперь так устала, так устала...

Остерман взглянул на ее бледное лицо и невольно смутился; он уже не в первый раз замечал в ней это печальное выражение; она, точно, была нездорова.

— Прощайте, Андрей Иваныч, попробую заснуть, — прошептала царевна, протягивая ему руку.

Он тихо вышел из комнаты.

Наталья позвала свою фрейлину, прошла с ней в спальню и стала раздеваться. Скоро она осталась одна, открыла окно и села перед ним в раздумьи. Ночь была душная, в далеких кустах заливался один из последних соловьев, и странно было слышать в недавнем болоте его песни. Но это был настоящий соловей: сын или внук одного из тех, которых Петр Великий выписывал из южных губерний для своего «парадиза».

Царевна Наталья смотрела в светлое северное небо, и все грустнее и тоскливее делалось на душе ее. С некоторого времени она стала очень задумчива: переход от беззаботного детства в ней совершился неожиданно и быстро. Еще так недавно она была настоящим ребенком, ни о чем не заботилась и ничем не смущалась; ей хорошо было под крылышком доброй, хотя и не родной бабушки. Вспоминала она

теперь и великого деда, его редкие своеобразные и тем еще более дорогие ласки. И вот как скоро, как быстро всего этого уже нет — что-то будет? В уставшей и склоненной на руки голове царевны бродило множество разных тревожных мыслей; она все думала и думала о своем любимом, единственном брате, думала о том, что, несмотря на весь блеск их положения, все же они бедные дети, сироты, не помнящие ни отца, ни матери, без добрых родных, окруженные людьми, которым невозможно довериться. Один только и есть человек — Андрей Иваныч — верит ему сердце, а все же подчас и при нем берет сомнение... Хитер, больно, Андрей Иваныч, не разберешь иной раз, что у него в мыслях, а глаза смотрят по сторонам, ничего не выдавая. Большое дело задумала царевна.

Она решилась во что бы то ни стало, так или иначе, избавить императора от ненавистных Меншиковых, да удастся ли это? А коли и удастся, будет ли лучше? Не Меншиковы — найдутся другие, вот хоть бы Лиза. Брат на нее просто молится. Лиза добрая, милая, но ведь и она хитрая... Впрочем, о Лизе Наталья не могла думать хладнокровно. Еще недавно она так любила свою красавицу-тетушку, а теперь какая-то черная кошка пробежала между ними, и все ищет царевна чего-нибудь дурного в Елизавете, все старается объяснить в темную сторону. Отчего бы это? Лиза всегда так ласкова с нею, любит ее по-прежнему... но что-то такое случилось — и тянет ее от красавицы Лизы. Великая княжна еще не совсем сознавала свое чувство, а уже оно сильно развилось в ней — это была ревность! Это был страх за свое влияние над братом, за братнюю любовь к ней. Но и не одна Лиза смущала бедную царевну. В последнее время она замечала, что юный император очень сдружился с молодым Долгоруким. И мало проку видела она от этой дружбы. Долгорукий — краснобай, шутник, вот еще недавно она узнала, что он ведет беспутную жизнь, даже, кажется, пить начал, ну как тому же научит Петрушу, ведь это будет, пожалуй, еще хуже Меншикова!

— Да нет, не дам я им погубить его, — вдруг вся в волнении и сверкнув глазами сказала себе царевна. — Покуда я с ним, он ни на кого меня не променяет, я перед Богом поклялась стоять за него и быть ему матерью, отгонять от него все злое — и должна я исполнить эту клятву! Я никому не отдам его, я всю себя положу в него, я уничтожу

Меншиковых, я уничтожу Долгоруких. Пусть и она поборется со мною — увидим, кто сильнее... никому, никому не отдам я его!

Царевна поднялась в волнении и вся дрожала. Вдруг она схватилась за бок, холодные капли пота показались на лбу ее, и она слабо закашляла. Бессильно опустилась она в кресло, и крупные слезы полились из глаз ее.

— Не отдам, не отдам... а если меня возьмут от него — не люди, а Бог?.. Если умру — что тогда?.. А мне все теперь начинает казаться, что умру я скоро...

И долго она сидела перед открытым окошком и все плакала, и все думала, и никто не знал, что творится в юной душе ее.

#### *IV*

Двор переехал в Петергоф. Петр в сопровождении молодого Долгорукого, цесаревны Елизаветы и сестры объездил знакомые места и был в самом лучшем настроении духа. Он был доволен всеми сделанными предположениями и уже строил планы, как они будут охотиться и веселиться. Петергоф в то время был совсем не тот, что теперь. Царский дворец, хотя и удобно построенный, не представлял ничего особенного. Здесь была собрана еще Петром Великим коллекция картин, но картины эти находились без всякого присмотра и значительно пострадали. Дворцовая мебель была тоже петровская, т. е. самая простая. Дворец стоял на том же месте, как и теперь: с его балконов открывался вид на море; внизу били фонтаны; но парк совсем почти не был расчищен, и только в ряду мелких строений для придворных красовались два прелестные домика: Марли и Монплеzir...

В Монплезире делались приготовления для разных празднеств. Никто не знал, надолго ли князь Меншиков уехал в Ораниенбаум и когда сюда вернется; но дня через два по переезде двора на летнюю резиденцию все были поражены неожиданною и важною вестью: гонец из Ранбова известил, что светлейший князь Александр Данилович тяжело болен. Гонец привез письмо Меншикова к

императору. Оно было написано дрожащей рукою, и в нем светлейший простился с императором. Это письмо было его завещанием.

Тепло и красноречиво писал он Петру о том, какие для него наступают многотрудные годы, указывал ему его обязанности относительно России — «недостроенной машины», увещевал слушаться Остермана и министров, быть правосудным. В то же время он писал и к членам Верховного Совета, поручал им свою семью, одним словом, приготовился действительно умирать.

В первую минуту никто даже и не поверил этому известию, так оно было неожиданно; но княжеский гонец подробно рассказал о болезни светлейшего. Оказалось, что сейчас по приезде в Ораниенбаум он расхворался и теперь лежит в великой слабости и лихорадке и харкает кровью. Не верить было нельзя.

Необычайное волнение поднялось в Петергофе; все ходили друг к другу, все толковали, пожимали плечами, качали головою, изумлялись, ахали, радовались, задавали себе всякие вопросы. Что же теперь будет, коли умрет Александр Данилыч? Хорошо будет от лютого зверя избавиться; поднимутся старинные фамилии: князь Голицын будет иметь первый голос во всех делах. Иным, более рассудительным и дальнзорким, представлялось также, что, несмотря на все это, со смертью Данилыча не будет одного — не будет прежней крепкой силы в правительстве. Император и его близкие радовались всего больше тому, что вместе со смертью Меншикова уничтожится и невеста. Никогда на ней не женится император!

Петр велел снарядить экипаж и, скрепя сердце, поехал вместе с сестрою навестить Меншикова. Он застал его в постели и в плохом виде. Князя, действительно, была лихорадка. Он стонал и харкал кровью. Теперь он прерывающимся и слабым голосом повторял Петру свои увещания, и когда говорил о своей дочери — заплакал.

Юный император слушал его молча. Он не жалел князя, ему просто было неловко и хотелось уйти скорей. Он так и сделал: пробыв в Ранбове не больше часа, уехал обратно.

Тяжелое впечатление, произведенное на императора болезнью Меншикова, в тот же день совершенно изгладилось; в Петергофе его ожидала прогулка в обществе всех близких ему людей. Петр велел оседлать себе своего любимого коня; Елизавета, прекрасная наездница, тоже была верхом, царевна Наталья поместилась в коляске с княжной

Долгорукой и другой своей фрейлиной, и все они отправились верст за шесть, где в превосходной местности для них был устроен праздник: музыка и роскошный ужин.

Весело было Петру чувствовать себя на свободе. С ним рядом ехала красавица–тетушка, и он все на нее любовался. Она была сегодня еще веселее обыкновенного, озаряла всех своей беззаботной улыбкой, веселые ее шутки так и сыпались, передавались из уст в уста и возбуждали искренний смех придворных. К Петру Елизавета была очень ласкова, но все же постоянно сдерживала излишнюю его нежность. Она останавливала его порывы, напоминая о том, что он ребенок, мальчик, и что так она на него и смотрит. Его это ужасно сердило и мучило, он изыскивал все способы доказать ей, что она ошибается, что он смелый и ловкий мужчина. Он подзадоривал своего лихого коня, пускал его в галоп, молодецки перепрыгивал через рвы, глаза его сияли оживлением, на щеках выступал румянец. В своем роскошном платье, стройный и изящный, он, действительно, заставлял на себя любоваться. И принцесса Елизавета любовалась им, она очень любила этого милого, красивого мальчика, но, конечно, никогда не могла смотреть на него иначе, как на ребенка. Она хорошо знала, что еще недавно барон Андрей Иванович подавал проект о необходимости брака между нею и Петром. Она знала, что этот брак имел много хороших сторон, примирял все партии, упрочивал спокойствие государства, но все же сама не могла без смеха об этом подумать. Какой это муж — этот маленький хорошенький племянник? Настоящий жених умер, много близких, дорогих умерло и погибло за последнее время. Так вот иной раз шутит она, смеется, веселится как будто, а вдруг задумается и тяжело ей станет. Конечно, беззаботный характер берет свое, печаль проходит скоро, зовет жизнь, зовет веселье!

Иногда ей даже думалось, что в конце концов придется-таки взглянуть на Петра как на будущего мужа, по крайней мере, придется постараться над этим. Уж очень ненавистно ей было уступить его княжне Меншиковой. Но вот Меншиков болен, умирает, император не любит своей невесты, она ему противна — все уничтожается, и не о чем теперь думать. Ах, как хорошо, как весело!

Принцесса тоже подзадоривает своего коня и мчится вслед за императором, и все придворные смотрят на нее, любуясь ее красотой,



ее смелостью и природным грациозным величием.

«Воистину она дочь Петрова!» — шепчут иные губы.

А великая княжна Наталья молча и грустно едет в своем тяжелом экипаже, грустно смотрит вдаль, где мелькают фигуры брата и Елизаветы. Ее спутницы не смеют нарушить молчания, видят, что великой княжне не до разговоров. Что с ней, они не знают. Странной какой-то стала она в последнее время. Все те же неотвязные думы преследуют Наталью. Видит она, что с каждым днем усиливается привязанность брата к тетушке Лизе. С утра до вечера они вместе: где он, там и она; где она, там и он. И она хорошо знает о проекте Андрея Ивановича и просто готова возненавидеть своего старого друга за этот ужасный проект, не простит она ему никогда этого!

Вечером, после катанья, великая княжна позвала брата к себе и заперла дверь.

— Что ты так скучна, Наташа? — спросил император.

— Ах, нездорова я, Петруша, очень нездорова, да и не одно нездоровье... — печально проговорила она.

— Что такое? Обидел разве тебя кто-нибудь? Скажи только!

— Ты меня обижаешь, братец...

— Чем? Наташенька? Помилуй! Я так люблю тебя, как я мог тебя обидеть?!

— Любишь-то ты меня любишь, — тихо ответила Наталья, — а все Лизу любишь больше меня, я это хорошо вижу.

— Ах, Наташа, — краснея выговорил Петр, — ах, Наташа, зачем ты мне говоришь это? Лиза никогда тебе помешать не может. Все мое сердце принадлежит тебе, и я люблю тебя как сестру, как мать родную!.. Люблю и Лизу, только то совсем другое дело... Посмотри, какая она красавица, как ловка, весела, мне так ужасно хорошо и весело с нею... Но никогда, никогда я тебя для нее не забуду!

Великая княжна грустно улыбнулась.

— Забудешь, скоро забудешь! — странным голосом проговорила она и махнула рукою.

Петр подбежал к ней, стал перед ней на колени, прижался к ней головою, обнял ее и глядел так ласково, так любовно и смущенно.

— Петруша, голубчик, — начала Наталья, — если ты очень меня любишь, так послушайся моего совета.

— Я всегда тебя слушаюсь, — заметил император.

— Нет, не всегда; ты не верь Лизе, не верь, она обманщица, она тебя не любит, она только шутит да смеется над тобою, смотрит на тебя как на маленького мальчика, а ты и невесть что думаешь.

Петр поднялся на ноги и вытянулся во весь рост перед сестрой. Лицо его вдруг сделалось серьезным и важным.

— Во-первых, я вовсе не маленький мальчик, — резко выговаривая каждое слово начал он, — посмотри на меня, какой я мальчик? Потом, сестрица, потом, знаешь ли... ведь вот у меня есть невеста, княжна Мария. Она старше Лизы; она в тысячу раз ее хуже, а все же невеста! Ну, этой невесты скоро не будет, мне нужна будет другая, потому что мне никак нельзя без невесты — это говорит и Андрей Иванович — у императора должна быть невеста! Так скажи мне сама, какую же невесту можно найти мне лучше Лизы? Ведь это еще до смерти бабушки сам Андрей Иваныч придумал, а он такой добрый, умный, ученый — он дурного да глупого не придумает.

«Ах, Андрей Иваныч, Андрей Иваныч, и ты стал хуже врага!» — подумала про себя царевна Наталья.

— Послушай, — обратилась она к брату, — Андрей Иваныч умен, да, но только ведь и у умного человека бывает затемнение в рассудке. Хорошо он придумал, а выходит все же совсем дурно. Он немец, Андрей Иваныч, а мы русские, православные, он забыл, что грешно жениться на родной тетке: Бог не велит, церковь не разрешает.

— Это пустое! — нахмутив брови, сказал Петр и стал в волнении ходить по комнате. — Это пустое! Ради блага государства, ради неотложной нужды и Бог, и церковь разрешают. Ведь и немцы не идолопоклонники же, а у них такие женитьбы зачастую бывают.

— Нехорошо, нехорошо ты это говоришь, братец, никакой тут нужды неотложной нет, и никакого добра из этого не выйдет. Как перед Богом говорю тебе, выбрось это из мыслей, не думай об этом, не должно этому статься!

Петр молчал несколько мгновений. Наконец он обернулся к сестре.

— Видишь что, Наташа, — твердым голосом сказал он, — ты все это говоришь, потому что тебе кажется, будто я люблю Лизу больше, нежели тебя, и что если б она стала моей женою, так я тебя забыл бы совсем. Но ради Бога, Наташа, не думай об этом... Если б только могло случиться... (опять яркая краска залила его щеки), если б было это так,

кажется, счастливее меня не было бы на всем свете человека — у меня бы и сестра дорогая, и жена были бы... И никогда Лиза не может мне помешать любить тебя, да и она вовсе не хочет того, она сама тебя любит. Не говори дурного про Лизу; ты такая умная, такая добрая, зачем же ты хочешь злою сделаться, несправедливою? Сама меня учишь быть справедливым, так пример мне покажи. Во всем буду тебя слушаться, все для тебя сделаю, а Лизу не тронь, Лиза сама собою!..

И Петр, нежно поцеловав сестру, вышел от нее. Опять горько и безнадежно заплакала великая княжна Наталья.

## V

Дни проходили за днями — император все веселился. Некому было стеснять его: далеко в своем Ранбове, лежит на постели больной и умирающий Александр Данилович. Один человек только и остался, который мог бы стеснить веселье, — это Андрей Иванович Остерман. Но Андрей Иванович не стесняет императора; он говорит, что после ученья, в летнюю пору, отдохнуть нужно, повеселиться, лишь бы забавы не мешали делу, лишь бы не очень уж долго они протянулись. Следовательно, можно веселиться с чистой совестью: даже Александр Данилович наказывал слушаться Остермана. Другие близкие люди ни в чем не перечат императору. Иван Долгорукий каждый день придумывает новые забавы: то охоту устроит, то катанье с музыкой и песнями, то во дворец или под фонтанами машкараду.

Цесаревна Елизавета — душа этого веселья; дни проходят как радостный сон и только жалко, что скоро так идут они, и что времени удержать невозможно. Одной сестрице Наташе не по себе — все грустна она, иногда по целым дням из своих покоев не выходит, но сестрица Наташа нездорова; вот поправится — хорошие доктора ее лечат — поправится и снова станет веселая.

Каждый день ездят гонцы в Ранбов и из Ранбова. Сначала князю все было хуже, но вдруг полегчало.

— Не умрет еще, поди, чай, выздоровеет — что ему делается! — толкуют придворные.

И, действительно, князь выздоровел. Петр было поехал как-то к нему, да на дороге в Ранбов его самого встретил. Несмотря на доброе сердце, не мог не подосадовать император, и если ему тяжело и неловко было смотреть на слабого умиравшего Меншикова, то теперь, на здорового, он глядел положительно с враждою.

«Пусть только опять за старое примется, пусть только, — думал он, — я покажу ему, что со мной трудно тягаться!»

Случай показать это скоро представился.

Меншиков едва появился в Петергофе, сейчас же и потребовал отчета во всем, что произошло во время его болезни. Он, очевидно, забыл историю с девятью тысячами червонцев, или рассудил, что не стоит придавать ей большого значения, что это только была мимолетная вспышка и от нее ничего не осталось. Он призвал к себе царского камердинера и спросил его, куда истрачены три тысячи рублей, данные для мелких расходов императора. Камердинер начал высчитывать, но не досчитался нескольких сотен и объявил, что выдал их императору по его приказу.

Меншиков разбранил камердинера, прогнал его и велел ему немедленно убираться из Петергофа. Камердинер кинулся к императору, повалился ему в ноги и умолял заступиться за него перед князем. Петр только и желал чего-нибудь подобного и ухватился за возможность показать себя Меншикову. Он призвал его к себе и встретил так, что князь опять почувствовал возвращение своей лихорадки. Все кончилось тем, что камердинер был возвращен.

Дня через два опять повторилась подобная сцена.

Петр потребовал у Меншикова пятьсот червонцев.

— Зачем? — спросил Меншиков.

— Надобно! — резко ответил Петр.

Александр Данилович ничего не возразил и велел выдать червонцы. Петр сейчас же снес их к Царевне Наталье в подарок.

— Вот как я его учу, — сказал он ей, — небось, теперь он их у тебя не отнимет!

Но каково было изумление императора, когда через час какой-нибудь сестра объявила ему, что Александр Данилович отобрал у нее эти червонцы.

— Где он, где он, этот Меншиков? Подайте мне его сейчас же, где он? — задыхаясь от волнения и гнева кричал император.

Меншикова не было. Он только что уехал к себе в Ранбов.

Петр хотел было немедленно за ним ехать, но потом рассудил иначе.

— Слишком много для него чести, — сказал он. — Сейчас послать гонца и вернуть его! Сказать ему, что я должен его видеть, чтоб он возвратился немедленно.

Меншиков вернулся в страшном раздражении.

— Что это значит, ваше величество, — сказал он, входя к императору, — что ты меня с дороги ворочаешь? Дел важных никаких нет, уезжая, я решил все, а я устарел, чтобы ты так помыкал мною.

— Не я тобой помыкаю, а ты мной помыкать хочешь, — заметил ему Петр. — Ты верно забыл, что я говорил тебе, ты забыл, что обещал мне исполнять мои приказания и не перечить моим распоряжениям. Я подарил сестре моей пятьсот червонцев, и ты опять осмелился отнять их, что же это, наконец, такое?

— Но, ваше величество, рассуди...

Петр перебил его. Он топнул ногою и, сказав: «я тебя научу, я тебе покажу, что я император и что мне надобно повиноваться!», вышел из комнаты.

Он не хотел видеть Меншикова, не хотел о нем слышать. Светлейший не знал, что ему делать. Ему ясно было, что много неладного совершилось во время его болезни: Петр приучился к свободе, к тому же и враги княжеские, очевидно, сумели вооружить его против будущего тестя.

«Ведь, что ни человек, то враг мне лютей! — думал Меншиков. — Что же это такое? Ведь этак они в самом деле спихнут меня — беда! И не на кого положиться... Надеялся я, что Остерман за меня... Ведь вот писал он, все писал, что следит за императором, писал, что император радуется моему воздоровлению, — много писал, а, может, самый этот Остерман и есть лютейший враг мой! На кого положиться? Вот оно, последнее письмо его... ишь как расписывает: «Вашу высококняжескую светлость всепокорнейше прошу о продлении вашей высокой милости и моля Бога о здравии Вашем пребываю с глубочайшим уважением Вашей великокняжеской светлости всенижайший слуга А. Остерман». Хорош слуга! Хорош друг! Вот и Петр приписывает: «И я при сем Вашей Светлости, и светлейшей княгине и невесте и своячине и тетке и шурина поклон отдаю

любительный Петр». Но это, небось, сам Андрей продиктовал, чтоб глаза отвести мне. Нет, нужно добраться до Остермана, послушать, что-то он скажет, как вывернется!»

Александр Данилович вышел из дворца, спустился с пригорка и направился к домику, занимаемому Остерманом. Барон Андрей Иванович с утра не выходил из своей комнаты. Он знал, какая во дворце идет буря, его жена уже два раза приносила ему оттуда самые свежие вести. А во время бурь и волнений, очень часто им самим приготовленных, Андрей Иванович всегда сидел дома, одержимый всевозможными недугами. Он и теперь сделал вид больного человека: снял парик, надел шлафрок, спустил штору и даже поставил перед своею постелью склянку с каким-то лекарством.

Андрей Иванович занимал маленькое помещение — три бедно меблированные комнаты, и вовсе не позаботился, чтобы их украсить. Не любил он излишней роскоши, да и вообще никаких трат не любил; для него было несравненно приятнее отложить денежку в безопасное место на черный день. К такой же бережливости и скупости приучил он и свою баронессу, которая была ему верным другом, сумела окончательно войти во все интересы и планы мужа и без души его любила.

Баронесса Марфа Ивановна Остерман, урожденная Стрешнева, была сосватана Андрею Ивановичу самим Петром Великим, и в несколько лет счастливой семейной жизни как-то даже по внешнему виду совсем превратилась в немецкую фрау.

Теперь она только что вернулась из большого дворца и шепнула мужу, что сейчас там было крупное объяснение у государя с Меншиковым, и что Александр Данилович спешно идет теперь к их домику.

— Поди, поди, поди на кухню! — быстро зашептал Остерман. — Как будто тебя и нету!

Баронесса скрылась, а Андрей Иванович соорудил самую болезненную физиономию, лег на постель, налил себе лекарства, обернул голову мокрым полотенцем и принялся тихо стонать. Через минуту к нему входил Меншиков.

— Валяешься, болен опять, небось, помрешь к вечеру? Что-то уж долго ты умираешь, с тех пор как тебя знаю. И все от болезней твоих

лютых только распирает тебя во все стороны! — Едва сдерживая свой гнев, начал Меншиков, едва вошел.

— Болен, болен, ваша высококняжеская милость! — охая и как бы не замечая меншиковского тона, ответил Остерман, искусно выражая на своем лице невыносимые страдания. — Так голова трещит, что еле гляжу на свет Божий. Вот окно занавесил, а все глазам больно.

— А, небось, не больно глазам и не стыдно им смотреть на свет Божий, делая всякие непотребные дела? — уже не сдерживая своего гнева возвысил голос Меншиков.

— Какие такие дела? О чем говорить изволите, ваша высококняжеская милость? Ох, ох! — простонал Остерман.

— Не знает, не понимает, скажи на милость! Андрей, смотри у меня, не доводи до последнего, или ты меня не знаешь?

— Ох, ох! Да толком сказывай, ваша высококняжеская милость, ей Богу ничего не понимаю.

— Ты мне писал это письмо? — вынул Меншиков из кармана пакет.

— Я. Тут вот и приписочка есть императора.

— То-то приписочка, писать-то ты мастер! Все время меня успокаивал, уверял, что император спрашивает про меня, жалеет, желает здоровья. А что вы тут без меня наделали? Ты, я чаю, все дни турчал ему на меня!

— Боже меня сохрани и избави! — вдруг поднял голову с подушки Остерман, в некотором изумлении глядя на Меншикова. — Чтобы я мог... да зачем, скажи на милость? И откуда у тебя такие мысли берутся, ваша высококняжеская милость? Грех тебе! И, главное, одного сообразить не могу, неужто ж вы меня за малого ребенка или за дурака почитаете? Если моему сердечному расположению и респекту к себе не верите, так подумали бы о том, что сам я себе не враг. Кем же я и держусь, как не вами, ваша милость?! Ну, не приведи Бог, что с вами, так ведь куда я денусь? Сотрут меня, за одно то сотрут, что я с вами в ладах был, никогда не простят этого! Так ведь я все очень это хорошо понимаю, как же могу что-нибудь дурное про вас замыслить! Ох, ох... ишь голова проклятая!

Меншиков молчал в нерешительности.

«Нелегкая его знает, — думал он, — хитрый немец! Или тут взаправду другие руки действовали?!»

Так, в нерешительности и с тяжелым чувством, и вышел князь от Андрея Ивановича.

По его уходе в комнату прокралась баронесса.

— Ну что ж, Андрей Иваныч, ничего, заставил замолчать его! Я все у двери слышала.

— Да как же с ним иначе? — проговорил Остерман, снимая с головы свою повязку. — А ты вот что, мейн герцхен, обожди немного, да сходи опять во дворец, узнай, когда он уедет, тогда приди и скажи мне: теперь туда надо — с вечера ведь там не был.

Андрей Иванович достал маленькое складное зеркальце и приготовил себе парик; лекарство снова вылил в стклянку и сидел, дожидаясь возвращения жены. Его глаза весело смотрели, головной боли как не бывало.

## VI

26 августа в Петергофе был большой праздник — именины великой княжны Натальи. К этому дню сюда собрались даже все придворные и сановники, остававшиеся в Петербурге. Приготавливались разные празднества. Еще за три дня все убиралось, парк расчищался; у Монплезира готовился большой фейерверк. Еще накануне вечером князь Александр Данилович прибыл из Ораниенбаума со всем своим семейством. Петр хотел особенно весело отпраздновать день именин сестры и только одно его смущало — она сама. Здоровье великой княжны очень плохо поправлялось; несмотря на хороший воздух, прогулки и лекарства, она все была очень бледна, задумчива, по временам кашляла. Когда Остерман спрашивал ее о здоровьи, она печально качала головою и говорила ему:

— Ах, Андрей Иваныч, как же мне тут поправиться, когда сердце не на месте. Разве вы не видите, что кругом нас делается? Братец по-прежнему ласков со мною, но все же ни мои советы, ни ваши на него не действуют. Вот он теперь сдружился с Иваном Долгоруким, все на охоте с ним да с цесаревной...

Остерман не находил слов, чтобы отвечать ей на это. Он, конечно, не хуже ее все видел и понимал, но считал невозможным резко



вмешиваться в дела императора и отстранить Долгоруких. Теперь одна была цель у барона Андрея Ивановича — уничтожить Меншикова, и он прямо шел к этой цели, забывая все остальное.

Рано утром торжественного дня Петр проснулся и еще в постели велел позвать к себе нового любимца, князя Ивана Долгорукого. Тот не заставил себя ждать. Это был еще очень молодой человек, лет двадцати двух, с неправильным, но довольно приятным лицом и открытыми веселыми глазами. Всегда франтоватый и даже роскошно одетый, умевший, когда надо, держать себя в высшей степени прилично и с тактом, когда надо, совершенно распускаться, понявший характер императора и в короткое время вошедший ему в душу, он, естественно, должен был играть большую роль при Петре. Он был неистощим в придумывании всевозможных развлечений и удовольствий, знал, как надо говорить с юным императором, кого хвалить, кого бранить, а, главное, поддакивать и потворствовать всем капризам и желаниям своего нового друга. Петру очень нравилось, что взрослый молодой человек разделяет все его забавы, он сам при этом забывал свои годы и считал себя таким же взрослым молодым человеком. Петр развился необыкновенно быстро и, действительно, никак нельзя было принять его за двенадцатилетнего мальчика. Способный и умный от природы, одаренный крепким организмом, он торопился жить и как-то вдруг провел черту, за которою осталось его детство и прежний внутренний мир его. Конечно, он еще по-детски относился к забавам, но ведь его забавы были забавами взрослых людей! Он любил охоту, скачки и всякие гимнастические упражнения. Под влиянием Долгорукого он совсем иначе, чем несколько месяцев тому назад, стал смотреть на хорошеньких женщин. Теперь уже он сказал сам себе, что влюблен в принцессу Елизавету, и часто поверял об этой любви другу Долгорукому. Но это не мешало ему замечать и другие хорошенькие лица; ему нравилось, когда молодые девушки с почтительным кокетством относились к нему; ему нравилось слушать рассказы Долгорукого о всевозможных любовных похождениях, и не было никого, кто бы благоразумными рассуждениями и советами в другую сторону направлял его мысли. Остерман знал, что разыгрывать теперь роль воспитателя, значит, погубить себя, и благоразумно отстранялся, стараясь только казаться воспитаннику своему добрым, ласковым, всегда снисходительным человеком.

Войдя в спальню императора, князь Иван бесцеремонно сел у самой постели Петра.

— Зачем позвал меня, государь? — спросил он.

— А вот зачем: расскажи мне, что ты придумал насчет вечернего маскарада, какие костюмы? Долгорукий оживился.

— Да ничего нового не придумал. По-моему, хорошо так, как вчера мы решили. Ты, государь, оденешься Аполлоном, я — Марсом; цесаревна еще не решила, как ей одеться...

— Постой, погоди; ну, а сестра, говорил ты с нею? Согласна она быть Минервой?

— Великая княжна ответила мне, что если на то твоя воля, так она перечить не станет.

— Конечно, конечно, быть ей Минервой. Она как есть Минерва, моя милая Минерва!.. Ну, а Меншиковы как будут одеты?

— Про то я не знаю. От меня теперь, государь, отвертываться стали. Вчера едва слова добился от Александра Данилыча.

— Ничего, ничего, пускай себе, тем для них хуже, — самоуверенно проговорил император.

Куда девался его прежний страх и почтение к Данилычу. По совету сестрицы он давно сказал себе, что «есть воля», и она, действительно, оказалась: Минерва, как и всегда, была права. Петр нетерпеливо дожидался того дня, когда совсем отделается от Меншикова, и решил, что день этот скоро настанет. Иван Долгорукий, часто беседовавший с ним о Меншиковых, каждый раз более и более его подзадоривал. У них еще и вчера было решено во время праздника досаждать Данилычу и его дочери.

— Любопытно, — с улыбкой заметил Петр, — любопытно, как будет одета моя невеста? То-то хороша, чай, будет! Я думаю, такой богини никогда и не бывало; на нее древние не стали бы молиться...

Долгорукий тоже одобрительно улыбался, но не настаивал на продолжении этого разговора.

«Теперь не нужно раздражать императора, — думал он, — дела и так хороши, Меншиков останется доволен сегодняшним днем».

И Меншиков остался доволен.

Ни утром, ни за столом император не обращал на него никакого внимания. Только что Александр Данилович начинал говорить с ним,

как Петр поворачивался к нему спиною, не отвечал на его вопросы и делал вид, как будто совсем и нет его здесь.

— Смотрите, — на всю комнату сказал он Голицыну, — разве я не начинаю вразумлять его?

Эти слова облетели всех присутствовавших и достигли до уха светлейшего князя. Была минута, когда раздраженный и доведенный до отчаяния Меншиков просто хотел забрать своих и уехать из Петергофа. Но он одумался. Он понял, что этим ничего не возьмет, и хмурый бродил по дворцу, видя, что дела, действительно, плохи и что беда висит над его головою. Теперь он готов был на всякие уступки, на что угодно, лишь бы император обратил на него внимание, лишь бы подарил его ласковой улыбкой; но Петр упорно продолжал не замечать его. Всемогущий правитель государства, еще так недавно считавший себя наверху земного величия, даже со стороны теперь начинал казаться жалким: в нем клокотали и злоба, и гордость, и оскорбленное самолюбие, и страх — невольный и мучительный. Этот человек умел ладить с Великим Петром, умел обращать в самые страшные минуты грозный гнев царя в милость любящего друга, а вот теперь двенадцатилетний мальчик оказался ему не по силам!

«Да нет, этого быть не может, все это пройдет, только туча налетела, — успокаивал себя Меншиков, — разве в силах они раздавить меня! Нет, это невозможно!» — Он снова гордо поднимал свою голову и презрительно оглядывался на окружающих. Взгляды многих опускались перед ним: всем было как-то неловко смотреть на него, все понимали его положение лучше, чем понимал он сам.

На бедной княгине Дарье Михайловне лица совсем не было; царская невеста, окруженная придворными женщинами, была, по обыкновению своему, ко всему равнодушна. Младшая сестра ее оказалась чем-то необыкновенно расстроенной, но ее горе было другого рода. Она поведала его своему другу великой княжне Наталье: ее брак с принцем Ангальт-Дессауским расстроился.

Андрей Иванович Остерман всячески избегал встречаться с светлейшим князем, а при встречах строил самую умильную и печальную физиономию. Но теперь он уже не мог обмануть Меншикова: тот неопровержимо решил, что вся беда, главным образом, от Остермана.

— Что же это, наконец, — сказал он Андрею Ивановичу, — разве это возможно, что император ни разу не подошел к моей дочери, или она ему не невеста? Чего ты смотришь, воспитатель?

— Его величество так занят приготовлениями к вечернему празднику, так рассеян сегодня... Но я сейчас же доложу ему о легкомысленном его поведении; ваша высококняжеская милость, можешь быть спокойным, да ведь и государь-то почти ребенок еще, можно ли с него так взыскивать!..

Меншиков ничего не ответил, а Остерман подошел прямо к императору и передал ему жалобу князя. Он, действительно, сказал, что Петр не должен пренебрегать своими обязанностями относительно невесты, но сказал это таким тоном, что несколько не рассердил Петра.

— Андрей Иваныч, — ответил император, — поди и скажи от меня Меншикову вот что: скажи, разве не довольно, что я люблю ее в сердце, ласки излишни, а что касается до свадьбы, то ведь Меншиков знает, что я не намерен жениться ранее двадцати пяти лет. Поди и сейчас же передай ему слова мои.

Остерман немедленно исполнил приказ императора. Меншиков позеленел от злобы.

Вечером, во время маскарада, царская невеста явилась в костюме Минервы. Это ужасно раздражило Петра, так как и великая княжна Наталья была точно так же одета.

— Смотри, — громко сказал Петр, обращаясь к Долгорукому, — у нас две Минервы, но только одна из них фальшивая!

Наконец Петр счел своею обязанностью пригласить на один танец княжну Марию Александровну. Она не сделала ему никакого замечания, никакого упрека и упорно молчала, дожидаясь, чтоб он заговорил с ней.

— Зачем вы так оделись? — спросил император. — Разве вы не знали, что у нас еще заранее было решено моей сестре быть Минервой?

— Не знала, государь, — просто ответила княжна.

— Напрасно. Или вы думали, что к вам этот наряд больше пойдет? Может быть, вам кто-нибудь и сказал это?

— Никто ничего мне не говорил, и мне решительно все равно, что идет ко мне и что нет, — тихо проговорила она.

— Это нехорошо, — засмеялся император, — ведь вы еще в старухи не записались. Вам надо быть прекрасной, хоть даже наперекор Создателю!

Вот до чего дошел Петр. Даже княжна, несмотря на все свое равнодушие, побледнела и едва не расплакалась.

— Зачем вы меня колете, государь? Если я вам не нравлюсь, оставьте меня, но я ничем не заслужила ваших насмешек!

Петр взглянул на нее: перед ним было длинное, противное ему лицо, но теперь на этом лице изобразилось чувство собственного достоинства, на глазах блестели слезы. У юного императора было доброе, славное сердце, только уж очень его раздражала, возбуждала ненависть ко всему этому семейству.

Ему вдруг жалко стало княжну, и он с откровенной, смущенной и ласковой миной попросил у нее прощенья.

— Я не хотел обидеть вас, простите, — прошептали его губы.

Княжна только пожала плечами, и до конца они не сказали друг другу ни слова.

— Что говорил с тобой император? — спросила у дочери Дарья Михайловна, как только это оказалось удобным.

— Он назвал меня уродом, матушка, — ответила княжна.

— Господи, да ведь это не может быть; зачем ты меня пугаешь?

— Ну, не такими словами, а сказал это самое. Бедная княгиня понурила голову и ушла из

Монплезира в глубь парка; она не могла больше владеть собою. Она все поняла, все угадала и для нее не оставалось никакой надежды. Она заметила даже, что не так уже заискивают перед нею. Пришел всему конец и ничего больше не поправишь... И глубже в парк спешила Дарья Михайловна. Она натыкалась на кусты, не замечала, как зацепляется и рвется о сухие ветки кружево ее платья; не замечала вечерней сырости, росы, мочившей ей ноги. Крупные слезы текли по щекам ее, смывая белила и румяна. «Что теперь делать, что делать?» — шептала она и решила на последнее средство; обратиться к великой княжне Наталье. Она скоро нашла ее. Царевна тоже бежала от шума и искала уединения. И юное, безвременное отцветающее лицо Натальи Алексеевны, и старое, отцветшее лицо княгини были одинаково печальны и расстроены, и причина этого расстройства была одна и та же — юный император.

— Ваше высочество, голубушка моя, Наташенька, позволь сказать тебе слово, — проговорила в волнении Дарья Михайловна.

— Говори, княгиня, тут никто нас не слышит.

Великая княжна подняла на нее глаза и почти не узнала княгини.

— Дарья Михайловна, что с тобой? На тебе лица нет!

Княгиня не выдержала и заплакала.

— Матушка, золотая моя, хоть ты заступись за нас! Коли Александр Данилыч в чем виноват, — так мы неповинны! Сердечно люблю я вас всех и почитаю, за что же его величество так немилостив, за что обижает он мою дочку? Заступись, царевна, замолви ласковое слово. Не любя Машенька его величеству, так и не надо. Все еще поправить можно — не обвенчаны, а за что же обиды, за что гибель?!

Великая княжна взяла Дарью Михайловну за руки и грустно на нее глядела.

— Эх, княгиня, уж и не знаю, могу ли помочь я этому. И мне, пожалуй, не лучше твоего — не больно ведь слушает меня братец, у всех у нас много горя! А насчет княжны Марии я скажу тебе: и нельзя винить братца — насильно мил не будешь.

Так и не дождалась ничего бедная княгиня; последняя надежда ее рушилась, никто за них не заступится.

«Что ж это Данилыч, видно, не жалко ему головы своей, неужто не видит он, что теперь самому скорей от всего нужно отступить, только этим и спасет и себя и всех нас. Господи, помилуй, не попусти! — закрестилась княгиня. — Не знаю, на чем и остановиться, — ох тяжко, как и до утра доживу, не знаю».

## VII

Угрюмый и злобный въехал Меншиков в свой Ранбов. Ничего и никого не замечая, прошел он через анфиладу апартаментов роскошного своего дворца и заперся у себя в рабочей комнате, и к столу даже не вышел. Княгиня во что бы то ни стало решила переговорить с ним и, если возможно, добиться от него какого-нибудь благоразумного решения. Только гневен уж очень нынче, как и

подступиться к нему, не знает она! Вот тихонько подошла Дарья Михайловна к запертой его двери, прислушалась. Тяжелыми шагами ходит он по комнате. Она стукнула.

— Кто там? — раздался мрачный его голос.

— Я, Данилыч,пусти меня, очень нужно.

— Еще что там?

Но он все же отпер дверь.

— Батюшка, Данилыч, голубчик, что же это такое? На какой конец все это? — залилась Дарья Михайловна горькими слезами.

— Не хнычь, и без тебя тошно, — отвечал Меншиков. — Ну, чего тебе? С чем пришла?

— Не сердись ты на меня, Данилыч, лучше поговорим, что нам делать, подумаем вместе. Беда неминуемая над нами — сам, чай, понимаешь! На меня нынче во дворце никто и внимания не обратил, а Машеньку так государь, прямо что, почитай, назвал уродом!..

— А, я еще не знал этого, — заскрежетал зубами Меншиков, — Так вот как! Вот до чего дошли! Ну, нет, все перевернуть нужно, не бывать этому! Ничего они со мной не поделают!

У княгини и руки опустились. Она все же думала, что смирится теперь ее Данилыч, поймет свое бессилие, а он все еще заносится, все еще считает себя прежним человеком.

— Трудно, трудно теперь справиться! Хитры враги наши, и вот что я хотела сказать тебе, Данилыч, голубчик мой, подумай о нас всех. Только одно теперь остается — нужно как-нибудь умиловать императора. Ты уж стар становишься, болен, я тоже, а о детях наших позаботиться нам нужно, их спасти от гибели. Брось все, откажись, уедем подальше, хоть на Украину, ступай, попроси себе там начальство над войском. А мы где-нибудь укроемся, чтоб о нас не было и слышно; пускай все успокоится. Голубчик, Данилыч, только так нам и можно спастись; авось умилосердится государь, а то ты ничего с ним не поделаешь, только себя и всех нас погубишь...

— Дарья, не твоего ума это дело! — крикнул Меншиков. — Трусить, в ногах валяться... нет, еще не время! Для того ли я всю жизнь свою положил на службу России, для того ли поднялся, чтобы на старости лет скрыться в нору, как крот какой-нибудь, или на царской кухне дожидаться подачи!.. Нет, Дарья, нет, все еще поправить можно, я покажу им! Вот постой, в воскресенье 3 сентября у нас будет

освящение церкви, приедет ко мне государь, и все я поправлю. Не дам я врагам моим насмеяться надо мною, я покажу этой мелкоте несчастной, что не с Александром Меншиковым им тягаться!.. А теперь мне ни слова, слышишь, Дарья, и не доводи ты меня... зол я нынче.

Княгиня взглянула на мужа и убедилась, что, действительно, лучше оставить его в покое. Печально и едва держась на ногах, побрела она на свою половину.

Меншиков очень рассчитывал на освящение своей церкви. Присутствие императора в его доме и по такому случаю уничтожило бы все слухи о вражде между ними и неприятностях. Тут же представлялось удобным хорошенько переговорить с Петром и разными средствами смягчить его и устроить искреннее примирение.

Еще за четыре дня до освящения Меншиков поехал в Петергоф и с самым униженным видом упрашивал Петра посетить его.

— Не знаю, как сказать тебе, князь, на охоту я собираюсь — поспею ли?

— Ваше величество! Будь милостив, по гроб тебе этого не забуду, не откажи мне.

«Эх, как пристал, отвязаться бы от него поскорее!» — раздражительно подумал Петр.

— Ну хорошо, хорошо, приеду, обещаю, — сказал он.

Меншиков рассыпался в благодарностях и успокоенный вернулся в Ранбов. Он так был доволен, что даже забыл пригласить на торжество цесаревну Елизавету, а ему никак бы не следовало забывать этого.

Вернувшись к себе, князь начал отдавать приказания относительно устройства приема императора: ему хотелось не ударить лицом в грязь и устроить все как можно великолепно. Три дня длились приготовления. Наконец все было готово, у церкви собралось множество народу. Красное сукно было разостлано от самого дома до церковной паперти, гирлянды цветов и зелени были развешены всюду. Духовенство в новом блестящем облачении уже приготовилось к начатию службы, и только ждали императора.

— Что же не едет государь? — озабоченно спрашивал Меншиков приехавших из Петергофа, и все отвечали ему одно и то же:

— Вчера собирался, а сегодня не слышно что-то.



Прошел еще час. По дороге были разосланы гонцы, но никто из них не возвращался. Меншиков начинал волноваться больше и больше, и вдруг вспомнил, что позабыл пригласить цесаревну. Он бы сам теперь полетел за нею, но было поздно. А служба давно, давно должна была начаться. Между присутствовавшими шел почти уже нескрываемый ропот, перешептыванья, предположения разного рода, невыносимые и обидные для Меншикова.

— Что, если не приедет?! — с отчаянием думал он. — Тогда все надо мной насмеются, тогда всем будет вольно лягать меня!..

Вот, наконец, показался какой-то всадник, но он не из гонцов князя — он из Петергофа... Господи... Что такое?

— Его императорское величество изволили приказать доложить светлейшему князю, что они никак не могут быть! — возвестил посланный.

— Да отчего, отчего? — отчаянно кричал Меншиков. Но ему ничего не ответили. Он побледнел, зашатался и едва устоял на месте.

Так и освятили церковь без присутствия императора и царевен.

## VIII

На другой день Александр Данилыч приехал в Петергоф на ночь и долго искал случая увидеться с императором, но нигде не мог его встретить. Наконец он заметил его в парке с не покидавшим его теперь Долгоруким и другими молодыми людьми. Князь бросился ему навстречу и спрашивал его, отчего он не приехал вчера и за что такая немилость?

— Не мог я, не мог, нездоровилось, — отвечал Петр, не глядя на Меншикова.

— Ваше величество... — начал было тот, но император перебил его.

— Прости, князь, мне некогда, спешу!

И он быстро прошел мимо со своей свитой.

Александр Данилович остановился с опущенной головою, в совершенном отчаянии. Только теперь он, наконец, понял всю безвыходность и безнадежность своего положения. Только теперь

окончательно смирилась его гордость, и он был готов на коленях вымаливать себе прощения, готов был от всего отказаться, уступить кому угодно власть, только бы его помиловали.

Он остался ночевать в Петергофе, но не спал почти всю эту ночь, и все думал и ничего не мог придумать.

На другой день опять был в Петергофе праздник: именины цесаревны Елизаветы. Авось хоть тут можно будет что-нибудь устроить, авось выпадет случай объясниться с императором.

Рано утром приехала и княгиня Дарья Михайловна с дочерьми. На них никто почти не смотрел, все старались с ними не встречаться, быть от них подальше. Никто не сомневался, что гроза разразилась над Меншиковыми, и многие соображали, что теперь быть с ними даже не совсем безопасно — за друзей еще примут, за сторонников. И у Меншиковых не оказалось ни одного друга.

Князь Александр Данилыч еще до приезда жены вздумал пройти к Петру и настоять на объяснении, но ему доложили, что император сейчас только выехал на охоту. Не зная, что делать, Меншиков поспешил в апартаменты великой княжны Натальи, но она, узнав, что он идет, и ни за что не желая говорить с ним, выпрыгнула из окошка и отправилась вместе с братом. Одно только оставалось князю — идти к имениннице, цесаревне Елизавете. Он и пошел ее поздравить. Елизавета приняла его и приняла довольно любезно. Слава Богу, никого нет, можно поговорить, а говорить необходимо: на душе так тяжело, так смутно, нужно перед кем-нибудь высказаться.

— Что это вы, князь, такой хмурый сегодня, или опять нездоровы? — навела на разговор сама Елизавета.

— Как же не быть мне хмурым, принцесса, — печально заговорил Меншиков, — разве я не вижу, что все вооружены против меня, что лютые враги мои, наверное, оклеветали меня перед его величеством и перед всеми вами.

— Ах, совсем нет, никто не клеветал, — сказала Елизавета.

— Не разуверить вам меня, принцесса, разве у меня глаз нет, разве я не вижу? И за что так обижает меня император? Я всегда думал, что у него доброе сердце, что он умеет ценить заслуги и расположение к нему — неужто ж я ошибался? Я всего себя посвятил на службу ему и государству, мало, что ли, я о нем заботился? Если и досаждал когда своей взыскательностью, так ведь такова была моя обязанность.

Потакать ему грех был великий: я обещание дал покойной государыне, вашей матушке, внука учить и воспитать на славу Российского государства. Я должен был все силы свои положить на то, чтобы из него вышел государь справедливый и просвещенный. Вот он пенял на меня, что много заставляю учиться, — а как же иначе? Что с ним будет, коли он с этих пор перестанет учиться? Ведь вот незабвенный родитель ваш всю жизнь учился и только этим великим ученьем и прославил Россию. За что же такая неблагодарность? Да теперь взять и то, ведь я все здоровье свое расстроил в делах государственных, ведь покою себе не знаю, с утра до ночи занят, хоть бы это пришло на мысль его величеству, за что же на меня такая напасть? За что все это?

Цесаревна сидела, потупив глаза, — ей, очевидно, было очень неловко.

— Я знаю, князь, все ваши заслуги, — наконец сказала она, — и, конечно, государь их тоже не может не видеть, он очень умен, он все понимает, только что ж делать, если вы слишком многого хотите за эти заслуги. Уж говорить откровенно, так скажу я вам, что княжна ваша не по сердцу императору, и что ж с этим поделаться?

— Если только это, — зашептал Меншиков, — все это поправимо. Матушка цесаревна, поговорите с его величеством, он вас послушает, скажите ему, что все переделать можно! Моя дочь откажется, она уедет отсюда, она пойдет в монастырь, если нужно! Да и сам я хочу на покой, и я уеду хоть на Украину, к тому же там и пригожусь, может: войско еще не забыло меня, всякий солдат еще помнит наши дела военные, в которых не ударял я лицом в грязь; еще там послужу царю и отечеству. Цесаревна, будьте моей заступницей, скажите все это государю, пусть только он преложит гнев на милость!..

Елизавета обещала Меншикову исполнить его просьбу и очень была рада, когда он ушел от нее.

Он отправился искать жену и дочерей, а они давно его уж дожидались.

Княгиня Дарья Михайловна со слезами стала жаловаться мужу на то, что их все обижают, едва отвечают им.

— Уедем отсюда, уедем, невтерпех мне, князь, такое унижение!..

— Хорошо, уедем! — вдруг ответил Меншиков и приказал запрягать свои экипажи.

Но они поехали не в Ораниенбаум, а в Петербург.

Прямо с дороги, не заезжая на Васильевский остров, Меншиков отправился в заседание Верховного Совета. Там в этот день присутствовали: Апраксин, Головкин и Голицын. Меншикова не ожидали, и при его входе все переглянулись между собою. Он это сейчас же заметил.

— Что у вас тут на сегодня? — спросил он.

— А вот господин интендант Мошков докладывает, что летний и зимний дома его величества в три дня могут быть убраны к случаю государева приезда. Вот и указ его величества.

Меншиков прочел:

«Летний и зимний дома, где надлежит починить и совсем убрать, чтобы совсем были готовы...» Дальше он не мог читать, у него потемнело в глазах.

Подъезжая к своему дому, он увидел, как укладывают и вывозят вещи из апартаментов Петра. Совсем обессиленный вошел он в свои палаты, никому не говоря ни слова. Нечего теперь ему делать, не на что надеяться...

Он заперся на ключ и пробовал даже молиться, но молитва не шла ему на ум, да он и не умел молиться.

В вечеру, однако, он вышел из своего оцепенения; стал метаться по комнатам, закричал на жену, пробовавшую было заговорить с ним, и вдруг приказал закладывать экипаж. Он опять поехал в Петергоф уже ночью, а наутро, чуть свет, отправился в домик Остермана.

Барон Андрей Иванович только что встал с постели и при входе князя ласково поднялся ему навстречу. Теперь он совсем не был болен, а напротив того, во всей его фигуре и движениях изображалось полное довольство собою и здоровьем.

Меншиков не подал руки Андрею Ивановичу и прямо приступил к делу.

— Предатель! — с искаженным лицом зашептал он. — Так вот твоя благодарность! Вот что ты для меня сделал! Что ж, и теперь, пожалуй, станешь вывертываться, говорить, что для меня старался?!

— Ах, ваша милость, ты опять со старым, — проговорил Остерман.

Но Меншиков не обратил никакого внимания на его слова.

— Ведь император не хочет говорить даже со мною, не глядит на меня... Сейчас же объясни мне, что это значит?

Андрей Иванович пожал плечами.

— Боже мой, да я-то почему знаю? Право, ты принимаешь меня за нечто нераздельное с императором. Как же я могу отвечать за него? Я могу говорить ему, убеждать, но он волен меня не слушать. Ты говоришь, ваша светлость, что он не глядит на тебя, а завтра, может, и на меня глядеть не будет, так я-то чему тут причиной? Я не могу отвечать за чувство его величества. Вот он теперь от рук совсем отбился, с ним и говорить-то, не то что спорить, не приходится!..

— А, вот как! — заскрежетал зубами Меншиков. — Вот как ты теперь поговариваешь, немецкая лисица! Так вот ты какой воспитатель, вот как исполняешь свои обязанности! Тебе нужно на добро наставлять императора, внушать ему непрестанно добрые правила, на то ты к нему и приставлен, а ты только потекаешь всему дурному — вот ты какой воспитатель!

Остерман молчал и сидел совершенно спокойно.

— Что же ты думаешь, что на все твои бесчинства и продерзости никакого суда нет, ты думаешь, что все можешь творить безнаказанно?! Но я еще, голубчик, докажу тебе, что ты ошибаешься: не всегда и хитрость помогает. Знаю я все, — продолжал, задыхаясь, Меншиков, — все теперь знаю, не скрылся ты от меня: ты немец, ты безбожник, ты от православия отвращаешь государя, вот ты что делаешь! А ты знаешь ли, что за это тебе будет? Ты вот мне яму выкопал, да смотри, сам попадешь в нее — за совращение государя в безверие твое ты будешь колесован!..

Меншиков замолчал: он не был в состоянии больше выговорить слова. Лицо его было страшно; он поднялся перед Остерманом и сверкал на него глазами. Но барон Андрей Иванович несколько не смутился. Тихим и мягким своим голосом сказал он князю:

— Можешь говорить все, что тебе угодно, меня ничем не испугаешь. Я знаю, что мне надлежит делать, знаю свои обязанности и веду себя так, что меня колесовать не за что; а вот я так скажу тебе, что знаю одного человека, который взаправду может быть колесован!..

Андрей Иванович медленно поднялся и вышел из комнаты, а потом и совсем из своего домика.

Меншиков несколько минут сидел неподвижно, ничего не понимая, и наконец сам вышел, опустив голову. Все предметы кружились перед его глазами, ему казалось, что сам он кружится в

каком-то вихре и мчится куда-то в черную пропасть. Ему становилось душно, невыносимо.

## IX

С каждым днем все более и более волновался придворный мир, окружавший маленького императора. Наконец наступило ожидаемое всеми время: над головой всевластного Меншикова должна была разразиться гроза, и эта гроза окончательно его повалит — и рухнет с корнем дуб, над которым тщетно пробовали свою силу всякие хитрые и нехитрые люди. Еще недавно думали, что борьба со светлейшим немислима но вот один ложный шаг этого великана преобразил робкого ребенка в неумолимого врага. И этот ребенок выступил смело в открытую борьбу с великаном, и вот-вот повалит его, и ничего не останется от великана. И волновались, и радовались, обсуждая это, придворные люди. Пуще всех работал барон Андрей Иванович, но его работа, по обыкновению, велась самыми таинственными путями и никому в глаза не бросалась. Совсем иначе действовали представители старинной, еще недавно имевшей огромное значение, но теперь отодвинутой Меншиковым на второй план, фамилии, князя Долгорукие. Они были самыми злейшими врагами Меншикова, никогда не могли ему простить его необычайного возвышения, тем более, что был он человек низкого происхождения.

Долгоруких было много. Один из них, князь Алексей Григорьевич, человек ловкий, хитрый, хотя и бесхарактерный, сумел постоянными угождениями и лестью понравиться юному императору. Сын его, Иван Алексеевич, как мы уже видели, был другом Петра, его наперсником. Был и еще один Долгорукий — Василий Лукич, двоюродный брат Алексея Григорьевича, известный дипломат. Этот умом своим и характером мог заткнуть за пояс всю родню, и его пуще всего должен был бояться Меншиков.

В то время как Александр Данилович метался, Не зная что предпринять, разъезжал из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, Долгорукие неизменно находились при императоре. Поздно по вечерам собирались они всей родней у Алексея Григорьевича в одном из

петергофских домиков. В этом же небольшом, но богато устроенном домике жила и княгиня, Жена Алексея Григорьевича, и две ее дочери.

Император только что вернулся с охоты. Он устал, лег спать и отпустил от себя Ивана Долгорукого. Тот отправился было домой, но вдруг какая-то счастливая мысль пришла ему в голову, и он повернул в другую сторону.

«Опять толкуют старики! — подумал он, глядя на освещенные отцовские окна. — Все там одно и то же, скука смертная. Да и ничего особенного нет рассказать им, еще успею вернуться...» И князь Иван, насвистывая какую-то веселую песню, спешными шагами направился в глубину парка.

В домике Долгоруких происходило родственное совещание. Тут находился и Сергей Григорьевич, родной брат Алексея, и Михаил Владимирович, дальний его родственник, и сам Василий Лукич.

— Час-то ведь уж поздний, — заметил Алексей Григорьевич, посмотрев в окно, за которым в тишине и темноте ночи шептались деревья. — Неужто до сих пор они не вернулись?

— Как не вернуться, вернулись, — сказал Сергей Долгорукий.

— Куда же это Иван запропастился?.. Опять где-нибудь беспутничает, — проворчал Алексей Григорьевич.

— Ну, небось, было бы что важное, забежал бы сказать, — отозвался молчаливо сидевший в углу Василий Лукич. — Беспутный малый твой Иван, да не совсем, до дела дойдет, так все шалости забывает! Ты, брат, его не очень уж — я за него всегда заступлюсь. Ничего, прок из него будет! Он дела свои получше нас с тобой обделывает. Правда, выдержки еще нету, ну да наострится.

— Не хвали ты Ивана, братец, хоть и сын он мне и в деле нашем человек нужный, а ничего про него сказать не могу. Вон у матери спроси, — с детства такой был; да и боюсь я тоже, как бы он не зарвался... Мы тут свои все, — скажу я тебе, что Иван-то мой выдумал, знаешь, с чем подъезжает теперь: — вот, говорит, не сегодня-завтра Данилычу капут, так мы дело повернем таким манером: из сестер, говорит, кого-нибудь, ну, хоть Катюшу, — она больно смазлива — на место Марьи Меншиковой выдадим за императора а сам я — это Иван-то говорит, — тоже себе невесту приметил.

— Что? Кого? — спросили все разом.

— А кого бы вы думали?

— Неужто великую княжну Наталью?

— Нет, не туда он метил, ему больше по нраву цесаревна Елизавета.

— Ну, гусь! — с улыбкой поднялся Василий Лукич. — Ты чего же это, брат, говоришь, что проку в нем мало? Нет, прок хорош. Ты говоришь — зарвался, а я не того мнения. Конечно, с этим делом надо осторожно, и теперь ни гу-гу! А что ж, в конце концов так и быть должно. Я сам не раз об этом всем думал — и странно, что тебе до сей поры, до сыновних слов в голову того же не приходило. Что ж, даром, что ли, Меншиков-то полетит? Что ж нам так и оставаться и сидеть сложа руки? Кому это дорогу уступать — Голицыным? Эх, брат, ты держись за такого сына! Только если все так и будет, как он сказал тебе, только тогда мы и можем быть спокойными, а то всякая креатура, немец всякий — Андрей Остерман нас учнет гнуть в три погибели.

— Что ж ты так на Остермана? — перебил Алексей Григорьевич. — Остерман, конечно, не друг нам, да и опасности от него никакой я не вижу. Пусть он теперь для кого угодно, хоть для себя работает, нам только от того польза выходит. Ведь как ни говори, а не меньше Ивана он у императора значит. Меншиковская-то беда, главным образом, его рук дело! Нам еще и в голову ничего не приходило, мы еще воображали себе, что Меншиков, как статуя каменный, недвижим, а немец вокруг него уж копался себе помаленьку, да и подкопал статуя — статуя и пошатнулся...

— Так-то так, все это ты верно описал, — своим тихим голосом заговорил Василий Лукич, — только как же ты видеть не хочешь, что за птица этот Андрей Иванович? Как под Меншикова, аки крот подземный, подкопался, так ведь и под нас подкопаться может — и не заметишь. И в мышеловку попадешь, а все не будешь понимать, кто тебя туда сунул; вон Данилыч разве понимает? Не совсем, я думаю.

— Так ты как же? — подсел Алексей к Василию Лукичу. — Я думал... Иван зарвался, а ты, братец, точно полагаешь все сие возможным? И сам будешь орудовать?

— Еще бы! Только опять говорю, — ни гу-гу!

— Ну, да уж знамо, знамо! — замотали головами остальные Долгорукие.



В это время в комнату вбежала хорошенькая пятнадцатилетняя девушка. Она обвела бойкими черными глазами всех присутствовавших и радостно бросилась на шею к князю Василию Лукичу.

— Здравствуй, Катюша, здравствуй! — поцеловал он ее. — Точно что не виделись сегодня. А что ж не спишь? Поздно, спать пора! Вон глазки-то совсем осоловели.

Он взял ее за подбородок и с удовольствием рассматривал ее свежее, хорошенькое личико.

— Да спать что-то не хочется, дяденька, и матушка не спит тоже — прислала спросить, не хотите ли ужинать? Велишь, батюшка, подавать ужин? — обратилась она к Алексею Григорьевичу.

— Да, хорошо, вели подавать ужин, а сама иди спать, иди спать — разбаловала уж очень тебя матушка!

Катюша сделала вид будто испугалась сурового голоса отца и, грациозно отвесив всем поклон, выбежала из комнаты.

— Ну, чем же не царская невеста! — засмеялся ей вслед Василий Лукич. — Хотел бы я, брат, иметь такую дочку, я бы не иначе ее и готовил как в царские невесты. Вот пожди годик, другой, распустится она аки розан, кто ж с красотой поспорит, разве что царевна!

Князь Алексей Григорьевич ничего не возражал. Теперь, после рассуждений двоюродного брата, который всегда имел на него огромное влияние, он уж иначе взглянул на дело. Сразу ему точно что показалось невероятным осуществление безумных сыновних планов: еще так недавно все они, Долгорукие, были в тени, в загоне. Но, боже мой, ведь тут один день все верх дном поворачивает, что же мудреного — вчера вон княжна Меншикова величалась государыней, а завтра никто и не вспомнит про княжну Меншикову, государыней будет величаться Катюша, только бы удержаться, только бы не забыть примера того же Меншикова! Ну, да мы удержимся, нас-то много, да и голова у нас хорошая есть, — братец Василий Лукич, — этот на все мастер!

— Одно теперь надо, — оживленно обратился Алексей Григорьевич ко всем: — одно надо, сплотиться нам крепче, врозь не смотреть, как один человек орудовать, тогда много сделать можно.

— Вот это так, — заметил Василий Лукич, — я давно уже подумываю, как бы нам с силами собраться. Много-то нас много, да

что в том толку! Вот Меншикова не будет, а Голицын и Остерман все же останутся, а Голицын, как вы думаете, легко с ними справиться? Там у них один Михайло фельдмаршал чего стоит!

— Что же, князь Василий, — заметил Михайло Владимирович, — поискать между нами, так и у нас найдется человек не хуже князя Михаила Голицына. Видно, точно, что все теперь о брате Василии Владимировиче позабыли, видно, долго он был в опале, да и теперь, вишь, далеко в Персии. Кабы нам вернуть его сюда, так много бы у нас силы прибавилось.

— Ты это напрасно так думаешь, — повернулся в сторону Михаила Владимировича Василий Лукич. — Напрасно думаешь, что мы твоего брата позабыли, я вот о нем все дни думаю. Сам знаю, что не обойтись нам без него, нужный он нам человек, ух, как нужно вернуть нам его! Только что Меншиков провалится, так сейчас же и вернуть князя Василия Владимировича...

— Это точно, это так! — отозвались все.

В соседней комнате был подан ужин, и Алексей Григорьевич пригласил своих гостей закусить и выпить.

Они продолжали толковать об ожидаемом со дня на день окончательном низвержении Меншикова, и под конец все до одного были в самом лучшем настроении духа. Князь Алексей изрядно тянул вино из серебряной чарки и теперь ему уж совсем не казалось страшно и невероятно видеть в своей дочери Катюше будущую императрицу. Теперь, по мере того как начинало приятно шуметь в голове, он все более и более входил во вкус планов своего нелюбимого сына Ивана, ему уж начали представляться самые соблазнительные сцены, заговорило и заклокотало в нем несколько придавленное обстоятельством честолюбие.

— А нейдет-таки негодный Иван! — стукнул он кулаком по столу. — Того и жди отобьет у кого-нибудь жену, нарвется на историю, исколотит его кто-нибудь, убьет, пожалуй, ну и пиши все пропало!

— Небось, небось, брат, — смеялся Василий Лукич. — Не таков твой Иван, не дастся в обиду. Ну, а насчет чужой жены — это точно, не знаю в кого он, может, и в папеньку. Признайся, старина, княгиня-то далеко — не услышит!

Князь Алексей приятно ухмыльнулся, очень может быть, что через минуту он бы начал какое-нибудь пикантное повествование из

дней своей молодости, он уж даже, ободренный любимым и уважаемым двоюродным братом, и собирался начать что-то рассказывать, как вдруг раздался неистовый стук в наружную дверь домика, и прежде чем слуга ее отворил, послышался громкий голос.

Через минуту на пороге комнаты показалась фигура молодого князя Ивана.

— А, за ужином, честная компания! — бесцеремонно крикнул он, снимая шляпу. — И меня не подождали... Ну, а вино не все выпил родитель?.. Сынку-то оставил?.. Я выпью, я могу!

Он, очевидно, и так уж изрядно выпил. Пошатываясь, подошел он к столу, грузно опустился в кресло, подпер раскрасневшееся лицо руками и осматривал всех мутным взглядом.

— Хорош! — развел на него руками отец. — Ну, вот заступайся ты за него, Василий Лукич, вот он каков! Весь тут перед тобою! Я ему говорю: пьянствуй, беспутствуй, дебоширничай, только так, чтобы ни одна собака об этом не ведала, потому он теперь пуще всего свою репутацию соблюдать должен, а он разве о словах моих думает? Ему нечего вот так орать на весь Петергоф! Чай, по роще шел, песни пел, со всеми в драку лез. На что же это похоже? Как трезвый, так еще ничего, иной раз и толк показывает, да вот таким-то уж больно часто являться стал. У! Не глядеть бы на него — совсем из рук выбился...

Князь Иван пристально смотрел на отца во все время этой речи и вдруг расхохотался самым беззаботным и бесцеремонным образом.

— Дядюшка Василий Лукич, заступись хоть ты, вот он так каждый день... Право, я скоро на него челом буду бить государю!

— Молчи, негодный! — крикнул на него Алексей Григорьевич. — Не зазнавайся больно, я еще тебе покажу, что я твой отец.

— Да полноте, перестаньте, — вступился Василий Лукич. — Где был, племянничек? Что подделывал?

— Так вот я вам сейчас и скажу, где я был!

— Ну, а что государь — в добром здоровье?

— Здоров, теперь почивает, да и мне пора тоже.

Князь Иван совсем наклонил голову к столу и скоро захрапел.

— Унесите его, разденьте! — обратился Алексей Григорьевич к слугам.

Те осторожно приступили к исполнению этого приказания.

— Да, это плохо, — задумчиво сказал Василий Лукич, — я завтра с ним поговорю. Очень дурить стал твой Иван, а так нельзя — все дело может испортить.

— Я уже тебе говорил, говорил! — махнул рукою Алексей Григорьевич.

В это время в том же самом домике, в маленькой спальне княжен Долгоруких, на мягкой, с пышно вздутыми перинами и высоким балдахинном кровати сидела Катюша. Ночь была теплая, окно отворено. Рядом спала ее сестра и спала крепко, время от времени что-то шептала во сне, какие-то непонятные отрывочные слова. Слабый свет лампадки, зажженной в углу перед иконами, озарял кровать Катюши и всю ее небольшую, грациозную фигуру. Ей было жарко и не спалось. Она откинула одеяло и распустила ворот. Не спалось ей потому, что уж очень она удивилась сегодня, сейчас удивилась. Когда мать послала ее узнать, велит ли отец подавать ужин, и она уже подбежала к дверям комнаты, где толковали Долгорукие, ей ясно послышалось ее имя, произнесенное князем Василием Лукичем. Не удержалась Катюша: что обо мне говорят, дай послушаю! И она приложила ухо к замочной скважине... ну, и все услышала. Чудно и странно показалось ей: она будет царской невестой, царицей... да разве это возможно? Да и зачем это!.. Она почти каждый день видела императора, почтительно кланялась ему; когда иной раз он заговаривал с нею, отвечала, потупив глаза, но все же, несмотря на то что ей самой еще не было шестнадцати лет, император казался ей маленьким мальчиком, и никогда не могла она подумать о нем иначе, как о существе особенном, стоявшем далеко и высоко, а тут вдруг хотят, чтоб он сделался ее женихом!..

«И все это брат Иван, чего он не выдумает! А сам-то, сам-то!.. Ах как все это странно, как странно!..» — шептали губы княжны. Наконец она заснула.

Но в эту ночь и сны ей снились все такие странные: ей снилось, что она царица, что на ней золотая корона, мантия на горностае; ей снилось, что все кланяются ей в ноги, и ей становилось почему-то душно, тяжело, она просыпалась и металась на своей пуховой постели.

Все так же великолепен дом князя Меншикова, такая же толпа прислуги бродит взад и вперед по бесчисленным его комнатам. Но что-то висит над этим домом, и каждому входящему в него с первой минуты это становится ясным. Да теперь редко кто и заходит к Александру Даниловичу. Он уж третий день в Петербурге, все это знают и как будто никому до этого нет дела. Давно ли отбою не было от посетителей? Давно ли высокие сановники государства дожидались княжеского выхода со страхом и трепетом и сгибались перед князем, чуть не целовали полы его кафтана — да и целовали-таки.

Александр Данилович уж и не ездит в Петергоф, не старается умиловить императора, того и жди хуже от этого будет. Все царские вещи уже вынесены из меншиковского дома: император не сегодня—завтра переезжает в Петербург. Ох, что-то будет! Последние надежные люди доносят, что «там» никто и слова не говорит про Меншиковых, как будто их и нет на свете; «там» теперь только Долгорукие и немецкая креатура. Ломает себе голову Александр Данилович: к кому бы обратиться, да что теперь выдумаешь? Сам оттолкнул от себя всех. Думал, никто и не пригодится, никто и не будет никогда нужен, а вот теперь пригодился бы каждый маленький человечек, да нет никого: все разбежались, все врагами смотрят, все лягать готовы!

Последняя слабая надежда мелькнула князю — к Голицыну обратиться. Голицын так же, как и он, должен бояться возвышения Долгоруких и Остермана. Голицын ради своих выгод помочь должен. Вот садится Александр Данилович и пишет князю Михаилу Михайловичу Голицыну:

«Извольте, ваше сиятельство, поспешить сюда как возможно, на почте, и когда изволите прибыть к перспективной дороге, тогда изволите к нам и к брату вашему прислать с нарочным известие и назначить число, когда намерены будете сюда прибыть, а с Ижоры опять же нас обоих уведомить, понеже весьма желаем, дабы ваше сиятельство прежде всех изволили видеться с нами».

Спешит, шлет гонца Александр Данилович, что-то будет? Помогут ли уничтожить Долгоруких и Остермана? А кем заменить воспитателя, если удастся его свергнуть, кем заменить? Кто был бы угоден?

Вспомнил светлейший про старого учителя Зейкина, которого когда-то любил Петр, и вот другое письмо пишет он к этому Зейкину. Письма посланы, но когда-то еще получатся, когда явятся эти нужные люди? А тут, что ни день, что ни час, беда неминуемая стрястись может.

Александр Данилович уж и из дому не выходит, забыл и о Верховном Совете — где теперь! Что там — одни обиды только! Как лев, запертый в клетке, бродит из угла в угол по своему рабочему кабинету Александр Данилович, ждет вестей недобрых. А вести недобрые уж близко, вот они у порога, в двери стучатся. Вот докладывают князю: государь и царевны переехали в Летний дом, светлейшему никто из них не дал знать об этом, и сейчас же по переезде государя послано объявить гвардии, чтобы слушались только царских приказаний, которые будут объявлены майорами, князьями Юсуповым и Салтыковым. Это было утром 7 сентября.

Князь решился ждать до вечера. Тянулись часы, нет посланцев из дворца, никто не является, все как в воду канули. Целый день в рот ничего не мог взять Александр Данилович. Стучалась к нему жена — не отпер; дети стучались — не подал голоса. Уж совсем ни о чем не думал князь, мыслей никаких не было, да и о чем теперь думать! Только тоска глухая давит,дохнуть не дает, и деваться некуда от этой тоски, ничем не заглушишь ее!

Вечер. Стемнело, тучи ходят по небу, ветер осенний поднялся и зарябил невские воды. Серо и мрачно, вон из окна слышно: вороны каркают, и пуще надрывается сердце Александра Даниловича, и пуще тоска давит его. Нет, невтерпеж эта убийственная неизвестность, будь что будет, а узнать надо, что там делается! Самому ехать — ни за что! Пожалуй, даже не впустят. При этой мысли холодный пот показался на высоком, морщинистом лбу Меншикова.«Детей пошлю, детей — ведь что же, еще не объявили, ведь Марья все еще царской невестой считается... Они должны поехать поздравить с приездом, должны... пошлю их к царевнам, хоть что-нибудь узнаю». Идет он на половину жены, а та встречает его бледная, дрожащая, лица на ней нет: измаялась вся, исхудала в эти последние ужасные дни Дарья Михайловна.

— Где дочери? мрачно проговорил князь.

— Дома, дома! Да где же им быть-то?!

— То-то, вели сейчас запрягать, снаряди их, пусть едут поздравить царевен с приездом, пусть все узнают! О, господи!

Дарья Михайловна побрела к дочерям, а князь остался на месте, сел в кресло и замер.

Больше часа сидел он так, слова никому не сказал, только головой мотнул, когда доложила ему жена, что дочери во дворец уехали.

Невеселою вышла из экипажа у Летнего сада княжна Марья Александровна. В последние дни и она оставила свое равнодушие; еще больше побледнела она, еще более вытянулось лицо ее, тошно было ей глядеть на свет божий — чужая она неминуемую гибель.

И цесаревна Елизавета, и великая княжна Наталья дома, а княжен все же дожидаться заставляют: не выходят к ним и к себе не зовут. Полчаса проходит, час — царская невеста опять посылает фрейлину доложить царевнам. Фрейлина возвращается и говорит: «сейчас выйдут, позабыть изволили о вашем приезде».

— Машенька, что же это такое? — даже задрожала княжна Александра. — Что же это за несносные обиды? Уедем, ради Бога. Боже мой, неужели Наташа и от меня отвернется!

Вот великая княжна Наталья показалась на пороге, Александра Александровна бросилась к ней: бывало, они встречались закадычными друзьями, целовались и обнимались, бывало, не наглядятся друг на друга, что же это? Что же Наталья глядит и не улыбается, едва протянула руку... целовать не хочет. Что же это? За что же?

— Царевна, чем я виновата перед тобою? — шепчет княжна Александра. — Если есть моя вина, скажи мне. Разве забыла ты, как я люблю тебя, разве забыла ты нашу старую дружбу?

Великая княжна все молчит, ей неловко. Входит цесаревна Елизавета.

— Прошу извинения, — говорит она, обращаясь к княжнам, — забыли мы, что вы здесь дожидаетесь.

— Мы здесь более часа! — шепчут бледные, тонкие губы царской невесты, а на глазах ее блестят слезы,

— Очень жалко, — отвечает Елизавета, — вольно же вам такое время выбрать... Чай, слышали, мы только что переехали, тоже ведь разобраться нужно, не до чужих!

— А я так устала, я нездорова, — замечает великая княжна Наталья.

— Тоже не до чужих, видно! — прорыдала перед нею Александра Александровна.

— Ах, как это скучно! — раздражительно выговорила цесаревна, поднимаясь с места. — Такие любезные гости, от них слова не добьешься. Пойдем, Наташа, у нас там веселее!

Обе они вышли. Меншиковы остались одни в пустой комнате. Никого нет... Боже мой, что же это такое?

Не помня себя, обе сестры кинулись к выходу, не помня себя, доехали они до дому, прибежали к матери и обе не могли сказать ни слова, обе только рыдали.

— Да что такое, что? Не томите, не надрывайте душу, расскажите хоть что-нибудь, что с вами там было? — измученным, ослабевшим голосом шептала Дарья Михайловна. — Да говорите, говорите.

И вдруг перед ними очутился отец. На нем лица не было

— Говорите сейчас же, что там было?! — закричал он.

— А то было, — поднялась перед ним княжна Марья, — то было, что ты погубил и себя, и меня... и всех нас...

Княжна зарыдала и выбежала из комнаты...

— Говори все подробно! — дрожа и сжимая кулаки, обратился князь ко второй дочери, — говори, не то убью на месте: видели вы государя?

— Нет, не видели, — прорыдала княжна Александра, — да и царевны не выходили к нам больше часа. А вышли, сказали два слова, обидели и ушли, оставив нас одних.

— Как, и Наталья? Ведь она тебя любила... Бедная княжна зарыдала еще отчаяннее.

— Да, и она... и она на меня смотреть не захотела!

Александр Данилович схватил себя за голову, глаза его остановились, лицо исказилось, он застонал и вдруг без чувств рухнул на пол. Несчастная Дарья Михайловна с отчаянным криком кинулась к мужу, старалась поднять его, но ей было это не по силам. — «Воды, воды, доктора!» — кричала она охрипнувшим голосом. Княжна Александра металась из комнаты в комнату как помешанная. По всему огромному дому все дальше и дальше разносилось: «доктора, доктора! Светлейший умирает!»



Страшная, долгая ночь, наконец, прошла; наступило утро 8 сентября. Светлейший успокоился несколько и заснул только при солнечном восходе. Дарья Михайловна осторожно вышла из его спальни; во всем доме никто почти не ложился спать. С часу на час ожидали Меншиковы решения своей участи. Бедная княгиня выплакала все свои слезы, даже молодой сын Меншикова, до сих пор ни во что не вмешивавшийся и игравший самую незначительную роль в доме, и тот понял всю важность событий, не отходил от матери и старался ее успокоить, но разве можно было успокоить Дарью Михайловну! Она не плакала: глаза ее были сухи, но на нее взглянуть было страшно; она то и дело подходила к дверям спальни мужа и прислушивалась.

Прошло несколько долгих часов, и вот княгине доложили, что из дворца к светлейшему явился майор гвардии, генерал-лейтенант Салтыков.

Дарья Михайловна бросилась к нему, но не получила от него никаких разъяснений.

— Мне нужно видеть князя Александра Даниловича, — сказал он, — проводите меня к нему сейчас же, я не могу без этого уехать.

Делать нечего — пришлось разбудить князя. Он был так слаб, что не мог встать с постели. Салтыков должен был войти к нему.

— По приказу его величества объявляю вам арест, чтобы вы никуда не выезжали из своего дома, — сразу сказал Салтыков.

Меншиков открыл глаза, задрожал и вторично упал без чувств. Через несколько минут медик пустил ему кровь. Он очнулся, но глядел на всех бессмысленно и не говорил ни слова.

Дарья Михайловна взяла с собою сына и сестру свою, Варвару Арсеньеву, и поспешила во дворец: там ей сказали, что государь еще не возвращался от обедни. Она осталась в передней комнате дожидаться. Вот и государь — княгиня бросилась перед ним на колени, держала его за полу кафтана. Он не глядел на нее, он пробовал вырваться, но она вцепилась в него и не отпускала.

— Государь, пощади! — задыхаясь и обливаясь слезами, шептала Дарья Михайловна.

Великая княжна Наталья заплакала и убежала к себе. Все окружавшие были расстроены этой сценой — даже и те, кто искренно ненавидел Меншикова. Ненавидели Меншикова, но против жены его никто не мог ничего иметь. Все знали, что она добрая, почтенная женщина, что сама она несчастна и всегда при первой возможности исправляла зло, причиненное ее мужем. И всем было неловко, все опускали глаза, жались к стенам, но ни у одного человека не пошевелился язык на ее защиту. Защита теперь была бы безумием, это значило бы подвергать самого себя опасности... А княгиня все стоит на коленях, все держится дрожащими руками за камзол императора, мочит пол своими слезами, шепчет невнятные речи, а он все силится от нее вырваться. И вот он вырвался, не сказал ни слова и быстро ушел. Она одна, на коленях, среди комнаты. Сейчас было много народу — теперь никого: все разбрелись, все ушли от нее, точно от чумной, боясь заразиться...

Она кинулась к великой княжне Наталье; по дороге все расступались перед нею, все от нее отворачивались, и никто не говорил с нею. Княжна Наталья тоже убежала от нее и куда-то скрылась. Бродит и мечется Дарья Михайловна по дворцу этому, где каждая комната, каждое кресло, каждая вещица ей так давно знакомы. Мысли ее спутались: она ничего не понимает, она кидается то туда, то сюда. Император ушел; великая княжна ушла; осталась цесаревна — к ней идти... но и цесаревна не сказала ни слова княгине, у них так, видно, положено было: ни одного слова, ну хоть бы бранить стали, хоть бы тяжёлые обидные речи пришлось ей выслушать, а то ни слова... ни слова! Ведь это еще хуже, еще ужаснее!.. И поняла, наконец, княгиня, что нет никакого спасения и быть не может, и, шатаясь, вся растрепанная, едва волоча ноги, протащила она вон из дворца, неся с собою ужасные вести о пришедшей неотвратимой гибели. Но по дороге последняя мысль пришла ей в голову — идти к Остерману.

Остерман, по крайней мере, принял ее и даже старался успокоить.

— Ну что ж, княгиня, — говорил он, — что ж теперь делать, ничего теперь не поделаешь! Того и ожидать было нужно, очень уж забылся Александр Данилыч; ведь на твоих же глазах, княгиня, все

было; вы, чай, помните, как обращался супруг ваш с его величеством? Ну, и не вытерпел император — оно и понятно! Только вы успокойтесь, княгиня, не на казнь же поведут вас...

— О, господи, — стонала Дарья Михайловна, — не на казнь, говоришь ты, Андрей Иваныч... а почему я знаю? Ведь не сам ли ты на днях еще говорил Александру Данилычу, что его колесовать нужно, так почему я знаю, может, и колесуют...

— Да, ведь я говорил потому, что сам он стращал меня этим и клевету возвел на меня, будто я отвращаю государя от православия.

— Ах, господи! Прости ты, прости, Андрей Иваныч, мужу — не знал он сам, что говорил, уж очень обид много было. Прости его, Христа ради, не помяни зла, не помяни. Смилуйся над нами! — и дрожащая княгиня стала на колени перед Остерманом и, так же как и императора, схватила его за полы и мочила его ноги своими слезами.

— Ах, что вы, что вы, княгиня! — суетился барон Андрей Иваныч, стараясь поднять ее.

Но все было тщетно. Он позвал жену, и та начала успокаивать Дарью Михайловну — да чем же они могли ее успокоить? Она хорошо знала, хорошо видела из каждого слова Андрея Иваныча, что он просто не хочет за них заступиться и пустить в ход свое влияние. «Он бы еще мог, он многое может, но вот он не хочет, не хочет — чем же его разжалобить?! Или у людей совсем нет сердца, или им радостно видеть погибель невинных?!»

— Андрей Иваныч, голубчик, — заливалась слезами Дарья Михайловна, — смилуйся же наконец, ведь есть же у тебя сердце? Ну, муж виноват, ну, я виновата, хоть не ведаю, в чем моя вина, ну, нас и казнить, да детей за что же? Ведь вот хоть бы Машенька, разве сама она... ведь, отец решил... против его воли она идти не могла. И я, глупая, виновата, может, в этом деле... сними мою голову, а детей не губи!

— Ах, княгиня, да я-то тут при чем же, что ж с меня вы хотите? Я ничего не могу, я ничего не знаю, я тут в стороне.

— Андрей Иваныч! Много ты можешь, не обманешь меня, знаю я, я все, ведь... Андрей Иваныч... Матушка, сударыня моя, Марфа Ивановна, — обращалась она и к жене Остермана, — ведь вот и у вас, Бог даст, вырастут детки, ведь вот и с вами беда может приключиться, все мы под Богом ходим, так хоть ради деток, ради их счастья

будущего, пожалейте вы меня, несчастную: замолвите слово не за меня, а за детей моих!

Эта сцена становилась слишком длинной и слишком тяжелой. Несмотря на все свое терпение, Остерман видел, что нужно же положить ей конец.

— Княгиня, — сказал он, — ей-Богу, мне некогда, в Верховный Совет спешить надо, туда нынче приедет сам император, боюсь опоздаю!

Он решительно вырвал свое платье из рук Дарьи Михайловны и ушел от нее. Она осталась вдвоем с его женой.

— Так и у вас нет никакого сердца, — с ужасом взглянула она на баронессу: — и вы враги лютые! Забыла, видно, ты сударыня, все мои ласки, всю мою дружбу! Как нужна я была тебе, так руки у меня целовала, а вот теперь и слова за меня сказать не хочешь!..

Баронесса Остерман, приученная мужем к сдержанности, не отвечала ни слова.

— Так вот что я скажу тебе! — снова заговорила Дарья Михайловна, поднимаясь; она вдруг перестала плакать, выпрямилась, как будто исчезла вся ее слабость и все ее отчаяние, глаза ее вспыхнули. — Так вот что я скажу тебе: попомнишь ты день этот и час этот попомнишь! Как меня теперь оттолкнула, так и тебя оттолкнут; как за моих детей не заступилась, так и за твоих не заступятся, и у тебя будет та же участь, что и у меня — и ни в ком ты не найдешь поддержки в день твой черный: за меня тебя Бог накажет!

И Дарья Михайловна ушла, оставив за собою последний проблеск надежды; теперь перед нею не было даже и соломинки, за которую бы она могла ухватиться.

А в это время в Верховном Тайном Совете, действительно, сам император заседать изволил. Твердою рукою подписывал он указ: «Понеже мы всемилоостивейшее намерение взяли от сего времени сами в Верховном Тайном Совете присутствовать и всем указам отправленными быть за подписанием собственной нашей руки и Верховного Тайного Совета: того ради повелели, дабы никакие указы и письма, о каких бы делах оные ни были, которые от князя Меншикова или кого-либо иного партикулярно писаны, или отправлены будут, не слушать и по оным отнюдь не исполнять, под опасением нашего гнева, и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске из

Сената». Только что был подписан указ этот, как государю принесли письмо Меншикова, пересланное им через Салтыкова: «Всемиловейший государь император, — писал Меншиков, — по вашего императорского величества указу сказан мне арест и хотя никакого вымышленного перед вашим величеством погрешения в совести не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в чем свидетельствуюсь нелицемерным судом Божиим, разве может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей ее императорскому высочеству учинил в забвении и неведении или в моих к вашему величеству для пользы вашей представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верные мои к вашему величеству службы всемиловейшего прощения, и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя изречение нашего Христа Спасителя: «да не зайдет солнце в гнев вашем». Сие все предаю на всемиловейшее вашего величества рассуждение: я же обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать даже до гроба моего». Затем Меншиков писал, что сам просит «для своей старости и болезни» от всех дел его уволить. Дальше он оправдывался в некоторых взведенных на него обвинениях, разъясняя смысл сделанных им приказаний, и заканчивал письмо, прося милостивого прощения.

— Что же, ваше величество, — обратился к императору Остерман, — прикажете мне ответ князю Меншикову составить или сами написать изволите?

— Я ничего отвечать не хочу на это письмо, — заметил император. — Я даже жалею, что прочел его.

Так и не вышло Меншикову никакого ответа.

В этом же заседании решена была на первое время участь Александра Даниловича. Барон Остерман сочинил доклад «о князе Меншикове и о других лицах, к нему близких», и резолюция заранее была решена так: «Меншикова лишить всех чинов и орденов и сослать в дальнее имение его Ораниенбург».

В мгновение ока по всему Петербургу распространилась весть о падении Меншикова. С 8 сентября быстро появлялись и приводились в исполнение распоряжения, касающиеся его скорейшей высылки к месту ссылки. Опять караулы гвардии стояли у всех входов и выходов меншиковского дома; но не с той целью уже стояли они, как во время пребывания здесь императора.

Меншиков упал духом, смирился и не подавал голоса. Письмо к императору, оставшееся без ответа, было последним актом проявления его сознательной воли. Теперь страшно похудевший и изменившийся, состарившийся на десять лет, опираясь на костыль, бродил он, как тень, по опустевшему дому. Много часов проводил он в спальне жены, у ее постели, Дарья Михайловна лежала недвижима; не вынесла она всего, что случилось в последние дни, и, вернувшись домой от Остермана, не могла даже добраться до своей комнаты: жестокий припадок паралича отнял у нее ноги. Она тоже казалась теперь, в своей постели, совершенно спокойною: не плакала, не стонала, не жаловалась — только молилась. После долгих лет супружеской, далеко не счастливой жизни, несчастье снова сблизило Данилыча и Дарьюшку. Она — недвижимая, разбитая, и он — еле шевелившийся, разбитый не меньше ее, поняли друг друга, поняли, что только друг в друге с этой поры они могут иметь поддержку; только они одни вдвоем и были на всем свете: все от них отшатнулось, даже дети не могли скрывать своего против них раздражения. И старики поняли, что дети пожалуй, и правы.

А в доме, между тем, то и дело появлялись должностные лица, отбиравшие меншиковские вещи, распоряжавшиеся его собственностью. Прежде всего отобрали у него и повезли во дворец андреевскую и александровскую кавалерии, потом стали делать опись всему его состоянию, а состояние было большое. У него оказалось девяносто одна тысяча душ крестьян и семь миллионов тогдашних рублей деньгами и банковыми билетами; но и этим, как говорили, еще не исчерпывалось все состояние светлейшего: полагали, что многое он успел вовремя спрятать в надежное место.

Невыносимое впечатление производил теперь этот огромный дом; казалось, что в нем происходит дележ наследства после покойника. Но этот покойник еще был жив: он был здесь и присутствовал при дележе своего наследства. Он был жив и еще так недавно подписывался с

таким титулом: «Мы, Александр Меншиков, римского и российского государств князь герцог Ижорский, наследный господин Аранибурха и иных, его царского величества все российского первый действительной тайной советник, командующий генерал-фельдмаршал войск, генерал-губернатор губернии Санкт-петербургской и многих провинций его императорского величества кавалер Святого Андрея и Слона и Белого и Черного Орлов, и пр. и пр. и пр.»

Теперь герцог Ижорский был простым расслабленным стариком; вся его жизнь до последнего времени представлялась ему как какое-то далекое сновидение, ему казалось, что вот только теперь и есть настоящая жизнь, что он проснулся.

Поздно вечером, вернувшись из спальни жены, Александр Данилович заперся в своей комнате и со стоном опустился на колени перед огромным киотом: он вдруг почувствовал в себе силы для молитвы. Никогда, в самые тяжкие минуты своей жизни, не прибегал он к этому средству, и вот теперь, когда ничего уже не оставалось, он вспомнил о Боге. Минуты шли за минутами: час прошел — другой, а князь все стоит на коленях, все молится: слезы бегут из глаз его неудержимо — тихие, никогда не изведенные им слезы; крупные капли пота струятся по высокому бледному лбу его, и с этими слезами все тише становится в измученной душе его. Еще вчера он был — ужас, отчаяние, злоба и негодование, еще сегодня в бессильной злобе проклинал он врагов своих, а вот теперь ему кажется, что никаких врагов нет, что никакого несчастья не случилось с ним и что, напротив того, пришло спасение. Он вспоминает всю жизнь свою, вспоминает все никому неизвестное, даже жене неизвестное, даже им самим позабытое, и это неизвестное и позабытое встает теперь перед ним. Оно страшно, ужасно — в нем грех и преступление! И молится князь Александр Данилович, и бьет себя в грудь, нелюбомерно раскаиваясь во всех темных делах своего величия, и чудится ему, что тут сейчас, за его спиной, стоит огромный, страшный призрак великого императора, обманутого друга.

«Раб неблагодарный, — шепчет этот призрак. — Не я ли вывел тебя из ничтожества, не я ли возвел тебя паче заслуг твоих на верш земного величия; не я ли, в слабости моего сердца, прикрывал все твои беззакония, прощал тебе многократно, тогда как должен был карать ради Божеской и человеческой справедливости?! Чем же заплатил ты

мне за это? Была ли нелицемерна любовь твоя, помышлял ли ты непрестанно о благе государства, вверенного в твои руки? Нет, ты забывал о нем, ты только о себе думал! И вот ты проник в самые недра моего семейства, ты посеял зло в дому моем и еще себя же считаешь оскорбленным! Смирись, раб лицемерный, смирись и моли Господа, чтобы он простил грехи твои; долгим раскаянием, тяжелыми днями загладь вины свои!«...

И молится, все молится князь Александр Данилович, и тише становится шепот огромного призрака. Вот ушел этот призрак — нет никого, только Бог один слышит раскаивающегося грешника, и неведомая тишина и душевное спокойствие не сходят в мятежную его душу.

Неузнаваемым, обновленным человеком встал Меншиков со своей долгой молитвы: не было злобы и не было теперь в нем отчаяния.«Все к лучшему: Бог вспомнил обо мне, — думал он, — нужно молиться, нужно замаливать грехи свои!..«И пошел князь к жене, на коленях стал просить прощения, просил прощения у детей своих и вышел от них совсем успокоенный. К нему пришли и спросили его, не пожелает ли он выпросить себе что-нибудь у государя, потому что на завтра назначен его выезд.

— Ничего мне не надо, — ответил Александр Данилович, — спросите жену, спросите детей, быть может, они что-нибудь скажут, а я у его императорского величества прошу одной только милости, с великою покорностью прошу я ее: пускай повелеть изволит, чтобы дохтур мой и лекарь шведской породы, полоненный и при мне живущий с двадцати лет, со мною был отпущен.

Государь исполнил эту просьбу Меншикова и одновременно с тем повелел, чтобы впредь обрученной невестой в церквах не поминали и чтобы немедленно взяли у Меншикова большой яхонт.«Только поскорее бы все они уехали отсюда!» — объявил император.

В тот же день, в четыре часа пополудни, назначен был отъезд Меншиковых. Княгиня Дарья Михайловна неосновательно боялась казни мужа. Покуда государь отнесся к нему весьма милостиво; он не хотел ему зла, он хотел только от него избавиться, хотел знать, что бывший лютый враг далеко, что нечего бояться столкновений с ненавистным человеком и чуть ли не больше еще ненавистной невестой.



К четырем часам вокруг дома Меншикова, по набережной Васильевского острова, собрались толпы разного люда со всех сторон Петербурга. Давка была страшная: всем хотелось взглянуть на павшего вельможу и на его домочадцев, на царскую невесту. Вот одна за другой стали подъезжать к большому крыльцу кареты шестернями; вот настужь растворились двери. Кто был ближе, тот увидел высокую, согбенную фигуру вчерашнего властелина; за ним вели под руки почти недвижимую Дарью Михайловну. Светлейший князь сел с женою и свояченицею, Варварой Арсеньевой, разделявшую их участь, в первой карете. Он ни на кого не взглянул, хотя сотни глаз были устремлены на лицо его; все поразились необычайной перемене, происшедшей в Меншикове. Он имел вид дряхлого, изнуренного болезнью старика, но в то же время лицо его было совершенно спокойно: на нем не отражалось ни смущения, ни отчаяния.

Княгиня Дарья Михайловна тоже ни на кого не взглянула и ежесекундно крестилась.

Их карета отъехала на несколько шагов и остановилась; за нею к крыльцу подъехала другая. В эту карету поместился молодой князь Меншиков. Он прикрыл плащом все свое лицо, так что никто его не видел; с ним вместе уселась старая, крошечная карлица. Отъехала и эта вторая карета. Быстрое движение прошло в толпе народа, все разом устремились взорами к дверям, из которых сейчас должна была появиться бывшая царская невеста. Вот и ей подана карета, вот и она показалась — но никто не увидел лица ее; она так же, как и брат, его закрыла. Младшая сестра ее, княжна Александра, шедшая за нею, горько плакала, неудержимо всхлипывая, как ребенок. Она не думала закрываться от посторонних взоров, она забыла, что толпы народа смотрят на нее. Отъехала и третья карета. В четвертую сел брат княгини Дарьи Михайловны, Арсеньев, и другие приближенные люди. Все, начиная с светлейшего князя, были одеты в черное. После четвертой кареты стали приближаться экипажи, наполненные слугами и вещами.

Поезд был огромный, его сопровождал гвардейский капитан с отрядом в сто двадцать человек. По знаку этого капитана, поезд наконец тронулся вдоль набережной, и народ тихо пошел за ним, переговариваясь, передавая друг другу свои замечания. Начали ходить всевозможные слухи. Вот в одной кучке толкуют о том, что теперь

открылись все преступления и злодеяния Меншикова; что он хотел совсем отстранить государя и самому короноваться на престол русский. Говорили, что найдено письмо Меншикова ко двору прусскому, в котором он просит дать ему займы десять миллионов, обещаясь возратить вдвое, как только сделается императором. В другой кучке за самое верное передают, что с недавнего времени началось удаление гвардейских офицеров для того, чтобы заменить их людьми, преданными Меншикову; толкуют о завещании Екатерины I. Но о завещании говорят уже не в толпе народа, а в кружках более близких ко двору. Уверяют тут же, что герцог Голштинский и Меншиков заставили цесаревну Елизавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала. «Теперь несдобровать и голштинскому двору: вон уж министр голштинский каким мрачным ходит! Ну, а что ж Меншиковы? Неужто так их и оставят в Ораниенбауме на свободе? Разве это кара за столь великие злодеяния?» И дальнзоркие люди отвечали на такие вопросы: «Конечно, не оставят. Самого Данилыча вместе со свояченицей Арсеньевой, Варварой, сошлют в Сибирь, потому это Варвара тоже много мудрила, ну, а жену с детьми оставят на свободе». В конце концов все так полагали, что, быть может, и никого уж не будут ссылать в Сибирь, наверно, и Александр Данилыч и Дарья Михайловна проживут недолго: лица на них нет, еле шевелятся, не жильцы они на свете! И всякий, кто успел взглянуть на светлейшего и на бедную княгиню в последние дни, не мог не согласиться с верностью этого предположения.

### *XIII*

Прошло несколько дней. Пустой, запертый и заколоченный стоит меншиковский дом, будто долгие годы никто не живет в нем. Тихо вокруг него, только ветер осенний гуляет по широкому двору, мчит по саду и обрывает на лету желтеющие листья, и с жалобным шепотом крутятся они и падают на землю. И дальше мчит ветер, хочет забраться в опустевшие покои; бьется в окна, и дребезжат от его напора стекла, но туда, вовнутрь, ему не прорваться, и с жалобой летит

он обратно, и опять крутит листья, опять клонит к земле древесные ветки. Вот добрался он до садовой беседки — эх, дверь-то запереть забыли — рванул он ее что есть силы и распахнулась она — соскочила с петель и упала. Ворвался ветер в беседку — все в ней тихо; стоят парчевые скамейки, стоят вычурные столики — это была любимая беседка княжен. Здесь еще недавно слышала княжна Александра признание своего жениха; здесь допреж того и княжна Мария не раз слушала сладкие, льстивые речи. Где теперь все эти любезники, все эти вздыхатели, где теперь бедные девушки? В далекое изгнание едут они, и погнался им вдогонку ветер, и нагнал их на большой дороге.

Все так же медленно, с печальной торжественностью подвигается огромный княжеский поезд. Ему навстречу выходят люди окрестные и, разинув рты, смотрят на это невиданное зрелище. Наглухо закрыты окна первой кареты, спущены изнутри шелковые шторы; душно в карете, но ни князь, ни княгиня не замечают духоты. Они оба ушли в свой внутренний мир и только изредка переговариваются друг с другом: их речи тихи и спокойны. Только, видимо, с каждым днем слабеет княгиня, вряд ли доедет. Да и князь совсем плох — скоро, скоро сбудутся предсказания петербуржцев. Заглянул ветер во вторую карету — неинтересно: спит крепким сном молодой Меншиков, да что ж ему теперь и делать, как не спать? Наяву печальные мысли приходят, а во сне все забывается. Рядом с ним не спит, а зорко смотрит по сторонам безобразная карлица. Забралась она на широкое сиденье кареты с ногами и сидит, как ком какой, горб спереди, горб сзади, шеи совсем нет, голова между горбами, как шишка какая. Зло посматривает карлица и все ворчит что-то себе под нос. Влетел ветер прямо в открытое окошко кареты и с размаху ударил в лицо безобразной карлице, сдул у нее платок с головы, растрепал седые волосы, так и забирается в глаза, в нос, в уши, так и свистит проклятый. «Эх, чтоб тебя!» — крикнула она и захлопнула окошко кареты — едва успел вылететь ветер.

И закружился он кругом третьей кареты — сидят в ней две княжны. Марья Александровна уж не скрывает лица своего — никто теперь ее не видит. Бледная она, бедная, так стала, что страшно взглянуть на нее, щеки ввалились, губы побледнели, кругом глаз — синева. Много слез выплаканы княжною, измучено давно уже ее сердце, и не теперь это началось, не в последнее время. Вся жизнь

как-то не удалась Марье Александровне: выросла она дичком, нелюбимую дочерью; не на радость пришло ей и неожиданное величие. Она никогда не заблуждалась и все очень ясно видела. В то время еще, как отца все считали недвижимым, нерушимым «статуем», а в ней видели будущую государыню, она сама никогда не верила своей светлой доле. Раз только в жизни и показалось ей, что она счастлива — это было еще при императрице Екатерине — полюбила она молодого польского выходца, Сапегу, и он ей строил свои комплименты — и было почти решено относительно ее брака с Сапегой. Но вот в один день все передумано: императрица выдала за Сапегу свою племянницу, Скавронскую, а Меншиков предназначил дочь в царские невесты. Решил Александр Данилович все это и даже за нужное не счел поговорить с дочерью; впрочем, она не противилась, она только все уходила к себе, да плакала в одиночестве. Ночи не спала и все от всех скрывала Марья Александровна, и никто не знал, сколько на душе у нее горя, да никто об этом и не справлялся: с детства никто не любил ее, с детства она никому не нравилась.

Началась новая жизнь: перед княжной ежеминутно стали появляться новые лица, на которых она прежде не обращала внимания и для которых не существовала сама — теперь эти новые лица униженно ей кланялись, заискивали, ловили каждое ее слово представлялись самыми преданными друзьями. Но ни одному из них не верила Марья Александровна: хорошо она знала, что все это значит, и хорошо понимала, что придет день — и разом все преданные друзья эти опять от нее отвернутся. Так оно и вышло. Хорошо еще, что на свободе ее оставили, что так скоро все разыгралось, а то бы пришлось прожить долгие годы с мыслью о верной, медленно приближающейся гибели... О, это было бы такое мученье! Теперь, конечно, лучше... Да что и думать — княжна никого и ничего не жалела, жалела она одного только человека, который еще недавно был так близок с нею, о котором она мечтала как о будущем муже — человек этот был все тот же Сапега. В последнее время только одна и была радость у княжны — мельком увидеть его, услышать его голос и потом долго жить этой минутой. Вот теперь никогда уж его не увидит, не будет знать, где он и что с ним, да и никого не увидит... Может, так и лучше... скоро, скоро все это кончится...

«Скоро, скоро! — шепчет ей на ухо ветер. — Сама знаешь, что скоро...«И летит он прочь от княжны, он знает, что и года не пройдет, как станет он носиться над ее могилой в стране далекой и холодной — в Сибири. Теперь подлетает он к другой княжне, к Александре Александровне; она тоже, бедная, все плачет, опухли и покраснели прекрасные глаза ее... но в ней еще много жизни, она еще не все потеряла, хоть потеряла многое. Она еще ждет чего-то, еще не намерена расставаться с жизнью. И ветер свистит ей в ухо: «Не плачь, успокойся, проглянет тебе солнце, опять будешь ехать по этой дороге, опять блеск и шум окружают тебя, и снова услышишь ты льстивые речи... а все же ненадолго, ненадолго... и ты уйдешь за ними, за всеми, не на радость, не на счастье родились вы, бесталанные!»

Дальше мчится ветер и злобно рвет он все, что попадается ему навстречу... К реке подлетит — вздуются и запенятся волны; на дерево наткнется — скрипит дерево, трещат сучья; тут поднимает пыль столбом, залезает в глаза пешеходу, там врывается в плохо притворенную дверь бедного жилища и студит его, студит — и никак не выгнать его хозяевам. И опять, наскучив этими забавами, летит осенний ветер ко взморью, к Неве широкой, и опять вьется вокруг меншиковского заколоченного дома и, вздувая Неву, пробирается на другой берег, к Петровскому старому саду, откуда разлетелись привозные птицы...

Придворная жизнь идет своим чередом, оживленно и шумно — все разом вздохнули свободно, все рады, что далек Меншиков. Новые заботы у всех на уме и на сердце. Меншиковых нет, надо делить их наследство — кто же его поделит? Перед кем придется снова склоняться, кому уступать дорогу? Хитрый немец Андрей Иванович — вот теперь первое лицо, все это хорошо понимают. Понимает это, конечно, и сам он, но знает, что трудненько держаться. Неразрешимый вопрос стоит перед Андреем Ивановичем: ведь, он воспитатель императора, значит, нужно хорошо воспитать его, нужно выучить, а Петр совсем учиться не хочет, хочет жить в свое удовольствие. Как тут быть, чтобы и совесть успокоить, да и вреда непоправимого не сделать?.. При Меншикове даже лучше было. Тогда Остерман был добрый, снисходительный человек, особенно рядом с светлейшим, он не налегал, как тот... Ну, а теперь нет этого сравнения. Всякое замечание неприятно Петру. Вот он все ночи напролет гуляет с

молодым камергером, князем Иваном Долгоруким, ложится в 7 часов утра. Заикнется Андрей Иванович о необходимости учиться — Петр станет сумрачен; раздражать его не годится. Извертывается Андрей Иванович и успокаивает себя своими неутомимыми трудами на пользу государства.

Ну, а другие? Кто же эти другие? — Конечно, князья Долгорукие, их не смущает совесть, они знают свое дело и дело их заключается только в том, чтобы угодить юному императору, чтоб быть ему приятным. Они хорошо знают, что только этим способом и можно им удержаться, а не то — беда: явятся враги и спихнут их так же, как сами они спихнули Меншикова. Вот уж явились враги: приехал знаменитый князь Голицын. Опять собрался родственный совет у Долгоруких: как быть с Голицыным? Василий Лукич объявил, что бояться особенно нечего: князь Голицын в фаворе не будет, не таков он человек, он ни за что не может отказаться от своей самостоятельности, не может смотреть в глаза, постоянно угодничать, да и характер у него тяжелый: сам себе повредит сразу.

Князю Ивану Долгорукому на этом родственном совете было поручено поскорей сообщить императору о том, что Голицын в последнее время свел дружбу с Меншиковым и с ним переписывался. Конечно, Иван аккуратно исполнил это поручение и легко добился того, что даже Петр немного поморщился, когда ему доложили, что князь Михайло Голицын явился и ждет аудиенции.

Петр хорошо знал обо всех заслугах Михайлы Голицына и, скрыв свое неудовольствие, вышел к нему и встретил его очень ласково. Но Василий Долгорукий был прав, говоря, что князь Михайло сам себе повредит своим характером. После первых слов Голицын сейчас же начал:

— Много перемен застал я здесь, ваше величество, вот и светлейшего князя Меншикова нет!..

Петр нахмурил брови.

— А что ж, князь, разве тебе хотелось, чтоб он был здесь?

— Я этого не сказал, — ответил Голицын. Меншиков мне не друг и не свой, а только, по истине, ваше величество, не мог я не смутиться, узнав, что такой заслуженный государственный человек, помощник Петра Великого, удален так скоро, сослан без суда... Коль есть его

вина великая, так все на суде бы открылось, а без суда ссылатъ человека не ладное дело.

Юный император ничего не ответил и очень сухо простился с Голицыным.

Долгорукие торжествовали. Теперь им некого было бояться, разве что Остермана, но Остерман — один, его можно сделать безвредным, а уничтожить, удалить — не годится: на ком же дела тогда останутся? Князья Долгорукие любят пожить в свое удовольствие, от дела не бегают, да и дела не делают, если можно свалить его на кого другого. А на кого же свалить, как не на Остермана, благо работает неустанно, нигде не сыскать такого работника! И решено до времени всячески беречь Остермана.

#### XIV

Барон Андрей Иванович только что вернулся домой из заседания Верховного Тайного Совета. С раннего утра, не переставая, работал он, и теперь, действительно, уже не притворяясь, чувствовал себя уставшим. Но дома, в его скромной семейной обстановке его ожидало успокоение. Заботливая жена к возвращению мужа приготовила обед, сама позаботилась о том, чтобы все были вкусные и любимые Андреем Ивановичем яства. Сама она накрыла ему прибор, поставила серебряную стопку и бутылку английского пива.

Андрей Иванович, переодевшись у себя, вошел в столовую и с удовольствием заметил заботливые приготовления жены. Здесь, в этой маленькой столовой, он был совсем не тем человеком, каким привыкли его видеть все его знавшие. Здесь он был сам собою, даже лицо его изменилось, спадала с него сдержанность. Он не думал уж больше о том, что говорить и как держать себя, теперь глаза его, обыкновенно опущенные и редко глядевшие прямо на собеседников, искрились и спокойно и ласково обращались к верному другу — жене.

— Ох, устал, мейн герцхен, — сказал он, — давай скорей обедать!

Повторять приказание было нечего: все было уже готово. Утолив свой аппетит, Андрей Иванович покурил трубочку, прихлебывая пиво.

Никто, глядя на него, не признал бы в нем одного из великих государственных людей того времени, тонкого дипломата, искусного интригана. Он был теперь добрым, жирным немецким буршем, созданным, казалось, для тихой семейной жизни, для трубки и стопки пива — и ничего так не любил он на свете, как эти редкие свободные часы, этот старый, потертый теплый шлафрок, старую трубку и пиво.

— Ну что, как там у вас? — спросила баронесса Марфа Ивановна, видя, что муж отдохнул и теперь сам рад будет побеседовать с нею.

— Да что там, все то же... Спасибо, что никто в дела не вмешивается и вольно мне делать все по-своему. Вот люди — каждый готов утопить меня в стакане с водою, а лень у них все же пуще вражды и ненависти, утопят, так ведь работать будет нужно, а этого они не любят. А уж как ненавидят, как ищут придраться к чему-нибудь — вон наемни Головкин подошел ко мне и говорит: «Странное дело, говорит, Андрей Иваныч, что воспитание нашего монарха поручено вам». А почему, говорю, странное дело? «А потому, — отвечает, — что вы человек не нашей веры, да и никакой, кажется».

Марфа Ивановна ничего на это не сказала и сделала вид, что занята перестанавливанием посуды на столе. Она сама не раз уже подумывала о том, какой веры ее добрый муж, Андрей Иванович. Не раз и она поднимала с ним религиозные вопросы, но всегда как-то очень быстро и ловко отделялся он от подобных разговоров, и это обстоятельство очень смущало баронессу. «Видно, нет на свете совершенного человека, — думала она, — все хорошо, а одного чего-нибудь всегда недостает человеку». И она усердно молилась Богу и просила его, чтоб он простил рабу своему Андрею все грехи его вольные и невольные.

— Ну, а государь что теперь делает? — поспешила она переменить разговор, который мог сойти на неприятную почву и расстроить Андрея Ивановича. — Был он сегодня в Совете?

— Не был, матушка, не был, когда он бывает! В первые две, три недели после Меншикова приезжал, а теперь и глаз не кажет, не тем занят — веселится все. Просто не знаю, что и делать! Знаешь ведь, что вчера было — хотел сказать тебе, да не успел: ведь я вчера имел большое объяснение с государем — право, сердце у меня не на месте, что я за воспитатель! Вот вчера, оставшись с ним наедине, и говорю ему: ваше величество, исполни мою сердечную просьбу — уволь меня



от должности твоего воспитателя, ибо иначе придется мне строгий отчет дать; ведь должен я следить за тем, чтобы ваше величество учились изрядно, а ваше величество только о веселье думаете. Отпусти ты меня, Христа ради, назначь на мое место кого другого.

— Ну, что же государь, что он сказал? — поспешно спросила баронесса.

— Очень уж он изумился. Потом заплакал, стал просить, умолять меня остаться. «Не оставляй меня, — говорит, — Андрей Иваныч, никого другого, кроме тебя, не хочу — да и кого найду? Я тебя люблю сердцем и почитаю. Я знаю, что ты имеешь право быть недовольным мной. Я знаю, что веду себя нехорошо». Вот и говорю я ему: так если сам знаешь, государь — отчего не исправиться? У человека воля должна быть, твердость. Видишь, что нужно идти направо, зачем же идешь налево? Смотрю я, государь еще пуще плачет. «Прости, — говорит, — меня, Андрей Иваныч, — исправлюсь, буду учиться».

— Что ж, это хорошо! — сказала баронесса.

— То есть одно недурно, что еще не успели его отвратить от меня, любит, да и сердце у него доброе, а другого ничего хорошего нет, потому хоть и обещал он мне это вчера утром, а к вечеру за старое принялся: не преодолел искушение — всю ночь пробегал по городу с Долгоруким.

— Ох, уж этот Долгорукий, — озабоченно покачала головой баронесса.

— Да, нечего сказать, — что ни день, то хуже; просто язва этот Долгорукий, — заговорил опять Андрей Иванович. — Чай, слышала ты, что он теперь с княгиней Трубецкой водится — так что теперь вышло, говорить о том стыдно. Ведь князь-то Никита Трубецкой не Бог знает кто: и древняя фамилия, и на виду — а знала бы ты, как с ним обращается этот Долгорукий — ни стыда, ни совести! Пьянствует у него в доме, ругает его, даже бьет, мне говорили, — а тому что ж делать? Кто сладит с фаворитом? Ведь теперь иначе его уж и не называют. Пробовал я вчера государю о нем заикнуться, так побледнел тот даже: «Нет, — сказал, — не говори ты мне, Андрей Иваныч, ничего дурного про моего друга, он мне теперь заместо брата, так люблю я его, и никому, слышишь ты, — говорит, — Андрей Иваныч, никому не позволю его обижать». Да разве одна Трубецкая, — опять раздражительно заговорил Андрей Иванович, — позор, срам, что он

такое творить начал: ко всем пристаёт, никому от него нет спасенья, а за ним и другие молодчики примеру его следуют... Хоть бы иностранных резидентов постыдились! Те уж своим дворам отписывают, что в России честь женская в такой же безопасности, как во граде, взятом неприятелями—варварами. До чего он дойдет, этот Долгорукий, помыслить страшно, да и государя совратит. Ну, теперь молод тот еще, а время-то идет скоро; год, другой пройдет, вырастет — ах, Боже мой, право, страшно подумать!

В это время в комнату вбежала служанка и объявила, что приехала великая княжна Наталья. Остерман засуетился, вскочил из-за стола и побежал к себе переодеваться. Баронесса встретила великую княжну поклонами, рассыпаясь в благодарности за высокую честь, которую она им оказала своим посещением.

— Очень Андрея Иваныча нужно видеть, он дома? — спросила Наталья.

— Дома, дома, принцесса, сейчас выйдет.

Андрей Иванович не заставил себя дожидаться, а баронесса поспешно вышла из комнаты, чтобы не стеснять царевну своим присутствием.

— Чем заслужил я, ваше высочество, такую честь? — почтительно говорил Остерман.

— Какая честь, Андрей Иваныч, — озабоченно проговорила великая княжна, — поговорить нужно с вами, да так, чтоб никто не знал. Вот каталась и заехала.

— Разве случилось что, принцесса?

— А разве у нас проходит день, чтобы чего-нибудь не случилось? Сегодня утром у меня опять было объяснение с братом. Не могу я смотреть на него равнодушно, уморят они его, — и великая княжна заплакала и сквозь слезы продолжала, — как есть уморят! Ведь он в семь часов утра теперь спать ложится; где бывает, что делает, не знаю я. Сегодня лица на нем нет, бледный такой, да посмотрела я, и глаза у него красные, точно плакал.«Петичка, — говорю, — ты плакал, признайся?»«Ну, вот он и признался, что точно плакал, и причиной этих слез цесаревна Елизавета; или с Долгоруким он, или у нее. Третьего дня два раза звать его посылала, а он так ко мне от нее и не вышел. Голубчик, Андрей Иваныч, на какой конец все это? Помогите, посоветуйте!

мне, как спасти его. Я все терпела, все молчала в последнее время, но такие дела теперь узнала, что молчать не могу больше!..

— Что же вы узнали такое, принцесса? — тихо спросил Андрей Иванович.

— А то, что цесаревна смеется над ним, мучит его, она вот с Бутурлиным его насмех поднимает, верные люди мне это сказали.

— А Бутурлин у ней часто бывает? — спросил Остерман.

— Почти и не выходит от нее, — отвечала Наталья, и глаза ее засверкали.

— Ну, что ж, это ничего, успокойтесь, принцесса, ободряющим голосом заговорил Андрей Иванович, — успокойтесь, принцесса, может, в Бутурлине все наше спасенье. Ужо я все разузнаю и посмотрю, что надо делать. Утрите же ваши светлые глазки, вы совсем не дурные вести принесли мне. Сами увидите, все к лучшему повернется.

— Да хотя бы и так, надолго ли? — прошептала великая княжна.

— Ну, это другое дело! — развел руками Андрей Иванович.

Царевна уехала, и Остерман остался опять вдвоем с женою; он не рассказывал ей о своем разговоре с великой княжной, он хорошо знал, что она и так слышала за дверью весь разговор этот.

— Теперь дела принцессы Елизаветы плохи становятся, — заметил он, — нужно ждать перемен. Вот скоро в Москву все поедет для коронации, а в Москве новый человек есть, бабушка, и человек этот может стать важным человеком для нас для всех. Что ж, мейн герцхен, написала ты старой царице письмо?

— Написала, — ответила баронесса, — вот черновое в кармане, прочти, все отписано, как ты приказывал. — Баронесса подала мужу бумагу. Он с большим вниманием принялся читать ее. Марфа Ивановна Остерман писала царице Евдокии, позабытой до сих пор инокине Елене, о том, что вручает себя в высочайшую ее величество милость и при этом уверяла, что муж ее государю и ей, царице, со всяким усердием и верно служит и служить будет.

— Хорошо, хорошо, так, так и нужно, — одобрительно кивал головою Андрей Иванович, читая письмо это. — Ну, а теперь и я, Марфуша, пойду тоже напишу царице, ох, нужна она нам, ох как нужна, ведь все же бабушка родная, кровь заговорит! Многое она сможет сделать, пуще всего нужно нам заручиться ее милостью...

Андрей Иваныч сел за свой рабочий стол и принялся писать. Он описывал старой царице службу, сочиненную на день рождения государя, прилагал рисунок фейерверка, в этот день сожженного, и манифест о коронации. Долго писал он и так окончил письмо свое: «Яко я на сем свете ничего иного не желаю, кроме чтоб его Императорскому Величеству без всяких моих партикулярных прихотей и страстей прямые и верные свои услуги показать, так и Ваше Величество соизволите всемилостивейше благонадежны быть о моей вернейшей преданности к Вашего Величества высокой особе о том не распространяю, понеже ведаю, что как Его Императорское Величество так и Ее Императорское Высочество великая княжна, мне в том верное свидетельство подать изволят, и верная моя служба всегда более в самом деле, нежели пустыми словами явна будет».

— Вот так ладно! — сказал сам себе Андрей Иванович, перечитывая письмо свое. — Ох, трудно, трудно жить на свете: обо всем-то надо подумать, все предусмотреть, предугадать, а то как раз полетишь в пропасть и что от тебя там останется!..

И Андрей Иванович собрался во дворец. На новые мысли навела его великая княжна Наталья.

## XV

Цесаревна Елизавета вернулась с прогулки в свои апартаменты и отдыхала в мягком кресле. На душе у нее было, как всегда, светло и весело, она с удовольствием осматривала свою любимую комнату, убранную и устроенную по ее вкусу. Комната была довольно обширна, устлана мягкими коврами. По стенам висели портреты родных: Петра Великого, Екатерины и любимой сестры Елизаветы — герцогини Анны Петровны. Был тут также и превосходный портрет юного императора, недавно с него списанный и подаренный им Елизавете. У окна стоял мольберт с начатой картиной, над которой по утрам работала Елизавета. Много книг разложено было в углу, на большом столе, покрытом тяжелой скатертью. Цесаревна, предаваясь удовольствиям, всегда находила время для занятий; она прекрасно рисовала, пела, любила читать интересные и полезные книги. Теперь

она вытянула на бархатную подушку свои маленькие ноги, обутые в атласные туфли, откинула голову и улыбалась сидевшему перед нею Александру Борисовичу Бутурлину. Бутурлин был красивый, статный молодой человек, очень любезный и образованный для своего времени. В последние месяцы все заметили, что цесаревна обратила на него большое внимание, постоянно к себе приглашала, об этом уж все говорили. В комнату вошла фрейлина и подала письмо Елизавете.

— Ах, это из Киля, — обрадовалась цесаревна, — от Мавры Шепелевой. Что-то она пишет?

Елизавета быстро разорвала конверт и принялась читать письмо.

Ее прелестное лицо оживилось еще больше, улыбка распространилась по нему и показывала на щеках прелестные ямки.

Бутурлин молча любовался ею.

— Что ж она вам пишет, или это тайна? — наконец проговорил он.

— Какая тайна! Пишет, что все здоровы. Сестра ездила в санях по Килю, и весь город дивовался русским саням. Балы у них там через день. Особенно веселый бал, говорит Мавра, был у графа Бассевича, вот как пишет: «И танцевали мы там до десятого часа утра и не удовольились в комнатах танцевать, так стали польский танцевать в поварне и в погребе».

И цесаревна и Бутурлин громко засмеялись.

— Вот там как веселятся, не нашему чета, — говорила Елизавета, — от души веселятся. Послушай, что дальше: «И все дамы кильские также танцевали, а графиня Кастель старая, лет пятидесяти, охотница великая танцевать и перетанцовывала всех дам — молодых перетанцовывала». И еще пишет: «Бишоф очень дурно танцует, а принц Август и еще того хуже». А вот и еще, но вот прочти сам, и цесаревна краснея передала письмо Бутурлину, указывая на приписку. Он прочел: «Ежели вашему высочеству не в противное поздравить с кавалериею Александра Борисыча». Цесаревна, все так же улыбаясь и краснея, взяла письмо обратно у Бутурлина. Он с восторгом глядел ей в глаза, нежная, белая рука с письмом была так близко от лица его, что он не мог удержаться и поцеловал эту руку. Елизавета тихонько ударила его письмом по лицу и опять засмеялась.

В это время дверь отворилась, и на пороге показался юный император. Он осмотрел всю комнату, пристально взглянул на

смеявшуюся, раскрасневшуюся Елизавету, потом перевел свои глаза на Бутурлина, побледнел и нахмурился.

— Мне кажется, ты никогда не бываешь делом занят, — не сдерживая своего раздражения, сказал он Бутурлину, — я тебя еще никогда за делом не видел!

— Вот дайте мне дело, ваше величество, так я и буду занят, — спокойно ответил Бутурлин.

— Дам, непременно дам, а теперь оставь нас, мне нужно поговорить с цесаревной.

Бутурлин поклонился глубоким поклоном и вышел.

Едва заперлась за ним дверь, Петр подбежал к Елизавете, схватил ее за руку и прошептал, задыхаясь от волнения:

— Лиза, Лиза, зачем ты меня мучаешь?

Она изумленно на него взглянула.

— Я, я тебя мучаю, скажи на милость, чем?

— Как будто сама не знаешь! Что ж это такое? Всякий-то раз, как приду к тебе, непременно у тебя этот Бутурлин торчит, всегда ты с ним!

— А вот я слышала, что меня упрекают, будто я всегда с тобою, что я тебе учиться мешаю, так не знаю, право, что уж мне и делать, все неладно! И потом скажи, пожалуйста, государь, с каких это пор ты стал моим дядькой? Если ты видишь у меня Бутурлина, так что ж тут мудреного и дурного? я очень люблю Бутурлина и всегда рада его видеть, люблю потолковать с ним, он умный, веселый...

— А я не могу допустить этого, я этого не позволю! — волновался император.

— Вот как! — засмеялась Елизавета, глядя ему прямо в глаза своими живыми, светлыми глазами. — Вот как! Мой милый племянничек хочет подражать Александру Данилычу, моим зверем-цербером хочет сделаться! И чем тебе помешал Бутурлин, за что ты так не взлюбил его? Сам еще недавно хвалил...

Юный император ничего не ответил, только вдруг его лицо изменилось, он упал перед цесаревною на колени, прижался к ней лицом и горько заплакал. Она взяла голову его обеими руками и подняла ее.

— Голубчик мой, Петинька, что с тобой? Зачем ты плачешь?

— Я все вижу, все... — захлебывался слезами Петр, — я... я вижу, что ты меня нисколько не любишь, Лиза!

— Ах, какой ты, право, ребенок! Как тебе не стыдно? Ты так умен, так благоразумен, а вдруг превращаешься в самого маленького, глупенького мальчика. Как тебе не стыдно?

— Но по совести, как перед Богом, можешь ли ты мне сказать, Лиза, что ты меня любишь?

— Еще бы, люблю, люблю всем сердцем, мой милый, дорогой! — Она обняла его и крепко поцеловала.

— Ну, если это правда, если ты меня любишь, — начал юный император, вытирая слезы, усаживаясь в кресло рядом с цесаревной и не выпуская ее руки, — если это правда, так докажи мне: согласишься быть моей женою...

Цесаревна с видом глубокого изумления взглянула на него и освободила свою руку.

— Ах, какой вздор это! — тихо проговорила она. — Откуда, право, берутся у тебя такие мысли?

— Почему ж это вздор? — вспыхнув, возразил император.

— Потому вздор, что вовсе тебе теперь еще не следует думать о женитьбе. И какая я тебе невеста? Я старше тебя, я твоя тетка.

— Тетка, тетка... и ты тоже, рады вы все, что нашли это слово. Так что ж, что тетка? Разве тебе такой красавице, такой молоденькой, прилично быть теткой? Лучше тебе быть невестой. И потом ты говоришь, что мне рано об этом думать; да как же рано, когда уж у меня была невеста... и должна быть непременно, и ведь моя невеста была не моложе тебя, а никто тогда не находил странным!

— Вот оттого, что она была твоей невестой и была старше тебя, ты и не любил ее. Так бы и меня скоро разлюбил, если б я согласилась.

— Ты и она, смешно подумать! Как можешь ты себя сравнивать с нею? — все больше и больше волновался юный император. — Лиза, послушай, согласишься, я тебя умоляю, я тебя люблю больше всех на свете, я для тебя все сделаю, что ты только захочешь! Что ж, разве лучше тебе будет выйти замуж за какого-нибудь немецкого принца, уехать отсюда, никогда не видеть ни нас, ни Россию? Ведь вот ты сама часто говоришь, что тетушка Анна Петровна несчастна, что так она сюда и рвется; что ж, ты и себе того же хочешь?

— Нет, я себе вовсе этого не хочу, я совсем не хочу замуж. Я останусь такою, какова я и теперь, останусь свободной. Зачем мне муж? Не нужно.

— Лиза, умоляю тебя, согласишься, разве ты не хочешь быть царицею? Ведь вот теперь кто-нибудь может тебя обидеть, а тогда никто уж не обидит.

— Я не знала, государь, что меня можно теперь обижать; я думала, что ты никому меня не дашь в обиду? — поднялась Елизавета.

— Ах, прости, прости, я не так сказал, — заторопился Петр, — я не знаю, что говорю, я так опечален, так несчастлив... Лиза, голубушка моя, согласишься, пожалуйста, я теперь не могу жить без тебя...

— Нет, видно, можешь, — улыбнулась цесаревна, — ты не можешь жить только без Ивана Долгорукого. Вот ты меня упрекаешь, что часто бывает у меня Бутурлин, а посмотри на себя: ведь, ты совсем не отпускаешь от себя Долгорукого; ведь все дни и ночи ты с ним. Уж за одно это я бы никогда не согласилась на то, о чем ты просишь. Долгорукий делает из тебя все, что хочет: если б ты и женился когда, вздумает он обидеть твою жену, и ты это ему позволишь.

— Боже мой, что ты говоришь, Лиза! Иван, точно, мой самый лучший друг, я его люблю и он меня любит, но только напрасно ты думаешь, что я позволю ему играть собою. Ах, Лиза, да если я всегда с ним, если я стараюсь веселиться, так ведь только, может быть, чтоб как-нибудь убить время, чтоб о тебе не думать, ты всему причиной! Скажи одно слово, согласишься, о чем прошу я, и все будет иначе. Лиза, послушай, скажи, что ты меня любишь, я всем тебе пожертвую, и хоть люблю Ивана, а по твоему приказу и с ним не стану видаться, забуду о нем, обо всех забуду, Лиза!..

И одно ее слово, действительно, могло бы произвести самую неожиданную и огромную перемену, но она не сказала этого слова. Она все хорошо видела и понимала, знала, что теперь могла бы забрать все в свои руки, всем распоряжаться, как ей вздумается, могла бы сделаться всемогущей, но для этого нужно было притворяться, лгать, ломать свое сердце, согласиться на то, что казалось ей невыносимым, невозможным, противным совести, — и честная, прямая натура Елизаветы возмущалась этим. Она была готова от всего отказаться, готова была вынести многое, чтоб остаться свободной в своих поступках и в своих чувствах, — и она не выговорила того слова,



которого так жадно ждал от нее маленький император. Она встала перед ним. Спокойное, побледневшее лицо ее сделалось вдруг серьезным и даже грустным.

— Нет, государь, нет, мой милый Петруша, я не могу согласиться, — тихим ровным голосом выговорила она. — Я не хочу обманывать себя, себя и Бога. Я сердечно люблю тебя, но как брата, как племянника, как государя. Никогда я не могу быть твоей женою. Петруша, голубчик, и ты не волнуйся, ты сам потом будешь мне благодарен, что я так говорю тебе.

— Так это твое последнее слово... последнее? — бледный и дрожащий едва выговорил император.

— Последнее, Петруша.

Он с отчаянием взглянул на нее, крупные слезы готовы были политься из глаз его, он, задыхаясь от сдавливаемых рыданий и вдруг собрав все силы, молча и даже не взглянув на Елизавету, вышел из комнаты. Он отправился прямо к сестре и вошел к ней с таким лицом, что она испугалась.

— Что с тобой братец?

— Ничего, Наташа... Я сейчас был у Лизы, и предложил ей быть моей женой, и она мне отказала...

— Что ж, она очень хорошо сделала, — смущенно проговорила княжна.

Целый рой мыслей закружился в ее голове: «Радоваться этому или печалиться, — думала она. — Может быть, рассердится, не простит ей этого, отвернется от нее... О, как бы это хорошо было! Но ведь может быть и наоборот, может быть, эта неудача только раздражит его и он больше ее полюбит, ведь это бывает, я знаю, я понимаю, что оно может быть и наверно бывает».

— Как же она тебе сказала?

— А так, что ты была права, сестрица, когда говорила, что Лиза хитрая, что она только смеется надо мною и считает меня ребенком. Да, она сама мне теперь все это сказала: она взаправду только всегда смеялась надо мною, она меня никогда не любила, для нее я мальчик, ей со мной скучно, ей веселее вон с Бутурлиным; он, видишь ты, умен и весел!..

«А, Бутурлин», — подумала великая княжна.

— Да, я знала, что так все и будет, — громко сказала она. — Бутурлин ей очень нравится, это я давно замечаю.

— Так я не попусти этого, не вынесу... Я уничтожу Бутурлина, я сошлю его, я не позволю смеяться надо мною.

— Братец, милый, успокойся, — заговорила царица, — нехорошо это. Ты должен оставить Бутурлина в покое. Как можешь ты становиться с ним на одну доску? Вы не ровня. Он не смеет над тобой смеяться. Не за что ссылать его, пока он, действительно, не провинился; ты должен быть справедлив, ты должен понять, наконец, Лизу: она тебя не стоит. Если она себе находит друзей, пускай, оставь ее и успокойся. Послушай меня, береги свое достоинство, держи себя так, чтобы все тебя уважали.

Император мрачно слушал сестру, его лицо хмурилось все больше и больше.

— Да, ты права, — наконец прошептал он. — Это правда, что не стоит связываться. Я любил ее так, как больше любить невозможно, но если она меняет меня на всякого и со всяким дружится, так я сам не хочу ее знать... Я забуду ее, Наташа, теперь ты можешь радоваться. Ты боялась, что тебя из-за нее позабуду и разлюблю — ну, так вот видишь, будь теперь спокойна: я не хочу о ней думать, ее для меня нету... Ты одна только у меня... одна только, Наташа!

Петр вдруг заплакал, бросился на шею сестры и долго они так оставались и плакали вместе.

По его уходе великая княжна даже стала креститься от радости и благодарила Бога, что он помог ей.

Маленький император, очевидно, серьезно намеревался позабыть красавицу-тетушку. Вечером во дворце был бал. Петр казался оживленным, много танцевал и ни разу не подошел к цесаревне. Все сейчас же заметили это, и начались, по обыкновению, всевозможные разговоры и предположения. Но цесаревна ничем не смущалась, была как и всегда весела, приветлива; тоже танцевала весь вечер и не раз ходила по залам под руку с Бутурлиным.

Прошло рождество. В Петербурге готовились к переезду дворца в Москву на коронацию. Сам император торопил этой поездкою: ему уж надоел Петербург: все одно и то же, да одно и то же, а в Москве, говорят, столько славных мест для охоты, чудные облавы на медведей можно делать. И Андрей Иванович тоже торопит отъездом. Андрей Иванович часто теперь говорит о московской бабушке. Никогда до последнего времени ни Петр, ни Наталья не слыхали об этой бабушке, даже думали, что умерла она, что ее совсем нет, а вдруг бабушка оказалась живою! Еще раньше, осенью, после ссылки Меншикова, барон Андрей Иванович принес императору письмо от нее и говорил ему, что бабушка до сих пор была в далеком монастыре, что ее нужно со всяким почетом перевести в Москву и пусть она себе выбирает местожительство. Император сейчас же распорядился; бабушке был назначен штат. Она пожелала поселиться в Девичьем монастыре: бабушка — монахиня. Вспомнил император все, что когда-либо слышал — ничего хорошего не слыхал он о ней, никто не любил ее: все бранили. Говорили, что много она была виновата перед супругом своим, Петром Великим.«Да полно, так ли, нужно ли почитать эту бабушку?» — спросил об этом император у Андрея Ивановича. Андрей Иванович говорит, что нужно. А ну, как бабушка станет вмешиваться не в свое дело, будет вести себя, как вел Меншиков?! Меншиков тоже всегда говорил, что имеет право над императором, жаловался на его неблагодарность, выставлял свои заслуги. Но Меншиков был подданный, а если бабушка станет во все вмешиваться, так ведь ей и не ответишь, пожалуй, что не ее это дело. Она родная — значит, имеет право, особенно теперь, когда никого старших нету. Как хорошо, что она пожелала поселиться в Москве! Юный император даже испугался, когда один раз получил от нее письмо, в котором она, между прочим, писала:«При этом просьба: если ваше величество к Москве скоро быть не изволите, дабы мне повелети быть к себе, чтобы мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внучку, прежде кончины моей. Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях. Как вы родились, не дали мне про вас слышать, ниже видеть вас». Петр испугался:«бабушка хочет сюда ехать, приедет, испортит все веселье — нет, пусть живет там, в Москве. Поедем на коронацию — увидимся». Он написал старой царице самое любезное письмо, но не звал ее в Петербург.«Прошу ко

мне отписать, — заканчивал он письмо, — в чем я вам могу услугу и любовь мою показать, еже я верно исполнять не премину. Я сам ничего так не желаю, как чтобы вас видеть, и надеюсь, что Божией помощью еще нынешней зимы то учиниться может».

О московской бабушке рассуждали теперь и думали очень многие. Раньше всех подумал, как мы уже видели, барон Андрей Иванович. Но и Долгорукие соображали, что на нее следует обратить внимание, и они ей писали.

Старая царица благодарила всех за верную службу ее внуку и всех уверяла в своем расположении.

Барон Остерман, очевидно, окончательно помирился со своею совестью, рукой махнул на ученье императора и не препятствовал в его забавах. Долгорукие с каждым днем получали больше и больше силы. По всему Петербургу ходили преувеличенные рассказы о бесчинствах, чинимых фаворитом.

Великая княжна Наталья несколько успокоилась, здоровье ее поправилось: она перестала кашлять.

Император все сердился на цесаревну Елизавету и старался показать ей это: он ухаживал то за одной, то за другой из красивых девушек, дочерей придворных. На святках, во время многочисленных праздников и балов, устраиваемых при дворе, он обратил особенное внимание на княжну Катерину Долгорукую, которая совсем выросла и очень похорошела в последние месяцы. Этому, конечно, способствовал и фаворит: он почти ежедневно находил случай так или иначе напомнить императору о своей сестре, расхваливал ее ум, толковал о доброте ее сердца; быть может, главным образом, чтоб только угодить ему, — и любезничал с ней император.

Но Катюша Долгорукая держала себя весьма сдержанно, нисколько не кокетничала и не искала встреч с Петром. Быть может, если бы она держала себя иначе, она больше бы ему и понравилась... Брат не раз уж выговаривал ей и даже с ней ссорился из-за этого: до сих пор он смотрел на нее, как на маленькую девчонку, но эта девчонка сделалась ему нужна, да и к тому, вот она выросла, похорошела. Но он все же думал, что она не выйдет из повиновения, что своего ума у ней нету; а она вдруг ему отвечает на всю его науку как нужно обращаться с императором.

— Да что ж это, Иванушка, сама я знаю, как вести мне себя должно, не доброму ты меня учишь, да и не забыла я судьбу княжны Меншиковой!..

Иван Долгорукий раздражался, кричал на сестру и скрывался из дому или к императору, или к многочисленным царицам своего сердца.

Меншиковых не оставили в покое. В последнее время посланник при шведском дворе граф Головин, донес об одном письме Меншикова, из которого ясно можно было усмотреть измену светлейшего князя, Узнав об этом, Петр приказал послать к Меншикову нарочного, который бы обо всем допросил его с принуждением и угрозами, велел опечатать все его имение, отобрать все его письма. И вот был отправлен к Меншикову Плещеев, которому наказано было допросить Александра Данилыча, между прочим, и о деньгах, взятых с герцога Голштинского.«Нельзя оставлять его на свободе, — толковали государю приближенные. — Надо подальше послать его, а то он опять строит ковы!..«Была решена последняя, страшная участь Александра Данилыча: его сошлют в Березов, а с ним и его семейство!..

После святок император каждый день осведомлялся, скоро ли все будет готово к переезду в Москву. О Москве, главным образом, напоминали Долгорукие. У них были свои планы и, очевидно, что и государь вошел в них. Как-то, на большом сборище, он во всеуслышание толковал о том, что Москва хороший город и что напрасно дед совсем забыл ее; в Москве не худо пожить бы подольше. Эти слова императора произвели сильное впечатление: многие вельможи были очень довольны. Петровского парадиза недолюбливали. Тут было столько неудобств: страна печальная, болотистая, ветры сильные дуют, холодные; родовые деревни далеко, трудно доставлять все необходимые запасы, а в Москве чрезвычайно хорошо, старое, родное, нагретое место — и поместье их близко оттуда, все легко достать. Но чему радовались русские вельможи, от того приходили в ужас все, кому дорога была новая Россия и заветы покойного императора. В переезде в Москву видели забвение дел Петровых, удаление от Европы, предсказывали падение России, возвращение к старым порядкам, к прежнему варварству. Пуще всех боялся этого барон Андрей Иванович. Всеми силами в разговорах своих с императором старался он его настраивать так, чтобы он видел

в поездке только необходимость, по старому обычаю, короноваться в Москве, чтобы он не забыл о настоящей нужде вернуться снова в Петербург, потому что отсюда только и можно управлять Россией. Юный император внимательно вслушивался в слова своего воспитателя. Андрей Иванович говорил так убедительно, так разумно, но вслед за Андреем Ивановичем являлись Долгорукие — Алексей Григорьевич и Иван Алексеевич, и тоже очень красноречиво и разумно описывали прелести московской жизни.

Наконец, в начале января 1729 года двор выехал в Москву. Оживилась московская дорога, по ней двинулись цугом огромные сани, покрытые кожей кибитки с теплыми меховыми полостями.

Унылые местности тянулись сзади и спереди. Со всех сторон дороги точно были снежные пустыни; изредка попадались хижины и деревеньки. Одни леса нарушали эту плоскую беспредельность, и стояли эти леса, как войско великанов, покрытые снегом и инеем, и маленький император глядел на них — и казалось ему, что они грозят своими мохнатыми руками. Вот ночь проходит: почти все спят в царском поезде. Только одному императору не спится: закутавшись в свою теплую меховую шубу, прикрывшись медвежьей полостью, глядит он снова на этих великанов, и все грознее и таинственнее машут они ему навстречу мохнатыми руками. «Да за что ж они мне грозят, — сквозь полудремоту думается императору, — что я им сделал?» И забывает он о них, и думает о том, что ожидает его в Москве: какие веселья. «Нет, Андрей Иванович не прав, а правы Долгорукие, — зачем это дедушка выстроил Петербург на таком месте, зачем уехал он из Москвы?! В Москве лучше, да и всегда цари русские в Москве жили. Москва старый, родной город, и я там жить буду». И представляется императору Москва — хоть он и никогда не видал ее — представляется тамошняя жизнь в волшебном, сказочном виде. Он открывает глаза — и опять перед ним ледяные великаны, и опять они ему грозятся; вот будто выступили они со всех сторон дороги, будто не пускают вперед его царский поезд. Ему даже слышится в ледяном молчании морозной ночи: «Назад, назад, не пустим!..» «Что ж, они сговорились, что ли, с Андреем Ивановичем или пророчат недоброе?..» И вдруг как-то страшно становится ему: дрожь пробегает по его членам, плотнее закутывается он в свою шубу, но дрожь не проходит...

На другой день, подъезжая к Твери, совсем разболелся император. Решено было здесь остановиться на несколько дней, ждать его выздоровления.

А в это время над Петербургом носился холодный туман. Уныло и сумрачно было по опустевшим улицам Петровского «парадиза»: нет прежнего оживления, как будто и никогда его и не бывало, и северный лютый мороз застудил так еще недавно кипевшую жизнь, уложил на вечный сон все живое. Молчит, не шелохнется Нева широкая, закованная льдом и побелевшая; грустно торчат мачты недостроенных кораблей; остановились по широким улицам недоделанные постройки; царские сады заперты и голые, деревья их тоже торчат как мачты, и только вороны иной раз нарушают своим карканьем их тишину невозмутимую. Заколочены ставни дворцов, дома вельмож заколочены — совсем мертвое, сонное царство. Что ж, неужели и впрямь не нужен весь этот мрачный недостроенный город, восставший из болота?! Вот зимняя ночь надвигается на него, и еще мертвеннее, невозмутимее становится тишина, и кажется этот город каким-то призраком, будто и нет его совсем, будто он только сон — причудливый сон богатыря земли русской, безвременно заснувшего на берегу Невы, в каменном новом соборе...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Зимние ясные и морозные дни стояли над Москвой. Густо выпавший снег закутывал ее и блестел и переливался на солнце. Покрытые инеем, стояли деревья садов московских, лесов и роц, окружавших со всех сторон первопрестольную столицу. Река Москва извивалась твердою, белой дорогой и по ней взад и вперед перебирался пеший люд и тянулись многочисленные обозы. Забытая и затихшая в последние годы Москва снова оживилась; в ней обнаружилось необычайное движение. К Тверской заставе то и дело подъезжали курьерские тройки; в Кремле и во дворцах немецкой слободы делались приготовления к приему императора и двора. Весть об императорском приезде уже облетела весь город: передавалось известие, что двор уже выехал, уже на дороге; потом вдруг другое известие — император заболел в Твери. Прошло несколько дней, говорили: выздоровел и едет. Но в ожидании торжественного въезда глаза жителей московских и их уши обращались к одной из окраин города, к берегу Москвы-реки, на котором возвышалась, за широким полем, старинная обитель — Новодевичий монастырь. Монастырь этот построен еще в 1524 году великим князем Василием Ивановичем, в память победы над казанскими татарами при реке Свиязи. С тех пор эта обитель никогда не забывалась щедротами царей и всякого русского люда; но особенное значение и известность приобрела она с того времени, как сюда была заточена царица Софья Алексеевна. Теперь при монастыре существовал приют для содержания подкидышей — беспризорных девочек, и их было более двухсот пятидесяти. Они воспитывались в монастыре под надзором монахинь до совершеннолетия, обучались прядению голландских ниток и плетению кружев. Между их учительницами было несколько, выписанных Петром Великим, питомиц из брабантских монастырей.

В эту же обитель недавно перевезена была инокиня Елена, всеми давно позабытая и вдруг как бы воскресшая, вдруг заставившая



говорить о себе. Теперь она была уже не инокиня Елена: ее называли «великая государыня Евдокия Федоровна». Тихо, темным вечером, приехала она из своего заточения: никто и не знал, как это было. Теперь же она перестала скрываться; для нее, по приказу из Петербурга, отделали помещение в одном из монастырских строений, направо от главных ворот. Ей отдавались всевозможные почести.

Московский люд валом валил в Новодевичий, только что раздавался утренний или вечерний колокол; всем хотелось взглянуть на старую царицу, вынесшую столько горя и унижений. Все знали, что она не пропускает церковных служб. Люди, кто повиднее из старожилов московских, ездили к ней на поклон, но редко кого она принимала...

Наступил уже ранний зимний вечер; побледнел розовый свет на западе; мало-помалу зажглись звезды, мерно отбивали часы на колокольне Новодевичьего монастыря. Раздался первый звук колокола. Толпы пешего люда и возки на полозьях со всех сторон спешат по Девичьему полю к обители, так что если бы всех впустить в церковь, то не хватило бы в ней места. Но вот уже несколько дней как почти никого не пускали в монастырские ворота, и пришедшие и приезжие с печальным недоумением возвращались восвояси, не увидав старой царицы.

Должна была уж начаться всенощная: монахини и питомцы становились рядами за высокими четырехугольными колоннами, поддерживавшими своды храма, но священник еще не начинал молитвы: кого-то, очевидно, ждали. Наконец неслышно отворились тяжелые церковные двери, ведущие в крытую галерею, и показалась старческая фигура в монашеской одежде, ведомая двумя почтенными матерями. Это была инокиня Елена. Войдя в церковь, она освободила свою правую руку с висевшими на ней четками и принялась креститься. Глаза ее были опущены, тонкие, несколько впавшие губы, шептали молитву. Медленно прошла она на возвышенное место, всегда занимаемое игуменьей, а теперь предназначенное для новой монастырской жилицы. Монахини, приведшие ее, глубоко ей поклонились и стали поодаль. Началась всенощная. Старушка сейчас же опустилась на колени и принялась горячо молиться, вскидывая большими, еще ясными и живыми глазами на образ Богородицы, вокруг которого теплились бесчисленные лампы. Очевидно, ни на

кого и ни на что не обращала внимания Евдокия Федоровна и горячо молилась; но вот она поднялась с колен, села в кресло, покрытое дорогой парчею, и осталась недвижима. Ее руки опустились на колени, она, не отрываясь, смотрела все на тот же, бывший перед нею, образ, но мысли ее носились далеко. Теперь, в этом тихом пристанище, обретенным ею после долгих, бесконечно долгих лет мучительной жизни, невольно обо многом приходилось подумать царице: позабытые мысли, позабытые чувства приходили ей в голову и стучались в сердце.

Тихая, торжественная обстановка; почти неуловимые звуки церковного хора; теплый, ласкающий свет лампад; лики старинных икон; душистая атмосфера, разливаемая облаками ходящего по церкви ладана; полная и благоговейная тишина — все это еще больше помогало царице уходить в мир прошедшего, вся долгая жизнь вспоминалась ей. Вот она помнит себя молодой девушкой в старом, отцовском, московском доме. Она и не грезит никогда о том, что случится с нею, она не царица и не царица, а просто Лопухина — боярышня. Отец ее старинного рода и старых правил. Выросла Евдокия Федоровна в четырех стенах своего девичьего терема; вынянчили ее нянюшки да мамушки, не приходили к ней учителя заморские, не трудили ей голову разным учением: попросту, по-русски воспиталась она и выросла. Прошло детство, наступили годы девичества. Нянюшки и мамушки стали ее захваливать, не иначе называли ее как золотой красавицей; сулили ей всякого счастья видимо-невидимо: сулили жениха знатного да красивого. И радостно слушала она их льстивый шепот, частенько стала глядеться в зеркальце, сурмила свои брови соболиные, румянила нежные щеки. Коса у нее ниже пояса, пышный стан, полные руки; бела, что первый снег выпавший. И скоро, скоро убедилась Евдокия Федоровна, что нянюшки и мамушки правы, что она точно вышла красавица, стала задумываться и о своем суженом, представляла его себе в девических грезах. «Знатный да красивый», — говорили нянюшки, конечно, должен он быть знатный и красивый, за иного и не выдадут Лопухину боярышню. Но ни льстивые воспитательницы, ни сама боярышня никогда и в помыслах не имели, какой жених ей готовится. А в те поры государыня царица Наталья Кирилловна заметила своим материнским оком Евдокию Федоровну, и замыслила она взять ее в

жены сыну единому, сыну любимому, государю Петру Алексеевичу. Не любила царица Наталья Кирилловна откладывать в долгий ящик задуманного ею дела: сынок на возрасте — пора ему жениться, неладно, что государь ходит холост, — не женат, да и внуков уж хотелось царице. Уговорила она Петра Алексеевича, тот не вышел из родительской воли, и вот боярышня Лопухина объявлена царской невестой. Дым коромыслом стоит в Лопухинском доме, вся Москва на поклон валит, нянюшки и мамушки уж и слов не находят величать свою золотую красавицу; любимые подруги все так почтительно и умильно на нее смотрят: разом полюбили ее во сто раз пуще прежнего. Весело и радостно боярышне. Государь-жених глядит на нее приветливо; хоть и редко они видятся, по старым обычаям. Робость немалая берет невесту от женихова взгляда орлиного; чуден он ей очень, а сердце все же к нему так и рвется — и не потому только, что он государь, что сделает он ее царицей, возведет на верх земных почестей, а и потому, что писанный он красавец: росту высокого, молодец, богатырь: темные волосы кудрями на плечи падают; брови над глазами дугой сводятся, а глаза, — Боже ты мой милостивый, — глаза, что у молодого сокола! Хорош он, чудно хорош, а все же как-то при нем жутко — и опять-таки не потому, что он государь и владыка земли, и не потому даже, что говорят люди, будто он нравом крутенок, горяч больно, а потому, что совсем не похож на других молодцов, каких видала Евдокия Федоровна: и говорит не так, и не о том думает; все учится да учится, себя не жалеючи, работает, как будто и не царь, а простой крестьянин, до всего сам доходить хочет, все своими руками делать пробует; даже и руки у него не царские — большие, мозолистые, грубые рабочие руки.

Быстро идет время — вот и день, назначенный для свадьбы, страшный, торжественный день. Вот и он прошел, и Евдокия Федоровна стала царицей. Чудное было время, светлые дни, да скоро они улетели: государь, сначала добрый и ласковый, нежный, как только мог быть он нежным, видимо нашел, что не век миловаться молодцу с молодой женой, пора опять за дело приниматься, за черную великую работу. И ушел он в свою работу, и по целым дням без него оставалась молодая царица. Скучно ей стало, начала она жаловаться Наталье Кирилловне, а та ласково смеется. «Постой, погоди, — говорит, — скоро скучать перестанешь, будет другая у тебя забота!» И явилась эта

забота, стала матерью Евдокия Федоровна, родился у нее сынок, царевич Алексей Петрович. Молодой государь был радостен: приходил и заглядывал в колыбельку новорожденного, и склонялся над этой колыбелькой, и улыбался маленькому мальчику, щекотал его своим грубым пальцем. «Ишь крохотный, вырастай поскорей, будь работником — мне помощником!» — шептали его губы.

Конечно, ребенок брал много времени у царицы, развлекал ее, занимал и заботил, но все же оставалась она недовольною долгими да частыми отлучками государя Петра Алексеевича и не раз встречала его жалобами на свое одиночество, слезами да робкими попреками. И сдвигались от слов этих и слез густые царские брови, молчал он и выходил от жены хмурый и недовольный.

Усталый, запыленный, с новыми мозолями на рабочих руках возвращался он домой отдохнуть немного; хорошо бы встретить жену веселой, хорошо было бы поведать ей все, что сделано; подумать при ней о том, что нужно сделать; рассказать об успехе какого-нибудь дела и увидеть сочувствие и радость при вести о таком успехе — и ничего этого не встречал у себя дома Петр Алексеевич. Молодая жена выходила к нему навстречу невеселою, безучастно слушала его рассказы и часто даже не понимала, зачем он так о том-то да и о том-то заботится, к чему это нужно.

— Эх, все эти новые заморские хитрости, — говорила она, — ничего того допреж у нас на Руси не было, а жилось всем изрядно. К чему ж новшества, жил бы по-старому, как искони живали цари великие, не трудил бы своих царских ручек, свою голову не ломал бы над пустыми заморскими науками, да почаще бы с женою был, посердечнее ласкал бы ее, а то что это такое — иной раз уйдешь не простившись. Золотой мой, обо мне подумай! Скучно мне без тебя, да и по закону неладно оно выходит. Где это видано, чтобы муж с женой, почитай, что совсем и не жили! Уйдешь ты — все слезы я без тебя выплачу, денечек мне кажется за годочек...

И начинала плакать царица, и с каждым днем все сумрачнее и сумрачнее становился Петр Алексеевич, все нетерпеливее ее слушал. Иной раз не выдержит он — хлопнет по столу рукой.

— Эх, Авдотья, надоели мне твои вечные слезы, для тебя только и свету, что в этом окошке, ну а мне это окошко тьмою кромешною кажется. Душно мне в четырех стенах сидеть, с тобой немного высижу.

Работать надо, Авдотья, а, кажись, не токмо что одной жизни человеческой, а и сотни жизней не хватит на такую работу, какая передо мною!

— Много уж ты очень работы себе выдумываешь, золотой мой, где это видано, чтоб государь так работал. Что это за государь, сам он и плотник, и мастеровой!..

— Эх, то-то, то-то! — мрачно замечал Петр Алексеевич: много, больно, смыслишь ты в моей работе...

И уйдет он прочь, хмурый и неласковый, а вслед ему слышатся докучные женины слезы.

— Что, никак опять с Авдотьюшкой повздорил? — говорит Петру Алексеевичу царица Наталья Кирилловна.

— Никогда я с ней не вздорю, матушка, а жить она мне не дает своими слезами; ну, а сама, чай, знаешь ты, что с детства не люблю я слез этих, да и кто их любит! Жить хочу я, а с нею это сон какой-то, души замирание. Эх, рано ты меня женила, матушка!

Качает головою и задумывается Наталья Кирилловна: «Видно, и впрямь рано женила, а то, может, и невесту плохо выбрала!.. Да где было сыскать ему подходящую невесту? Он что огонь, за ним никто не поспеет».

Идет старая старуха и утешается на внука, и всячески успокаивает невестку: советует ей не плакать перед государем, а быть веселой. «Ничего не возмешь слезами, только хуже сделаешь, оттолкнешь от себя мужа». Но не слушается мудрых материнских советов Евдокия Федоровна — не такой у нее характер, стоит она на своей правде. В этой правде воспитала ее родная матушка, нянюшки и мамушки в боярском Лопухинском тереме.

А время идет: жалоб и слез все больше и больше, все дальше и дальше разрастается пропасть между мужем и женой. Совсем теперь не понять им друг друга, только и спокоен молодой царь вдали от жены, выносить не может ее причитаний. Противны становятся ему ее слезы, иной раз боится он, что не совладает с собою да поучит ее хорошенько, по-старинному. Недобрые мысли приходят иной раз в голову Петру Алексеевичу, и сидят они в ней все упорнее — не уходят; а уйдут, так сейчас же и опять возвращаются. «Что это за жена, — думается ему, — только жизнь мне отравляет; никакой мне радости — одна тоска да досада! Молод и неразумен был я, когда меня на ней

женили, да ведь и женили, а не сам я женился, неужто ж так и мне пропадать из-за матушкиной ошибки? Потерплю еще годик, а если будет все то же, так не взыщи, Авдотья Федоровна — не умеешь быть царицей, так, авось, сумеешь быть монахиней, мои да свои грехи замаливать».

Эх, пора была, пора взяться за разум Евдокие Федоровне, хорошенько мужа-государя понять, что ни ей с ним бороться, не ей изменять его характер, его крепкую волю, а царица и не думает об этом, все та же, да еще и того хуже. Нашлись услужливые приятельницы, шепнули ей новость: «Ты что, мол, царица, думаешь, так, мол, по-твоему, небось, государь и не глядит без тебя ни на одну красавицу, а он и красавицу себе нашел, и с ней ему не скучно!»

Свету не взвидела Евдокия Федоровна, закипела в ее сердце лютая ревность. Накинулась она на мужа с новыми упреками, с новыми слезами. Ну, и не вынес Петр Алексеевич — и царица Евдокия Федоровна стала инокиней Еленой. И никто за нее не заступился, не нашлось ни одного друга, все отшатнулись от покинутой жены, от бывшей своей царицы.

Тяжкое пришло время: оторвали ее от всего ей близкого и дорогого, оторвали и от сына, прахом разлетелось недавнее величие... Четыре стены мрачной кельи, один день, как другой, в тишине несносной, та же молитва с утра до ночи, то же церковное пение, те же лампы перед иконами, тот же ладан!.. Рвалась и металась в первое время царица, даже руки на себя наложить хотела, да не решилась: греха побоялась. Потом пробовала молиться, стояла на коленях, но и молитва не действовала. Бушевало в ней сердце, поднялась в ней злоба и ненависть: то, что еще недавно любо было, то опостылело. И глубоко затаила в душе своей эту ненависть инокиня Елена и конца не было этой ненависти — только ею одной и жила она, только ею и питалась.

В долгие бессонные ночи много разных чудовищных и невозможных планов строила она, мести жаждало ее сердце. Но чем было отмстить ей? Там сила, там воля — а у нее руки связаны; раздавлена она, как червь, и бессильна. А время шло в тоске и отчаянии, в муках ненависти; годы проходили, и ушла быстро и невозвратно молодость. Не лета состарили, а состарили часы лютые, поблекли румяные щеки, вылезла коса русая, появились седые волосы, морщинки. Что за жизнь была — да и разве можно назвать жизнью это

несносное, вечное заключение! Редко кто навещал бывшую царицу, редко кого она видала.

Но все же нашелся и у нее друг. Этот друг был майор Степан Глебов. Полная ненависти и жажды мести, привязалась к нему и полюбила его Евдокия Федоровна, и долго длилась любовь эта. А тут вырос и царевич — не забыл матери, время от времени виделся с нею. Перед сыном инокиня Елена выливала всю свою душу; ему жаловалась она на свои лютые мучения и на своих гонителей, его вооружала она против отца, подготавливая себе в нем верное и страшное орудие своей мести. Но она не ограничилась этим, она сумела, наконец, набрать себе приверженцев и осторожно и медленно готовила свои ковы. Только не дала ей судьба достигнуть цели: изобличены были вскоре враги Петровы, началось длинное тяжелое дело царевича Алексея...

И вот Елена опять одна — сын погиб, погиб и Глебов, и погиб страшной, мучительной смертью, посаженный на кол; а сама бывшая царица, в сопровождении карлицы, повара и двенадцати солдат отправлена в Ладогу, в Успенский монастырь, где ее стали содержать под самым строгим присмотром, в нужде, тесноте и всевозможных обидах. О, тут была совсем не жизнь, а каторга. И длилась эта каторга до самого воцарения Екатерины, при которой уже одряхлевшую Елену переместили в Шлиссельбург и доставили ей некоторые удобства. Страшно подумать, чего натерпелась Евдокия Федоровна. Всем ее обижать было вольно, все издевались над нею, унижали всячески, лишали необходимого. Бывали дни, недели и месяцы, что каялась она перед Богом в грехах своих и искренно признавала себя виновной; но все же в конце просыпалась прежняя гордость, прежний дух строптивости и упрямства, и смотрела инокиня Елена на себя не иначе, как на мученицу безвинную...

Все это припоминалось теперь старушке, и даже пот холодный выступал на морщинистом лбу ее; от иных воспоминаний дрожь пробегала по дряхлым ее членам.

Вот она снова упала на колени и снова жарко молится перед иконой Богоматери, ищет спастись в этой молитве от страшных призраков и невыносимых воспоминаний. Снова кипит и горит в ней сердце, снова лютые муки, снова ненависть к покойному...

«Прости его, Боже, упокой и помилуй», — шепчут ее губы, но сердце не вторит этой молитве. «И как только не умерла я до сих пор, как еще живу на свете, — невольно думает Евдокия Федоровна, — столько вынести... Боже мой, Боже! Ведь места живого в душе нету, да и тело все разбито, вот уж ноги не слушаются, а все живу... Видно, так нужно, видно, смиловался Бог и готовит, хоть на конец дней, светлую долю!..»

«Да зачем она мне теперь?.. — с отчаянием, едва не громко вскрикнула царица. — Что теперь я поделаю, если б даже власть пришла в мои руки, на что я похожа и что мне теперь нужно? Постель бы только мягкая, да кусок хлеба... А! Слишком поздно... не милость тут Божья, а новая кара. Но нет, нет, еще есть зачем жить, ведь они живы... Один умер, другой остался, живы враги мои лютые; все те, кто позабыл меня, все те, кто оскорблял меня, кто меня мучил. Вот зачем надо жить, вот зачем нужна власть: их покарать, их казнить, над ними теперь посмеяться!»

Горят глаза царицы, злая усмешка кривит ее бледные губы, и вдруг она повергается опять ниц перед иконой и опять начинает молиться, стараясь отогнать от себя беса-искусителя — но отогнать его не может. Он явился, он завладел теперь ею, ей не избавиться от него, и он шепчет ей соблазнительные речи и снова рисует ей картины мщения. Наболевшая душа ее разгорается снова, снова раскрываются старые раны... Да, она должна отомстить — не умрет пока не насмеется над ними... и опять она шепчет: «Да зачем же?! Поздно — мне ничего не надо!..» Он близко теперь, близко этот юный внук, сын Алексея, с сестрою, с маленькой Наташей. Она их никогда не видала, не знала... Вот для чего еще можно было бы жить, вот единственная остающаяся ей отрада — любить их, милых внучат. Родные явились... никогда родных не было — все оставили, а теперь родные, близкие, кровные дети единственного сына, несчастного погибшего Алексея — вот зачем жить! Но ведь отвыкло от любви ее сердце — найдется ли в нем снова прежняя сила, да и как знать, быть может, и любить-то придется безнадежно — разве они ее полюбят, эти внучата? Какая такая бабушка, откуда взялась? У них была другая бабушка — императрица, а это что такое?.. Жалкая, дряхлая старуха, измученная, долгие годы голодавшая, заброшенная, забытая, несчастная монахиня — разве они ее полюбят такую?! Она и от людей-то отвыкла, чай, по-



ихнему и слова сказать не умеет так; новые совсем люди, новые нравы, Бог знает как и говорят-то они! И разве когда-нибудь хоть один человек сказал этим внучатам про бабушку — а если и сказал кто, так с бранью, с презрением, с ненавистью. | И вот теперь, с воцарением внука, хоть и возвращена ей свобода, а ведь если б точно хотели видеть, так давно бы уж к себе в Петербург выписали.«Может, приедут да и отвернутся от меня, и ждать мне новых обид и оскорблений. Вот этот немец, барон Андрей Иванович, пишет такие ласковые письма, уверяет, что Петруша думает обо мне, заботится и меня любит — да как мне верить немцу, изверилась я, ни от кого не жду правды. А хотелось бы полюбить их, этих деточек–сироток, ох! Давно никого не любила!..»

Ниже и ниже опускается голова старой царицы, тихие слезы струятся по морщинистым щекам ее, и она рада этим слезам... многие годы уж не приходили слезы.«Боже, благодарю Тебя, — шепчет она. — Мати Пресвятая Богородица, милостивая заступница!» — И опять среди горячей молитвы являются страшные призраки, и опять образы мертвых и живых людей проходят перед глазами. И мертвым нет прощения в сердце царицы, а на живых кличет она гнев Божий, и велика ее вражда к ним. И клянется она не оставить их в покое, и не может уж взглянуть на лик Богоматери, не слышит стройного клирного пения, не слышит успокаивающих болящую душу слов святой молитвы... А кругом, из темноты, сгущающейся между колоннами, со всех сторон обращены на нее любопытные взоры, сотни глаз следят за малейшим ее движением. Быть может, многие понимают ее волнение, ее слезы, но никто не в силах понять всю бесконечность ее злобы и ее мучений...

## II

Всенощная кончилась, и так же тихо, так же опустив глаза и шепча молитву, прошла Евдокия Федоровна мимо народа. Монахини осторожно свели ее со ступеней паперти, накинули богатую шубу на ее плечи; от церкви до крыльца ее был разостлан ковер. При входе в ее помещение ее встретили другие монахини и суетились вокруг нее:

снимали с нее шубу, спрашивали, чего она прикажет. Она слабо махнула рукой и прошла в тихую комнатку, которую выбрала для спальни. Там в углу стоял огромный киот, наполненный образами в дорогих ризах; три лампадки теплились перед киотом. В другом углу была ее постель, пышно взбитая, покрытая стеганым атласным одеялом с вышитыми на нем причудливыми узорами. Расписанная изразцовая лежанка далеко от себя распространяла теплоту; в комнатке уж поселился тот особенный запах, какой бывает в кельях набожных старушек: пахло ладаном, лампадным маслом. За старой царицей пробралась только одна женщина, ее прежняя прислужница.

— Ну что ж, ну что ж, — обратилась к ней Евдокия Федоровна, — нет вестей от государя?

— Как же, матушка-государыня, сейчас гонец был — сказывает, все еще стоят на месте. Дня через три, не то четыре, говорит, придут.

Евдокия Федоровна покачала головою.

— Ну, а что я в Оружейную палату послать наказывала за рукомоем, послали?

— Здесь рукомой, государыня, судья тотчас же выдал!

— Где он, где? — оживилась старушка. — Принеси его, Настя.

Прислужница вышла в соседнюю комнату и вынесла оттуда какую-то вещь, завернутую в шелковом платке и обвязанную шнурками.

— Поставь здесь, вот тут на столик, и уйди... мне ничего не нужно, — шепнула царица, — да дверь за собою запри, и никого не пускать ко мне. Ничего не нужно, ничего...

Оставшись одна, Евдокия Федоровна подошла к столу и дрожащими старческими руками стала развязывать принесенную вещь. Долго шнурки не поддавались, но вот наконец они распутаны. В платке был завязан золотой рукомойник с такой же лоханью. Царица села перед столом и стала рассматривать рукомойник. Вот изменяется все лицо ее, вот на глазах ее дрожат слезы, — что ж это значит? Что особенного в этом рукомойнике? Отчего она так жадно его рассматривает, поворачивает во все стороны, и дрожат при этом ее руки? Рукомойник, действительно, прекрасной художественной работы, вещь редкая и богатая, хитрым узором весь он выведен, золотой, с финифтью и усыпан драгоценными камнями: алмазы, яхонты, изумруды — и счесть их невозможно, всех около тысячи; а

кругом надпись. Царица жадно принялась разбирать ее: «Лета 7200, — медленно, букву за буквой, читала она. — Генваря въ первый день симъ стоянемъ и рукомоемъ пожаловала великая государыня, благоверная царица и великая княгиня Наталья Кирилловна внука своего благовернаго государя царевича и великого князя Алексея Петровича всея великия и малыя и белыя Россіи». Сильно задрожали руки Евдокии Федоровны, чуть не уронила она рукомойник; слезы полились из глаз ее.

«Цел он, цел, ничего не испортился, все камешки целы, вот и змеиная головка, из которой вода малыми струйками сочится! «Долгие, долгие годы прошли с тех пор, как увидела Евдокия Федоровна в первый раз этот рукомойник, но будто сейчас это было. На другое утро после свадьбы своей умывалась она из него. Эта вещь была самую любимую вещью Натальи Кирилловны, и она в виде особой ласки поставила ее новобрачной, но все же не подарила и потом взяла себе обратно. Каждая минутка, каждое слово того страшно далекого дня вспоминались теперь старой царице. Помнила она, как муж молодой, еще вчера бывший таким далеким, таким странным, а теперь ставший таким близким, подавал ей этот рукомойник. Помнила она, как смеялись тогда, что такой маленькой и хрупкой казалась эта роскошная вещица в большой руке государя. Помнила она, что и он смеялся, помнила, как лилась маленькими струйками вода на ее белые, нежные руки и сбегала с тонких пальцев, и как государь, склонившись над нею, касаясь своими темными кудрями щеки ее, любовно целовал ее еще не вытертые полотенцем мокрые руки, и как она брызгала в лицо его оставшимися каплями воды, и как он жмурился, и как она его любила. И вот смотрит теперь невольно Евдокия Федоровна на свои морщинистые старые руки — и странно ей, что столько времени прошло с тех пор, да и какого времени? Ничего, как есть ничего не осталось от того, что тогда было, как будто его и совсем не было, как будто оно все пригрезилось только в какую-нибудь душистую майскую ночку. Не она, не она была та резвая молодая красавица, не может человек так изменяться, да и он, разве он то был, тот ласковый, смеющийся, жмурающийся от брызг, попадавших в глаза, взмахивающий густыми кудрями красавец, разве он то был, ее враг лютой, ее мучитель?!

Она теперь хотела его представить себе таким, каким видела в последний раз, видела с ядом и ненавистью в сердце, и никак не могла: все вспоминался он ей молодым, ласковым и любимым. И вот совсем наклонилась над рукомойником старушка, и все плакала, и не замечала, как ее слезы сбегают каплями и падают в узкое горлышко рукомойника как в урну.

Потом стало вспоминаться ей уж другое время, вспоминался ей сын, которому бабушка подарила свой любимый рукомойник.

Снова вспыхнули давно позабытые материнские чувства к несчастному царевичу, безвременно и страшно погибшему. Вся вздрогнула Евдокия Федоровна, представила она себе Алексея крошечным мальчиком у груди своей, потом вспомнила его бледным юношей, заглядывавшим в тишину ее заточения; вспомнила она тихие часы с ним — те беседы, когда вся душа ее кипела от лютой злобы и жажды мести, когда с уст ее срывались ядовитые речи. Вспомнила она, как растревляла и раздражала, и возмущала слабый дух юноши, как вооружала она его против отца и против всех дел отцовских, как зывала она к его сердцу, молила о мести, о заступничестве за мать родную. О, он долго колебался, но она знала, как вести дело, она сумела, наконец, совсем преобразить его, и вышел он из ее рук ненавистником отца, ненавистником его планов, ненавистником новой России. И он погиб за эту ненависть — и кто же был виною его гибели? Все он же, он, этот зверь лютой, этот отец без сердца...

И вдруг всеми членами задрожала старая царица, вдруг, может быть, в первый раз в жизни что-то прояснилось в ее мысли, и поняла она, что причиною гибели ее детища был не отец, а только одна она: она приготовила ему эту гибель. Страшно и душно стало Евдокии Федоровне и казалось ей, что она видит в полумраке этой теплой келейки бледный, измученный сыновний образ. Вот он простирает перед нею свои тонкие, худые руки — на них кажутся следы пытки, его бледные, запекшиеся губы, искривленные страданьем, шепчут ей: «Матушка, матушка, ты меня погубила!» Обессиленная, падает на стол головою Евдокия Федоровна и уже не может она плакать. Ей страшно, ее седые волосы поднимаются дыбом. Вот она вскакивает и мечется по комнате. За ней следом бегут и настигают ее призраки, они грозят ей: «Ты, ты погубила нас, ты за нас ответишь перед Богом!» Сын сзывает к себе целое полчище, и растут эти призраки, и страшнее всех

и ужаснее призрак Глебова: она ясно видит с невыразимым ужасом в сердце когда-то любимого человека посаженным на кол, в глазах ее вот он извивается, извивается и скрежещет зубами, и стонет, и грозит ей: «Ты, ты, виною моих мучений!» Не знает, куда деваться бедная старуха от этих гостей непрошенных, где ей теперь скрыться... Падает она на пол перед киотом и начинает молиться, жарко молится, опять плачет и бьет себя в свою иссохшую грудь, и долго не может успокоиться. Нет, только одно осталось на свете — внучата! В них все спасенье. Любить их, стараться отстранить от них все дурное — вот к чему нужно стремиться, вот чего добиваться. Ведь как бы то ни было, страшно, страшно их положение: ни души родной, кругом все чужие люди, каждый-то старается забрать их в руки ради своих корыстных целей, а об их благе никто и не подумает!

И вот начинает чувствовать старая царица в своем сердце прилив давно позабытой нежности. Да, она любит, горячо любит этого маленького внука, императора, и сестру его. И внучата должны непременно полюбить ее — ведь она своя, родная бабушка. Пусть вооружали их против нее, пусть говорили им о ней только одно дурное, но все же она ведь еще жива, их скоро увидит, и не совсем же выжила она из ума, сумеет, должна суметь повернуть все в свою пользу, должна суметь внушить им к себе доверие, почтение и любовь. Да где ж они, что ж они не едут, что ж томят так долго?! Ведь близко, в нескольких верстах отсюда — и все-таки тянется эта разлука. Хоть бы самой к ним поехать, да нет, не желают, нет, нужно ждать их здесь, а ждать теперь старой царице с каждой минутой становится не по силам, и вот Евдокия Федоровна велит зажечь в своей келейке восковые свечи, велит подать себе бумаги и начинает выводить старческим дрожащим почерком. Она пишет великой княжне Наталье: «Пожалуй, свет мой, проси у братца своего, чтобы мне вас видеть и порадоваться вами: как вы и родились — не дали мне про вас слышать, не токмо что видеть».

«Пусть сестра поговорит ему, убедит его, — думает царица, — да напишу и немцу, говорят, он его слушается».

«За верную вашу службу ко внуку моему, — пишет она Остерману, — и к нам, я по премногу благодарствую, а у меня истинно на вас надеяние крепкое, только о том вас прошу, чтобы мне внучат своих видеть и вместе с ними быть; а я истинно с печали чуть жива,

что их не вижу. А я истинно надеюсь, что уже печали наскучили, и признаваю, что мне в таких несносных печалях не умереть; и ежели бы я с ними вместе была и я бы такие свои несносные печали все позабыла и так меня светлейший князь 30 лет крушил, а ныне опять сокрушают, а я не знаю, сие чинится от кого».

— Скорей, скорей! — кличет она свою старую прислужницу. — Скорей вели послать гонца с этими письмами... Да нет, погоди, постой, дай мне еще бумаги!

Царица опять садится и пишет уже самому внуку: «Долго ли, мой батюшка, мне вас не видеть? Или вас и вовсе мне не видеть, а я с печали истинно умираю, что вас не вижу, дайте, мой батюшка, мне вас видеть, хотя бы я к вам приехала».

С этими письмами скачет гонец в царскую стоянку, а царица всю ночь не спит в своей роскошной келье; с боку на бок поворачивается она на мягкой Перине; ее бросает то в жар, то в холод. Закутывается она в дорогое, хитро вышитое шелками и золотыми нитками одеяло и все ей что-то неловко, все ей тревожно. Бывают минуты, что кажется ей, будто никакой нет перемены к лучшему в ее положении. Так невыносимо ей это ожидание. Там, в тяжелом заточении, было спокойнее. Под конец уже сжилась со своим горем, со своей лютой жизнью старушка. Ничего уже не хотела, ничего не ждала и ни на что не надеялась... Наконец забывается она сном, но сон длится недолго. Вот она опять проснулась. С изумлением глядит кругом себя: где она, что с нею? Откуда взялась вместо сырой, душной кельи эта теплая, спокойная комната? Откуда эта мягкая перина, это роскошное одеяло? Куда исчезла старая скрипящая кровать с грубой простынею, с изношенным одеялом, которым она прикрывала свое коченевшее тело? И долго ничего не может понять царица, наконец, вспоминает и все глядит кругом себя — и не может глаз отвести от драгоценного рукомошника, на котором самоцветные каменья блестят и переливаются от тихого лампадного света.

Наконец, в феврале был торжественный въезд императора в Москву. Петр окончательно оправился от своей простуды. День был чудесный, солнечный, с небольшим морозцем. Москва производила на юного императора волшебное впечатление. Здесь ему все нравилось, но больше всего понравилась встреча, приготовленная ему жителями. Весь город высыпал на Тверскую улицу, все колокола московские несмолкаемо гудели радостным звоном. Торжественный царский поезд медленно подвигался, и государь добродушно раскланивался на обе стороны. Путь был далекий, почти через всю Москву, но до самой немецкой слободы не редели толпы народа, до самого дворца не смолкали восторженные крики и гул колокольный. Духовенство в богатом облачении выходило навстречу императору. Все это, вместе с ясным и солнечным днем, под конец совсем растрогало Петра и он несколько раз должен был утирать слезы.

А бабушка все сидела в своем монастыре и дожидалась, когда о ней вспомнит внучек. Внучек вспомнил в тот же день и собрался навестить ее вместе с сестрою. Он попросил также ехать вместе с ними и цесаревну Елизавету.

— Мне-то зачем? — изумленно сказала она, — ведь я ей не родная. Ей будет только досадно, она не может любить меня и, конечно, никогда не полюбит. Я только испорчу ей встречу с вами; разумеется, я могу и должна к ней съездить, но потом, одна.

— Нет, Лиза, пожалуйста, поезжай с нами, я знаю, что делаю, — сказал Петр.

К его просьбе присоединилась и великая княжна Наталья.

— Да зачем же, зачем? — повторяла Елизавета.

— А затем, — ответил император, — что я боюсь, да и Наташа тоже, этого свиданья с бабушкой. Ведь мы ее не знаем, какая она. Вот нам так хорошо сегодня, так на душе радостно, а бабушка, наверное, станет плакать, жаловаться. Вот говорят, что она сердится, отчего до сих пор не видались, зачем в Петербург ее не выписали. Ну, а при тебе, Лиза, она остережется и все сойдет как следует.

На это объяснение цесаревна Елизавета не нашлась что возразить, и они отправились все вместе.

Подъезжая к Девичьему монастырю, Петр нахмурился больше и больше, ему становилось неловко. Еще сейчас все было так хорошо, так весело и радостно, еще сейчас он чувствовал себя свободным, а тут

снова какое-то стеснение, точь-в-точь как в тот день, когда он ехал в Ранбов навещать Меншикова. Скудная обязанность — необходимость приневолить себя, притворяться обрадованным свиданием с бабушкой, тогда как в действительности ничего, кроме тоски и скуки, не сулит это свидание: никакое чувство не связывает внука с бабушкой. То же самое думала и испытывала царица Наталья; но она обдумывала не только предстоявшую минуту первой встречи, а и последующие отношения, которые должны возникнуть между ними и старой царицей. Она больше брата знала о прошлом бабушки, она подробно расспросил обо всем, и ей все рассказали. Она помнила деда и любила его, отца не помнила и не любила, а тут ей еще известным стало, что не будь бабушки, не было бы и гнева Петра Великого на сына, не восстал бы на родителя Алексей Петрович. Одна царица Елизавета не чувствовала смущения. Ничего общего не могло быть у ней с Евдокией Федоровной, она сторона, а если та и будет косо глядеть на нее и возненавидит даже, так что же ей, какое дело?! Государь просит ее присутствовать при их свидании, она исполняет эту просьбу и ни к чему себя не обязывает.

Огромная царская карета остановилась у ворот монастырских. Целый сонм монахинь вышел встречать императора.

— Где же бабушка? Ведите меня к ней! — громко сказал он.

Их повели. Они вошли в маленькие сени. Императору стало еще неловче.

Царицы Наталья и Елизавета молча за ним следуют. Вот перед ними сухая старушка в монашеской одежде, вот она вскрикнула и обвила дрожащими руками шею императора.

— Бабушка, — говорит он, — как я рад вас видеть...

— Золотой мой, государь-батюшка, Петруша, ненаглядный! — рыдает над ним старушка. — Голубчик, дай взглянуть на тебя, дай насмотреться...

Она поднимает к себе его лицо, вглядывается в него, но слезы застилают ей глаза, она почти его не видит. Она крестит его, шепчет молитву над ним и опять рыдает, и опять прижимает его к своему сердцу, и опять целует. С каждой минутой ему все больше и больше становится неприятнее и тяжелее. Он не может с удовольствием отвечать на ее ласки такими же ласками и поцелуями. Ему неприятно, что эта совсем чужая, как ему кажется, старушка так обнимает его, ему



неприятно чувствовать на своих щеках ее слезы; но делать нечего, нужно притворяться — кругом видят — и он притворяется.

— Батюшка, золотой мой, думала, что умру, не дождусь тебя, но, славу Богу, дожила до такой радости... Голубчик мой, большой какой, какой красавец! Только говорили мне, ты болен был, не бережешься. Ох, боюсь я за тебя, молод!

И вдруг она вспоминает, что тут не один он, что рядом с ним должна быть внучка, Наташа. Она отрывается от него и спешит к ней, к этой внучке. И опять плачет, обнимая царевну.

— Наташенька, ангел мой, что же ты это такая бледненькая да худенькая, посмотри на меня, улыбнись старухе. Всякую ночь себе во сне представляла, только о вас и думала, деточки вы мои ненаглядные... А это кто же с вами?

— Цесаревна Елизавета, — ответил император.

Евдокия Федоровна пристально, проницательным взглядом окинула Елизавету. Та почтительно поклонилась ей и улыбнулась своей прелестной улыбкой.

— Красавица, — прошептала старушка. — Красавица! Рада видеть тебя, матушка, много слыхала о тебе, ну и не солгали люди, точно, красавица!.. — Старушка осматривала принцессу, оглядывала ее всю, начиная с прически и кончая мельчайшими подробностями туалета. Этот пристальный осмотр даже несколько смутил Елизавету. Она сразу почувствовала что-то злое и враждебное во взгляде старой царицы, даже слово «красавица» та произнесла неприятным, насмешливым тоном.

Наконец Евдокия Федоровна окончательно пришла в себя и приказала всем выйти, оставить ее одну с внучатами. Елизавета Петровна подвинулась было тоже к дверям, но Петр остановил ее.

— Лиза, останься с нами, — громко сказал он. — Ведь она не может нам помешать? — обратился он к бабушке. — Она своя, родная, и друг наш...

Евдокия Федоровна невольно поморщилась и не нашла что ответить. Она уже ненавидела эту красавицу Елизавету, ненавидела и за то, что она дочь Петра и Екатерины, и за то, что ее привезли теперь с собою, очевидно, для того, чтоб помешать откровенным излияниям. Заныло вдруг сердце старушки, она почувствовала слабость и едва дошла до кресла.

— Эх, стара я стала, деточки: ноги подкашиваются голова кружится, а от радости и еще того пуще! — прошептала она, простирая руки к Петру и Наталье.

Они подошли к ней.

«Ну что ж, ну что ж, — думала про себя старушка. — Ну что ж, ну идите ко мне ближе, опуститесь тут, по обеим сторонам, на колени, дайте я обниму вас обоих крепко, прижму к себе, дайте разгляжу вас, поговорим же по душе». Но она только об этом думала, она только ждала этого и боялась, что не дождется, и точно: невольного, душевного порыва не было во внучатах. Они подошли к ней, но не опустили перед ней на колени, не прижались к ней. Вот Петр пододвинул стул сестре, потом себе, и чинно уселись они по обеим сторонам бабушки, да так, что она даже не могла достать их руками. То смущение, которое чувствовал юный император с сестрою, теперь передалось и Евдокии Федоровне. В первую минуту встречи она была так обрадована, она ничего не видела, не замечала, она только чувствовала возле себя родных, близких, милых детей, но теперь ей ясно стало, что эти дети хоть родные, но не близкие: принцесса Елизавета стояла между ними и невыносимо было ее присутствие старой царице. Так много хотелось сказать, а вот язык не повертывается. Разве можно так говорить, нужно было говорить по душе наедине со своими кровными, а тут эта чужая, ненавистная красавица. «Ну, да чего же еще отчаиваться, — ободрила себя царица, — знамо дело сразу трудно, чтобы все устроилось. Ведь и то правда, откуда им было полюбить меня, пусть поосмотрятся и увидят, что бабушка точно любит и добра желает, ну и сами, авось, Бог даст, полюбят, ведь молоды оба, дети, самым неловко, понятное дело... И чего мне, в самом деле, смотреть на эту писаную красавицу и ее смущаться, если сидит здесь, и пусть сидит, а я о ней забуду и думать». Царица поспешно отерла слезы, глаза ее снова блеснули и она ласково переводила их от Петра к Наталье.

— Деточки мои, что же вы меня как будто| дичитесь, — тихо, вкрадчивым голосом, заговорила она. — Подвиньтесь ко мне поближе, чтобы я могла хорошенько разглядеть вас, ведь вот глаза стары, почти ничего не вижу.

Император и Наташа подвинулись, а бабушка взяла их руки и крепко держала.

— Ах, Петинька, — говорила она. — Не сумею я и отблагодарить Господа Бога за ту радость, которую он послал мне, что вас я, наконец, вижу. И никогда, кажется, такого светлого дня не было в моей жизни, Ну, да не стану и говорить о моей жизни, будет еще время, успеем. Теперь все, все дурное и темное позабыла, одну радость чувствую. Вот, Петруша, государь мой, об одном тебе теперь моя дума. Молод ты, всего тебе 12 годочков, а уж Господь тебя государем над землей русской поставил, так непрестанно ты должен помышлять об этом; чай, знаешь, ведь многому учили, чай, знаешь: «кому много дано, с того и много спросится». Береги себя, Петруша, да и ты, моя золотая Наташенька, береги его, ты старше, ты должна быть благоразумнее...

И маленький император и царица упорно молчали.

«Так я и знал, что начнутся эти разговоры, вот и весь день испорчен! Что же она думает, что там не наслушался всего этого? До тошноты наслушался: все мал да мал, когда я, наконец, избавлюсь от нянюшек!.. «Он хмурил свои густые брови и не глядел на бабушку. Великая княжна Наталья была тоже недовольна. «Все это правда, что говорит бабушка, все это истинно, только зачем она сразу стала говорить это? Видно, из ума старушка выжила. Потерпела бы, может быть, Петруша и полюбил бы ее, если б иначе говорила, ну, а потом и советовать, и учить добру успела бы. А теперь только испортила себе; так я и знала, что это будет!»

Между тем Евдокия Федоровна начала говорить — ей так хотелось все высказать и, сжимая им руки и нежно глядя на них, она продолжала:

— Так-то, Петрушенька, так-то, золотой мой, не сердись ты на старую бабу, добра она тебе хочет, и о том подумай опять, что одна я у вас, одна на всем свете: кто о вас, кроме меня, подумает?! Долго жила я, всего навидалась, людей понимаю, оттого и говорю, что одни вы на всем свете, мои бедные сиротки. Вот узнала я, что совсем не бережешь себя, все на охотах, да на забавах разных, нехорошо это, мой голубчик. И здоровье свое испортишь, да и от дела отучишься.

«Эх, совсем все испортила бабушка!» — досадливо подумала царица Наталья. Принцесса Елизавета делала вид, будто ничего не слышит, а может, и действительно не слышала. Ей просто было скучно, и она разглядывала все, что было вокруг нее в комнате. Но

император слушал очень внимательно. Он уже раздражился, покраснел, губы его нервно дрогнули.

— Давно я это слышу, бабушка, — вдруг сказал он, — давно слышу, что и дурной я, и ленивый, и только о забавах думаю. Вон, князь Меншиков то и дело повторял мне это!

Старушка поняла, что зашла слишком далеко.

— Ах, мой золотой, не говори ты мне о Меншикове, — встрепенулась она, — и как тебе не грех приравнять меня к нему!.. — И чтобы поправить дело, она уж не знала, что и сказать внуку. — Хоть бы ты женился, Петруша, все бы оно лучше было...

— Ну вот, а сестра и тетушка Лиза говорят, что мне не след и думать о женитьбе, — отозвался император. — Вот видите, — обратился он к царевнам, — вот и бабушка говорит, что лучше мне жениться!

— Да что ж, уж конечно, — шептала Евдокия Федоровна, — конечно, лучше по закону, да и жена, может, попадетя путная, так от всего дурного отучит. Ну, здесь нет невест подходящих, так в чужих странах какая-нибудь принцесса подойдет; только не выбирай красавицу писаную, будет она думать о красоте своей да о нарядах.

Царица бросила невольный и злобный взгляд на Елизавету. Та просто и откровенно улыбнулась ей. Однако пора было окончить это свидание. Петр заторопился. Бабушка произвела на него, как он и ожидал, дурное впечатление. Царевны тоже не были ею особенно довольны. Она еще стала удерживать внучат, говорила, что еще не успела на них наглядеться, упрашивала их почаще видиться с нею. Сказала, что, несмотря на старые свои годы и немощь, сама будет к ним ездить.

— Нет, бабушка, вы уж не беспокойтесь, мы вас будем навещать, а вы не ездите, не тревожьте себя! — сказал Петр на прощанье. — А я, бабушка, завтра же распорядюсь, чтобы было у вас всякое довольство.

И юный император уехал.

Старушка осталась снова одна и весь вечер грустно вздыхала, а ночью опять ей грезились страшные призраки.

Император поспешил исполнить свое обещание. 9 февраля он явился в Верховный Совет и прямо, даже не садясь на свое место, объявил, что из почтения и любви к государыне, бабушке своей, желает, чтобы ее величество по своему высокому достоинству, были

содержаны во всяком довольстве, и что пускай члены Совета учинят надлежащее определение и донесут ему скорей. Таким образом, решено было назначить следующий штат для царицы: ей определялось по шестидесяти тысяч рублей в год и волость в две тысячи дворов. Князь Василий Лукич Долгорукий и Дмитрий Михайлович Голицын были посланы к ней донести об этом. К тому же император приказал им сказать царице, что если и сверх всего этого изволит чего потребовать, то он, император, по особой своей к ней любви и почтению, не преминет исполнить всякое ее требование.

#### IV

7 марта была торжественно отпразднована коронация императора. За несколько дней перед этим торжеством Петр ездил в Сергиевскую лавру говеть и молиться. Коронация праздновалась в течение нескольких дней, да и потом вплоть до великого поста шли балы за балами. Император забыл и думать о бабушке, сначала он еще считал своим долгом приготовить ей помещение во дворце, но затем отменил это решение. Она осталась в Девичьем монастыре и всего раз только приезжала к внуку. Опять при этом свидании присутствовала Елизавета, и старушка вернулась к себе, убежденная, что дела ее плохи и что, во всяком случае, нужно повременить, ожидать, что будет. Но куда трудно было решить о близком будущем, куда все только веселились. Государь начал с милостей своим приближенным: Василий Лукич и Алексей Григорьевич были назначены членами Верховного Тайного Совета, а Иван Алексеевич — обер-камергером.

Барон Андрей Иванович по-прежнему пользовался неограниченным доверием маленького императора, по-прежнему вел таинственные и никому не известные интриги. Теперь он казался в самых дружеских отношениях с Долгорукими и в то же время старался сблизить Петра с Бутурлиным, дабы ослабить влияние фаворита. Император поддавался Остерману, он перестал ревновать Бутурлина к Елизавете, и снова княжна Наталья с ужасом заметила, что он окончательно помирился с красавицей теткой. Замечала она и еще одно, что приводило ее в большое смущение: Иван Алексеевич

Долгорукий, совершенно открыто и не стесняясь, начал ухаживать за Елизаветой. Он пользовался всяким случаем танцевать и говорить с нею и кончил тем, что, не смущаясь, толковал ей о своих чувствах, о необычайном всемогуществе красоты ее. Елизавета сначала возмутилась этим, но под конец стала спокойно принимать его ухаживанье. Она рассудила, что фаворит этим может только погубить себя, а против его гибели она ровно ничего не имела: уж чересчур зазнался Долгорукий, совсем овладел императором...

Во дворце был большой бал. Никогда еще не видели московские жители ничего подобного, да и для петербургских вельмож все это было новинка. В царствование великого императора они не привыкли к подобной роскоши. Петр гнал всякий блеск. На его ассамблеях была простота. Главное заключалось в весельи, а больших трат не допускал император; бывало, он появлялся в своем старом поношенном платье, в штопанных чулках и требовал, чтобы никто не носил дорогого платья, чтобы с него пример брали; даже обыкновенно преследовал молодых модников, вернувшихся из-за границы, смеялся над ними, дразнил их, а иногда даже и наказывал. Теперь же было совсем не то, теперь каждый хотел перещеголять другого богатым костюмом; женщины сияли драгоценными камнями, удивительными заграничными кружевами; появилось много яств и питей новых, вывезенных из-за границы. Иностранные резиденты отписывали к своим дворам: во всей Европе нет такой роскоши, какая завелась при дворе московском.

В числе присутствовавших на бале находилась, между прочим, и герцогиня Курляндская, Анна Иоанновна, приглашенная на коронацию. Мало кто обращал на нее внимание, никого не интересовала эта некрасивая и не имевшая никакого влияния принцесса; даже Петр, и царица не считали нужным быть особенно любезными с нею. Очень скучная бродила она по комнатам и помышляла о том, что несравненно лучше ей у себя дома, где она госпожа, где почтительно к ней относятся, где она на первом плане и затмевает всех если не красотой, так величием своим и значением. Теперь же она не могла спорить даже с последней фрейлиной: вон как все они красивы, как все разодеты, какими важными кажутся, а она и одеться по-модному не умеет, да и какой наряд пойдет к ней: росту она огромного, сложение почти мужское, лицо смуглое, нос большой,

взгляд угрюмый. Одному только человеку и мила она здесь, да и того с собой привезла она из Курляндии. Человек этот — Эрнст-Иван Бирон, сын простого служителя герцогов Курляндских, но для нее он дороже всех принцев и королей, только с ним и отводит она душу, ему передает свои впечатления, свои замечания, жалуется на свои обиды.

— Потерпите, — шепчет ей Бирон, — все переменится. До сих пор у нас друзей тут не было, а теперь друзья найдутся, я уж кой-кого заприметил, кое с кем переговорил и даже сблизился; обласкан Левенвольдом, ну а он человек сильный и нас не оставит — недаром сюда приехали.

Уходит от него спешно герцогиня и снова бродит по комнатам, производя на всех неприятное впечатление своей сумрачной, некрасивой наружностью, и, конечно, ни она, ни друг ее Бирон, устраивая свои маленькие дела и заручаясь покровительством какого-нибудь Левенвольда, и во сне не грезят о том, что скоро, очень скоро, вернуться они опять в эти залы, и бедная, позабытая герцогиня будет величаться государыней императрицей Анной Иоанновной, а сам он, Эрнст Бирон, сделается герцогом Курляндским и могущественным властелином России.

Но как ни грустна и ни печальна Анна Ивановна, а еще грустнее и печальнее великая княжна Наталья. Успокоилась она было, видя разрыв брата с цесаревной Елизаветой, а теперь также кручина, просто тошно глядеть ей на них; вот он даже обижать ее стал — должен был начать бал с нею, а начал с Елизаветой, даже и перед придворными и иностранными министрами неприлично и обидно. И скрылась с бала царевна Наталья, ушла в свои апартаменты. Поплакала она сначала, да потом и успокоилась, благо нашла себе возможность успокаиваться теперь в грустные минуты.

В чем же эта возможность, что светлое мелькнуло перед слабенькой, больной царевной? Один человек долго говорил с нею, человек этот — испанский посланник герцог де-Лирия. Не сам по себе он ей интересен, а интересны его речи. Уж не в первый раз таинственно заговаривает он с нею, а он умеет так ловко, так мило вести разговоры. Сначала все описывал он ей свою страну — прекрасную Испанию, потом сама она не заметила, как это случилось, вдруг стал он рассказывать ей про молодого испанского инфанта Карлоса, про то, что инфант сильно заинтересован ею, заочно в

восторге от нее по письмам его, герцога Лирия, — и кончил испанский посланник тем, что шепнул великой княжне о том, как хорошо было бы ей выйти замуж за инфанта Карлоса. Что ж тут такого, уж не в первый раз толкуют о ее будущем и предлагают ей женихов то того, то другого; но никто еще не говорил с нею, как испанский герцог, никто еще никогда не сумел так заинтересовать ее, так очаровать своими рассказами. После первого разговора царица всю ночь видела во сне неведомую волшебную страну и неведомого волшебного принца. Никогда еще не случилось с ней этого, никогда она не думала ни о каких принцах, а вот теперь думает, и самой ей смешно, а все же отдум своих отделаться не может. Каждый раз, встречаясь с Лирией, ей хочется, чтобы он снова заговорил об инфанте, и каждый раз он умеет найти случай и сказать ожидаемое слово. Ну, а сегодня что ж — сегодня он даже дал ей, да так, что этого никто не видел, миниатюрный портрет Дон-Карлоса, только что высланный ему из Испании. Царица не хотела взять этого портрета, хотела снова отдать герцогу, да как-то так случилось, что не отдала, а взяла его с собою, и вот он теперь у нее в кармане. Она одна у себя, никто ее не видит. Тихонько вынула она из кармана маленький портретик и стала его разглядывать. Какой красавец, никогда, никогда она такого не видала! Он снился ей, этот Дон-Карлос, но и во сне был хуже, чем на самом деле. «Что ж это я такие глупости делаю, такое думаю?!» — краснея говорит себе царица, а мысли не проходят. В этих мыслях забывает она свое горе и свое одиночество и все, что смущает ее. Забывает она и свою слабость, и мучительную боль в груди, которая вот опять стала возвращаться чаще и чаще...

А в это время бал идет своим чередом; оживленные пары встречаются в контрдансах; император то и дело танцует с Елизаветой; но вот он устал, ушел из танцевальной залы в другую, где и велел подать себе ужин. С минуты на минуту они должны сюда явиться: и Лиза, и князь Иван; но они не являются. Императору становится скучно — он один, кругом неинтересно, все ненужные люди. Торопливо окончил он свой ужин и вышел в залу. «Что это? Иван танцует с Лизой, он наклоняется к ней, что-то говорит ей, даже шепчет... Какое у него лицо!» — И опять позабытое бывшее чувство — ревность стучится в его сердце, и не сводит он глаз с этих двух людей, которых так любит. А они все вместе. Вот окончен танец. Долгорукий



все же не отходит от Елизаветы. Петр не двигается с места, все смотрит. Лицо его побледнело, глаза горят, он весь — необычайное волнение. Подходит к нему барон Остерман.

— Андрей Иваныч, — шепчет император, — с какой это стати князь Иван не отходит от принцессы?

Остерман наострил уши и пристально взглянул на Петра.

— Как не отходит, государь? Да вы же сами танцевали с нею, кажется, подряд три контданса. Что ж тут такого? Вы знаете, как принцесса любит танцевать, а князь Иван хорошо танцует.

Но император вне себя, он не доволен ответом Остермана, и когда к нему подходит Долгорукий, он грозно глядит на него и отворачивается.

— За что это? — равнодушно и улыбаясь спрашивает Иван Алексеевич. — Ах да, понимаю: государь меня ревнует. Ну что ж, ничего, поревнуй, посердись, скоро помиримся...

И такой же равнодушный, такой же уверенный в своей силе и в том, что ничем он себе повредить не может, отходит Иван Долгорукий от государя и идет в ту сторону, где больше молодых, красивых женщин. Между ними он видит сестру свою, которая что-то оживленно толкует с молодым племянником австрийского посла, графом Миллезимо. Между ними он видит и другую молодую девушку и внезапно поражается ею; она сидит в уголку залы, подальше от других. Стройная и чудно-прекрасная, равнодушно-спокойным взглядом глядит она на окружающее оживление и великолепие и, кажется, принимает во всем мало участия. О! Как она хороша! Каким образом не замечал он этой ее красоты? А ведь давно он знает эту девушку. Он подходит к ней и садится рядом с нею.

— Зачем не танцуешь, графиня? — говорит он ей.

— Устала, Иван Алексеевич, — поднимает она на него свои чудные, большие глаза, опущенные длинными, темными ресницами.

— Пойдем танцевать со мною, — шепчет он снова.

— Устала, дай отдохнуть, князь.

— Что редко бываешь у матушки да у сестер? — спрашивает Иван Алексеевич после минутного молчания.

— Не редко бываю, да только тебя никогда нету, не видно тебя, ты дома не бываешь, — замечает девушка.

— Ах, если б я знал, когда ты у нас, то всегда бывал бы дома!

Он глядит ей прямо в глаза своим смелым, блестящим взглядом; опускаются ее длинные ресницы, нежный румянец вспыхивает на щеках ее, не то грустная, не то насмешливая улыбка трогает ее губы и тихим голосом она отвечает фавориту:

— Побереги твои слова для других, а я им все равно не поверю...

Раздаются новые звуки, и начинает Иван Алексеевич танец с красавицей девушкой, и все пригожее она ему кажется: как она танцует, как плавно выступает, какая дивная шея, какие руки, а главное, есть в ней что-то такое, что-то тихо-спокойное, содержащее в себе тихую силу. И опять повторяет про себя изумленно Иван Алексеевич: «Как мог я, как мог проглядеть такую чудную девушку?! Удивительно хороша она, эта красавица — Наталья Борисовна Шереметева».

## V

С раннего утра и до вечера звонили и отзванивали все сорок сороков церковей московских, справлялась великопостная служба; народ православный молился, говел, исповедался и причащался. Затихли и дворцовые празднества, но не мог император удержаться от других соблазнов: то и дело уезжал он на охоту, проводил по несколько суток за Москвою, возвращался на день-другой, да и опять начинал то же самое. Вот и пост великий кончается, прошла страстная неделя — другой, уже веселый благовест разносится в весеннем воздухе. Снег давно начал таять, ручьи побежали по московским улицам, по обширным огородам; сбегают они с холмов и с пригорков. Из-под талого снега кое-где земля начинает виднеться, ростки травы прошлогодней показываются. Вот и совсем нет снега, только еще местами лежит ледок хрупкий и прозрачный, и быстро тает от лучей вешних. Морозная тишина невозмутимая заменилась веселым щебетаньем бесчисленных птиц, неведомо откуда налетевших; все оживилось и кишит новой жизнью и спешит насладиться недолгим теплым временем. Мало-помалу опускаются деревья, трава всюду зазеленела, цветы желтые запестрели. День за днем идут и проходят так быстро, что оглянуться не успеешь; цветет уж черемуха, ветки

сирени почернели и того гляди распустятся, а император все на охоте: в Верховный Совет уже не заглядывает, еще неудержимее, чем зимою, влечет его теперь любимая забава. Что в городе? Душно, стены давят, жизнь там такая скучная: одни и те же речи о делах различных.

Пусть кому любо это, кому это нравится, тот и занимается делами, а молодому мальчику в лес теперь хочется, в широкое свежее приволье. Душистый весенний воздух так и вливается в грудь и возбуждает в ней новые чувства; неясные, причудливые, почти бесформенные, но могучие грезы со всех сторон наплывают. Куда-то лететь хочется, хочется чего-то неведомого, блаженного, что и близким и далеким кажется, — и ничем уж теперь не заманишь Петра Алексеевича во дворцовые покои, да и некому заманивать. Давно уж отступился от воспитанника своего барон Андрей Иванович и весь ушел в дела государственные да в свои дела личные.

Как ни хитрил, как ни обходил кругом всех Андрей Иванович, а все успел он поссориться с молодым фаворитом Иваном Долгоруким. Тот на него теперь при всякой встрече напускается, ни перед кем не скрывает своей вражды к нему. Зато с отцом фаворита, Алексеем Григорьевичем, большая теперь дружба у барона Остермана. Частенько стал заглядывать Андрей Иванович в палаты Долгоруких и всегда там ему радушная встреча.

Государь по обычаю на охоте; с ним и Иван Алексеевич. Но князь Алексей Григорьевич на этот раз не поехал, понездоровилось ему что-то и остался дома. Сидит он у себя, в окно смотрит открытое, а перед ним Андрей Иванович, толкуют, и все о том же императоре и его фаворите. Жалуется Алексей Григорьевич на сына.

— Какой он мне сын! — говорит он барону. — Он моей погибели только хочет.

— Ну, уж и погибели! Больно ты, князь Алексей, на слова невоздержан. Как может этакое статься? Не погибели твоей хочет, а просто удержу себе не знает и ничего с ним сделать невозможно.

— Да, это точно... совсем от рук отбился: избаловали его. Ведь вон наемдни простудился это он на охоте, разболелся, говорит; да какое там разболелся, просто привередничает, а ведь государь-то приехал, ни на минуту не выходил от него, так и спал в его комнате; вот какая у них нынче дружба! Право, сию это я теперь не при

государе, вот и страх берет меня, того и жду, что по милости сынка попаду в немилость.

— Пустое! — опять замечает Остерман, а сам думает: «вот глупый человек, даже сыну завидует!»

А князь Алексей Григорьевич как будто бы отвечает на его мысль.

— Право, друг Андрей Иваныч, так теперь помышляю: хоть бы за что, про что, а возненавидел бы его государь, удалил бы от себя, другого кого бы на его место в друзья выбрал, только кто бы тебе был угоден да дружен с тобою.

Андрей Иванович благодарит князя за такую любовь к себе и собирается прощаться, невтерпеж ему эти глупые речи, любит он с умными людьми вести компанию, а нет таких, так уж лучше потолковать самому с собою... Да и не очень уж нужен ему теперь Алексей Григорьевич — сразу сумел хитрый немец забрать его в руки; теперь он ему милее сына родного сделался, не уйдет уж от него; во всякую минуту одним словом его вернуть к себе возможно. И уходит Андрей Иваныч. Князь остается со своими тревогами и мыслями о том, что вот-вот родной сын наговорит царю на отца. А сын ни о чем дурном не думает, против отца не злобствует: ему бы самому хорошо было, а другим он мешать не станет. Иное дело барон Остерман: претит ему Андрей Иваныч, не выносит он глаз его хитрых, его мягких, кошачьих ухваток, фальшивый в нем человек ему чудится, а князь Иван любит русских людей, чтоб весь был нараспашку, немцев недолюбливает, ему бы хотелось совсем уволить немцев, чтоб не лезли со своими советами, не мешались в дела русские. Хотелось бы ему вернуть старую Русь, позабыть совсем о Петербурге, зажить в Москве широко и весело: пировать да веселиться, о завтрашнем дне не думать. Искренно он любит своего государя и друга, а если дурному его учит, так сам хорошенько не знает, дурное это или хорошее.

Беспутный человек Иван Алексеевич, а все же душа у него широкая, добрая душа, только, действительно, никакого удержу себе не знает. Вот он вернулся с охоты, домой приехал. Отец тотчас же на него накинулся: «Что так долго пропадал? Ты, мол, всему причиной. Чай, невесть что нажужжал в уши государю, на всех наговорил, только бы тебе одному милости, душа твоя ненасытная!»

Пожимает на эти непутные речи плечами Иван Алексеевич. Он уже привык к отцу и не принимает в серьезное его брань и попреки.

— Да перестань, батюшка, — тоскливо говорит он, — что я тебе делаю, оставь ты меня в покое!.. Или без меня наговорился со своим Остерманом?.. Чай, по косточкам перебирали меня, ну и удовольствуйся, обнимайся ты с немецкой клеатурой, а меня не трогай.

— Ну что ты лаешься? — кричит на него отец. — Как ты смеешь такого почтенного человека, как барон Андрей Иванович, обзывать клеатурой?..

— Давно ли ты же сам так называл его! — смеется в ответ Иван Алексеевич.

Этот смех окончательно выводит из терпения старого князя: он накидывается на сына чуть не с кулаками. А в соседней комнате слышен шепот.

«Там сестры, — думает Иван Алексеевич. — То-то, чай, Катюша радуется, что отец на меня накинулся! Ненавидит она меня, а за что ненавидит, уж право, не знаю. Я вот хочу ее царицей сделать, а она меня ненавидит; все каким-то извергом меня считают, человеконенавистником, за что ж это, Господи, право ума не приложу!.. Одного желаю, чтобы меня оставили в покое, чтобы дали по душе повеселиться, не мешали бы моей жизни, так нет, не оставляют».

Отец, между тем, кричит все громче и громче, страшнее и страшнее его упреки, тоска забирается в душу Ивана Алексеевича. Бежал бы из дому, не глядел бы ни на кого.

— Батюшка, да пощади ты! — отчаянным голосом, наконец, проговорил он. — Право, послушать тебя, хуже я зверя лютого.

— А ты как о себе думаешь? — кричит Алексей Григорьевич. — Что ж ты полагаешь, никто из нас твоих проделок не видит, ты полагаешь, мы не знаем, что от всех отвращаешь ты государя.

— О, Господи, да когда же? Кто может сказать это и кто от меня видел что дурное?

— Ты вон козни свои строишь теперь барону Андрею Ивановичу, а того не сообразишь, что умнее и полезнее этого человека найти невозможно. Глуп ты, Иван, вот что, да и зол к тому же!

Бедный князь Иван совсем в отчаянии, ему давно уже надоели все эти домашние сцены, все эти интриги; даже в разгуле с некоторого времени не находит он прежнего веселья.

«Эх, бросить бы все, уйти бы!» — думается ему.

— Да коли так, — почти со слезами отвечает он отцу, — коли вы точно все обо мне так думаете, так идите к царю, обнесите меня как-нибудь, чтоб он перестал любить меня, чтоб он удалил меня от себя. Создателем клянусь, слова не скажу! Рад буду бросить все, только чтоб меня в покое оставили, только чтоб не слышать этих вечных попреков, этих обид от родных своих. Оставлю вас всех, уйду, если мне места мало между вами!..

Он едва может говорить от волнения и отчаяния и выбегает в соседнюю комнату. Увидев его, княжна Екатерина отворачивается и выходит в другие двери, даже и встретиться с ним не хочет.

Но в комнате еще кто-то, какая-то женщина. Она подходит к князю Ивану и протягивает ему руку. Она глядит ему в глаза, глядит на лицо его бледное и читает в них усталость, тоску и отчаяние.

— Успокойся, князь, — говорит она тихим голосом, — я все слышала, я понимаю, как все это должно тебя мучить и тебя теперь понимать начинаю; верю я, что ты говоришь искренно и что ты совсем не таков, каким они тебя изображают.

Странно и отрадно слышать эти слова Ивану Алексеевичу. Он жадно вслушивается в тихий, ласкающий голос, говорящий ему, жадно всматривается в чудное лицо, которое перед его глазами. Мгновенно стихает тоска его, он схватывает протянутую ему руку и прижимает ее к губам своим.

— Голубушка, Наталья Борисовна! — шепчет он. — Спасибо тебе, что хоть ты за меня заступаешься, спасибо за слова твои добрые, ими душа моя лечится...

Молодая графиня Шереметева опускает глаза, на которых блестят невольные слезы. Хотя и спешит она прочь от князя Ивана, но с ним остаются ее думы. А он, по ее уходе, долго стоит неподвижно и сам не знает, что с ним такое. Никогда не встречал он подобной девушки, никогда не слышал подобного голоса. Что это за голосок! — ровно песня соловьиная, что это за речи такие! Прямо до глубины души проникают, и не томят, не больно от них, а словно масло благоуханное по душе от них разливается и смягчает все сердечные боли. Чудная девушка!.. И вспоминаются князю Ивану другие, быть может, не менее красивые девушки, вспоминаются князю Ивану всякие его похождения любовные, много их у него было, а недруги и невесты что про него рассказывают. Ох правы, правы эти недруги, совсем не знает удержу

своему сердцу князь Иван Алексеевич!.. Многих девичьих слез он причиной, много греха принял на свою душу, над многими насмеялся. Но не до смеху ему, как подумает он о Наталье Борисовне, совсем на уме другое — святою какою-то она ему кажется.

## VI

Не спится графине Наталье Борисовне в тишине старого отцовского дома. Еще недавно спокойно и ровно текла ее жизнь; не задавала себе трудных, неразрешимых вопросов молодая графиня, а вот с некоторого времени стало совсем другое, сама не знает она, как это случилось, а только нет уж прежнего спокойствия, тревожно у нее на сердце. Все думает она, думает как ей быть и что теперь делать, больно полюбился ей князь Иван Долгорукий. Многих молодых людей видала графиня, много женихов за нее сваталось, но ни один до сих пор не сумел пленить ее, а вот князь Иван и не сватался, о сватовстве, может, и не думает, а взял да и вынул ее душу. И что в нем хорошего нашла графиня? Что дружен он с императором, что в почете великом, так ведь это не может привлекать ее. Ее отец всю жизнь был в почете, и ее с детства при дворе ласкают, а богатства у Шереметевых столько, что и не сосчитать его, самую богатою невестою слывет Наталья Борисовна. Чем же полонил ее князь Иван, красотой что ли? Но он далеко не красавец. Нравом своим, добротой сердца, благородным характером? Но совсем мало знает его графиня, а слышит о нем только одно дурное. Страшно даже припомнить все, что рассказывают про князя Ивана, такое рассказывают, что девушке зазорно и слушать, такое, чего при девушке и сказать невозможно. И знает Наталья Борисовна, что если не все в этих рассказах, так все же очень многое совсем верно. Беспутную жизнь ведет князь Иван, забавы себе выдумывает все нехорошие, да и не раз совсем почти пьяным видала его графиня.

Бежать бы подальше девушке от такого человека, противным должен он ей казаться, а вот любит его Наталья Борисовна и ничего с собою поделывать не может. Пришла эта любовь внезапно, в один миг какой-нибудь, и знает красавица, что не уйдет она, так на всю жизнь и

останется, два раза любить невозможно. Да, точно, беда великая приключилась с нею, Было ей из кого выбрать себе суженого — первые женихи земли русской смотрели на нее как на желанную невесту, и ожидало бы ее тихое, семейное счастье, жизнь без борьбы и волнений, так нет же, не то судьба ей приготовила и от судьбы теперь уйти уже невозможно! Любит она его себе на погибель, а все же таки любит, и некому рассказать ей про любовь эту: всякий за нее бранить ее будет, скрывать ее должна она, а скрывать уж скоро не хватит силы. Только и жива Наталья Борисовна, как мельком увидит князя Ивана, только и радость у ней одна — скажет он ей ласковое слово.

А видеть его редко приходится; вот до сих пор он внимания никакого не обращал на нее, у него что ни день, говорят, то любовь новая, а жениться, сказывают, наприметил он уж себе невесту — цесаревну Елизавету. Что ж это такое? Чем все это кончится? Только нет, нет, клеветают на него люди, не таков он на самом деле, как про него сказывают. Вот ведь сегодня, вот, он был сам собою! Она никогда не забудет его отчаянного голоса, никогда не забудет слов его, а какое лицо у него было печальное, как он благодарил ее за участие! Да, и он один на всем свете, и его никто не понимает; все дурное, что есть в нем, так это наносное, пройдет другая жизнь, все с него спадет, и следа не останется. Останется в нем только душа добрая, честная, и как ни велик он теперь, как ни сияет он, а все же он жалкий и несчастный человек. Врагов у него видимо–невидимо, и нет ни одного истинного друга. Что император! Император так молод, ну, теперь любит, жалуется, а мало ли что быть может? Только ведь одним государем он и держится, а отвернись от него Петр и все отступятся; мало того, что отступятся чужие — родные, кровные накинутся; погубят его, уничтожат...

Нет, видно так оно надо, чтоб полюбила его Наталья Борисовна, чтоб положила в него всю свою душу. Когда-нибудь, может быть, несчастный и ненавидимый всеми, придет он к ней и тогда она ему покажет всю силу любви своей, спасет его от гибели, от отчаяния. А покуда, покуда пусть никто не знает, что творится в ее сердце, напрасно и ему-то шепнула она сегодня ласковое слово, не стерпела, вперед нужно быть осторожнее! Но, Боже, если б теперь как-нибудь, чем-нибудь можно было бы его удержать от всего, чем он позорит



свою душу!.. Только разве есть у нее для этого сила, что она ему? Чай, с глаз она — ни разу не вспомнит про нее князь Иван Алексеевич!..

Утомленная такими тревожными, тяжелыми мыслями, заснула наконец молодая графиня. А на другой день с нею случилось то, чего она никак не ожидала. На всю жизнь сохранился этот день в ее памяти. Приехал к ним князь Иван Долгорукий, а дома никого не было, одна молодая графиня. Так ему и доложили слуги. Следовало ему уехать, но он непременно желал видеть Наталью Борисовну.«Да разве это возможно?! — подумала она. — Что говорить будут!»Но вдруг какая-то решимость овладела ею и она допустила к себе князя.

— Вот спасибо большое тебе, графинюшка, — сказал он, входя к ней, — так я и ждал, что велишь гнать меня. А ведь все же напрасно ты это сделала, напрасно меня впустила, ведь от меня, как от чумы, тебе нужно бегать; тебе и говорить-то со мною должно быть зазорно!.. Ужели взаправду не боишься ты принимать у себя Ивана Долгорукого?

Она подняла на него свои большие глаза, она увидела его грустное лицо, и больно сжалось ее сердце.

— Чего ж мне тебя бояться?! — тихо сказала она. — Пусть другие боятся, а я не боюсь, я тебе верю. Я знаю, слышишь ли, знаю, что ты меня ничем не обидишь.

На грустном лице князя мелькнула светлая улыбка.

— Второй раз спасибо! — дрогнувшим голосом проговорил он. — Эти твои слова я никогда не забуду.

Он сел рядом с графиней.

«Вот он, — думала она, — давно ожидаемый случай, вот когда многое сказать можно, но хватит ли силы, как начать-то?..»

И она молчала в смущении.

— А ведь я за тем и ехал, графиня, чтоб только взглянуть на тебя и поговорить с тобою, отдохнуть немного. Никто до сих пор не был со мною так ласков, как ты, никто не показал мне такого участия, не знаю, чем заслужил я это, но мне так дорого твое участие, так дорого, как голодному нищему кусок хлеба!

— Странно мне все это слышать, — отвечала Наталья Борисовна, — ты ли говоришь это? Что, дома-то бранят тебя, так в каком доме разных ссор не бывает, а, кажись, не тебе на свою жизнь пенять: живешь ты во все удовольствие, только и знаешь, что веселишься, забавы себе разные устраиваешь.

— И ты тоже! — махнул рукой князь Иван. — Да пойми ты, Наталья Борисовна, что нет мне веселья в этих забавах, надоели они мне, давно надоели, одно и то же, ничего нового не придумаешь, одно и то же, а человеку мало этого, да и противно к тому же... все опротивело, тошно мне жизнь моя... Иной раз и страшно за себя становится, за свою душу, многим я грешен. Наталья Борисовна, разве не вижу, разве не понимаю, что так жить невозможно! Вот в последнее время и государь на меня сердится, что отставать начинаю от него, редко на охоты с ним выезжаю; «Тебе, — говорит, — со мною скучно; сказывают, что без меня себе новые веселья находишь». А клянусь тебе, как перед Богом истинным, Наталья Борисовна, не нахожу я себе новых веселий! Пусть говорят обо мне что хотят, мне все равно, только совсем не для затей разных остаюсь я, не езжу я с государем, потому не езжу, что тошно мне глядеть теперь на то, что там творится. Понял я, наконец, какой страшный грех взяли мы все на свою душу, полонили императора, приучили его ко всему недоброму. Эх, кабы знала ты, что там теперь делается, да нет, тебе нельзя и знать этого! Отец, скажу тебе, вчера на меня накинута, все боятся, что я от них государя отлучаю, да где ж мне, если б и хотел, они там теперь сильнее меня становятся. Мне тошно глядеть на дела их, за это они и сердятся. Право, иной раз как думать начинаю, что нельзя так жизни продолжаться, так в ту пору хотел бы наложить на себя руки!

— Что ты, что ты, — быстро перебила его графиня, — побойся Бога, что ты говоришь! Я так радостно слушала тебя, а ты вдруг таким непутным кончил...

— Эх, Наталья Борисовна, ведь всего не выскажешь, а кабы знала ты, что со мной иной раз дается, так не изумилась бы моим черным мыслям. Верно, истину говорю, что позорная жизнь эта мне опротивела, а другое... ты не знаешь, не знаешь, как мало у меня силы, воли над собою. Я понимаю дурное, хочу бежать от него, а не бегу, в старых грехах своих погрязну, и некому спасти меня.

Он печально замолчал и опустил голову.

Наталья Борисовна с восторгом его слушала. То, что еще вчера ночью казалось ей невозможным и далеким, то начинает сбываться: он пришел к ней измученный и несчастный, пришел и ждет от нее спасения. Вот он поднял опять голову и глядит на нее, все глядит, не отрывается. Какая нежность в его взгляде! Графине и отрадно, и

страшно. Она не может вынести, не может смотреть на него, и смущенно, то краснея, то бледнея, от него отвертывается.

— Зачем ты так на меня смотришь! — в волнении шепчет она. — Мне страшно от твоего взгляда, я не знаю, что он значит...

— А! — поднялся князь Иван. — И ты меня испугалась, и тебе страшно!.. Что ж, уйди, уйди, не пристало тебе дольше быть со мною, непутный человек пришел в твой дом, уйди, тебе есть отчего меня бояться! Ну, гляжу я на тебя... и что ж, скажу тебе, почему так гляжу — гляжу так потому, что полюбил я тебя, Наталья Борисовна!

Она вздрогнула. Она хотела убежать, но осталась неподвижною. Ее голова кружилась.

— Да, я полюбил тебя, я... и должна быть позорна для тебя любовь моя! Кому только ни говорил я о любви своей, кому только ни лгал я, и точно так же смотрел на тех, кому лгал, и мне верили. И я обманывал, и не стыдно мне было от моих обманов, и не жалко мне было слез девичьих. Беги, беги, ведь и тебя обману так, и над твоими слезами посмеюсь я! Ну, что же ты не бежишь, беги!..

Но она не шевелилась.

— Что ты говоришь, опомнись, князь, — шептала она, — разве можно говорить это? Неужели и впрямь ты пришел надо мною издеваться и обижать меня, не могу этому верить!

— Нет, я не издеваться пришел над тобой, — снова заговорил он, — я сам не знаю, что со мною... Я не лгу, что полюбил тебя, я всю ночь глаз не смыкал, о тебе думал после твоих слов вчерашних, и теперь мне кажется, что если б раньше заметил я тебя, если б раньше услышал твой голос, так многого бы не было. Мне кажется, что в тебе одной мое спасенье, и вот я пришел к тебе, как безумный, рассказать все это и молить тебя от меня не отворачиваться. Полюби меня, Наталья Борисовна, и спаси меня!..

Наталья встала перед ним и взглянула ему прямо в глаза. Лицо ее было бледно, но серьезно и спокойно.

— Князь Иван, — сказала она ровным голосом, — мне не след тебя слушать, а я слушаю; мне не след тебе верить, а я верю. Если б точно могла спасти я тебя, я спасла бы, но ты должен мне доказать, что нуждаешься в моей помощи и что я могу спасти тебя. Если точно я что-нибудь для тебя значу, если точно ты обо мне думаешь и не смотришь на меня так, как смотрел до сих пор на всех, так ты должен

найти дорогу к моему сердцу. Обмануть меня нетрудно; у меня одна только ограда от твоего обмана: мое к тебе доверие... Слышишь ли ты?.. Я тебе верю!..

Князь Иван хотел броситься к ней, хотел взять ее за руку, но она не дала руки и от него отступила.

— Оставь, не трогай меня, князь! — сказала она. — Пойди к себе, успокойся. Если знаешь грехи за собою, если противна тебе та жизнь, которую вел ты до сих пор, так найди в себе силу отказаться от этой жизни, найди в себе силу уйти от грехов своих. Знай, что каждый день, когда ты сумеешь побороть себя, будет для меня днем счастливым, и когда накопится несколько таких дней, тогда приходи ко мне новым человеком и расскажи мне всю твою душу, и я буду помогать тебе, и буду за тебя радоваться. Таким, каким был ты сих пор, я не могу, не должна, не смею любить тебя; если же ты сумеешь быть другим, сумеешь очиститься, тогда я буду любить тебя... а теперь оставь меня, прощай...

Князь Иван не нашел ничего сказать ей. Он видел, что она в руках его, он видел, что она уж его любит, но он не хотел пользоваться своею властью над нею. Он взглянул на нее с восторгом и, даже не осмелившись протянуть ей руку, простился и вышел из Шереметевского дома.

## VII

Барон Андрей Иванович Остерман занимал небольшой дом, недалеко от дворца. У него здесь все было так же просто, как и в Петербурге; он все еще считал себя на бивуаке, все еще надеялся на скорый переезд в Петербург. Но теперь с каждым днем все слабела и слабела эта надежда, каждый раз, возвращаясь из дворца, он вел долгие беседы с женой, и грустны бывали эти беседы. Положение барона было все так же тяжело: он видел, что его влияние на бывшего воспитанника, которого номинально он и теперь считал еще воспитателем, окончательно ослабело: Петр совсем выбился из рук. В нем вдруг произошла быстрая перемена к худшему. Еще недавно, несмотря на лень и страсть ко всевозможным забавам, Андрей

Иванович часто подмечал в нем любознательность, радовался его прекрасным способностям, его живому уму, но теперь, под влиянием той бессовестной компании, в которую попал юноша, его горизонт сузился. Он перестал интересоваться тем, чем следовало ему интересоваться, помышлял только о веселье, об охоте, о разного рода непозволительных шалостях; стал очень любить нескромные разговоры, к которым приучали его окружавшие и в особенности старик Алексей Долгорукий. Ну, а Андрей Иванович не любил и не умел вести нескромных разговоров, да и, во всяком случае, ни за что в мире не позволил бы себе он их при воспитаннике; не умел он также говорить и о собаках, не смыслил в охоте: таким образом, что ж ему оставалось, чем мог быть он приятен императору?!

Ненависть к нему со всех сторон; с фаворитом вечные ссоры. Конечно, он все-таки же всем нужен, не могут без него обойтись, но что ж из этого? Он силен единственно разрозненностью своих врагов, а соберись они в крепкую партию — и ему не удержаться. С другой стороны тоже висит зло страшное над головою: совсем готовят погибель для России враги петровских порядков. Очевидным становится, что и помышлять нечего о переезде двора в Петербург. А если совсем в Москве останутся, так сушая приходит погибель: кажется, никогда еще не было такого безначалия, как теперь, пройдет несколько лет, и скажутся последствия. Ведь подумать страшно, что теперь творится. Никто, как есть никто, о завтрашнем дне не думает, заняты только все интригами, бессмысленными интригами, ни к чему не ведущими, только чтобы грызться друг с другом. Все рады, что хорошо и весело живется. Но он, барон Андрей Иванович, смотрит дальше, видит глубже, видит он тяжелые и неотвратимые вещи. Недолго все это будет так продолжаться: такая жизнь, какую ведет император, скоро, очень скоро, разрушит его крепкое здоровье, уложит его в могилу: нельзя так насиловать природу, никаких сил не хватит. Барон Андрей Иванович грустно вздыхает, ему вспоминается бледное, больное лицо великой княжны Натальи, которая еще вчера жаловалась ему очень на боль в груди. Он давно уже замечает, что больна она не на шутку, никакие лекарства ей не помогают. Грустно, грустно это, а скоро умрет царевна. С нею вместе умрет и последнее доброе влияние на юного императора: все же теперь, когда он уж чересчур завеселится, она еще может на несколько дней удержать его, все же она направляет

по временам его сердце, избавляет его от поступков несправедливых, парализует злое долгоруковское влияние. Пока она жива, Остерману нечего бояться немилости: кто друг ей, тот друг и императору, умрет она — и все переменится.

Еще вчера она обещала уговорить брата переехать в Петербург, и в этом последняя надежда; умрет царевна, тогда кончено, совсем забудут о Петербурге.

Чем больше думает Андрей Иванович, тем яснее и яснее для него становится, что недолго после нее проживет император — совсем завертят его, надорвут его силы, уложат в могилу. И кто знает, может все это случится даже очень скоро... что ж тогда будет? Если никто об этом не думает, так он, Андрей Иванович, подумать должен, чтобы такие события врасплох не застали. На ком же остановиться? Старая царица Евдокия Федоровна, пожалуй возвысит голос, но ведь это невозможно — она сама в гроб смотрит, к тому же с нею та же Москва, та же гибель. Цесаревна Елизавета? С нею, может быть, меньше гибели для России, но наверное гибель ему, Остерману, — невлюбила его в последнее время цесаревна, лады их давно кончились; она его своим врагом считает. Нет, если сберечь себя он хочет, так должен всеми силами отстранять цесаревну. И он все думает и передумывает, да так ушел в свои мысли, что не слышит вопросов жены, ничего ей не отвечает. Вот он встал, пошел в свою спальню, снял с себя старый любимый шлафрок и оделся.

— Куда ты? — спрашивает Марфа Ивановна.

— К одной персоне, — таинственно отвечает Андрей Иванович и уходит из дому. Он идет во дворец, идет задними ходами в уединенную, дальнюю часть дворцового помещения, где отведено несколько комнат для герцогини курляндской Анны Ивановны.

Анна Ивановна у себя: она редко куда выезжает, редко показывается у цесаревны Елизаветы и великой княжны Натальи, в царских охотах тоже не принимает участия. Никому не доставляет особенного удовольствия ее компания, а, между тем, с своей стороны она употребляет все силы, чтобы нравиться, чтобы заслужить расположение. Глаз не спускает с императора и царевен, не знает чем и угодить им — и все-таки не обращают на нее внимания. С каким бы удовольствием уехала она в свою Митаву, но Бирон говорит, что еще

подождать нужно, еще не все дела сделаны, а без решения дел ехать не стоит, — недаром же приезжала...

Герцогиня очень изумилась и обрадовалась приходу Остермана: ее и придворные не баловали своим вниманием.

— Как это ты обо мне вспомнил, Андрей Иваныч? — сказала она, протягивая ему руку.

— Что это вы, ваше высочество: «как вспомнил»... да я непрестанно вас в мыслях своих имею; вот пришел узнать, не прикажете ли чего — так я все для вас устрою...

— Чего ж мне... всем я довольна, ничего мне не надо, — заторопилась Анна Ивановна. — Что государь, как он в своем здоровье?

— Какое, я думаю, здоровье! — отвечал Остерман. — Совсем не берегут его, а сам о себе, конечно, он и не думает.

— Ах, как, ведь это плохо, — печально качала головой герцогиня, — я так всем сердцем люблю его величество и так мне жалко слышать, что он не бережет себя... Да и ее высочество великая княжна все так нездорова, ах, как это жалко!

— Зато цесаревна хорошо себя чувствует, еще пополнела, — проговорил Остерман, пристально глядя на герцогиню.

— Ах да, да, какая она красавица, цесаревна!

И герцогиня тоже стала пристально глядеть в глаза Андрею Ивановичу, пытаясь прочесть в них, почему это он заговорил о цесаревне и таким тоном. Она так боялась попасть в какой-нибудь просак, сказать что-нибудь лишнее, каким-нибудь словом повредить себе! И как нарочно с ней не было ее друга Бирона, который всегда умел вывести ее из затруднения, что-нибудь сказать за нее или незаметным образом навести ее на ответ подходящий.

— Ах да, Андрей Иваныч, — вспомнила Анна Ивановна, — прошу вас, передайте великой княжне, что я уж писала в Митаву насчет собак, о которых она мне говорила. Может, и без меня найдут их для его величества, а то как я приеду, так сейчас все сделаю, чтобы исполнить их желание, сама искать буду. Пожалуйста же, передайте, Андрей Иваныч, что я только и думая о том, не могу ли чем-нибудь быть полезной его величеству и ее высочеству, пожалуйста, передайте!

— Да ведь вы сами, герцогиня, увидите с ними раньше моего, пожалуй.

— Да, да, конечно, но все же хорошо будет, если и вы им об этом скажете, прошу я вас, — продолжала она, заглядывая в глаза Остерману и смущаясь, — уж прошу я вас, добрый Андрей Иваныч, как уеду, не забудьте обо мне, будьте ко мне милостивы и иной раз напомните обо мне, скажите за меня доброе слово, а уж я, я чем только могу — да вот могу-то я мало, — чем могу, услужу вам за это...

— Ах, Бог с вами, полноте, герцогиня, что это вы, неужели думаете, что меня еще просить нужно. Пожалуйста, положитесь на меня, я всегда почту себя счастливым, если смогу что-нибудь сделать вам угодное.

— Не знаю, как и благодарить вас! — даже покраснела Анна Ивановна. — Вы такой добрый человек.

В это время вошел Бирон. Он почтительно поклонился Остерману, а тот встал и дружески протянул ему руку.

— Вот барон Андрей Иваныч так добр, — обратилась Анна Ивановна к Бирону, — что не забывает меня, навещает.

— И я надеюсь, — проговорил Бирон, — что мы, уезжая, оставим здесь надежного друга, — ведь вы позволите, барон, так называть себя?!

— Конечно, — сказал Остерман, — я сейчас уже имел честь доложить герцогине, что все сделаю на ее пользу, что в моих слабых силах. Так не изволите мне дать никаких приказаний, ваше высочество?

— Что ж, теперь никаких, только не забудьте про собак, что я вам говорила...

— Как можно забыть, не забуду, при первом же свидании непременно скажу и царевне, да и государю.

Андрей Иванович почтительно откланялся герцогине, опять пожал руку Бирону с самой добродушной, милой улыбкой и вышел.

По его уходе Анна Ивановна подробно, не пропуская ни одного слова, передала Бирону весь свой разговор и стала его спрашивать, что бы значил намек Остермана на принцессу Елизавету.

— Что-нибудь да значит, — сказал Бирон. — Остерман хитер, он даром не скажет ни одного слова, да и вообще мы можем теперь успокоиться, значит, дела наши не совсем дурны, если Остерман нас навещает. Откуда же бы это взялась такая к нам дружба?

— Ну, а что ты? Что нового?



— Я теперь от князя Ивана Алексеевича, тоже и я с ним поладил, ласков он был со мною, милостив, и ему я обещал найти у нас в Курляндии хорошую охотничью собачку, так он за это даже поцеловал меня. Как только приедем домой, сейчас нужно собак искать, — много эти собачки нам помогут.

— Ну, и слава Богу! — даже перекрестилась герцогиня...

## VIII

Светлые майские дни стоят над Москвою. Благоуханная тишина в теплом воздухе. По Москве-реке ходят лодки, и гребцы не знают иной раз, что им и делать, так обмелела Москва-река. Напротив его, по ту сторону реки, тянутся Воробьевы горы, покрытые густым зеленым лесом. С вышины этих гор во все стороны чудные виды открываются и весь город Москва, как на ладони: все сорок сороков церквей ее видны, от солнца, как огни, горят их золоченые куполы. Длиннеют вечерние тени, и все тише и тише становится, только где-нибудь на берегу промычит корова, да раздадутся тонкие, жалобные звуки рожка пастушьего... Часы на монастырской колокольне все бьют минуты за минутами, и с тоскою великою, с томленьем и скукой прислушивается к их бою царица Евдокия Федоровна.

Все в той же она тихой и спокойной спальне, только окно открыто, а под окном цветет куст сирени. Длинные, однообразные дни тянутся для царицы, чего бы ей, кажется? — Жизнь спокойная, беззаботная, всего у ней вдоволь и людей много, что по первому ее знаку готовы исполнять все ее приказания, и стол обильный, и всякого продовольствия сколько душа пожелает. В церковь войдет — все ей низко кланяются, священник всенародно возглашает ее великой государыней, отсюда ей почтение — чего ж она так печальна, чего сидит часто под открытым окошком, смотрит на двор монастырский и тихонько плачут ее глаза старые, с безнадежным отчаянием шепчут жалобы ее бледные губы? Чего ждала она, на что надеялась — то не сбылось; чего боялась — то исполнилось. Только соблюли приличие, назначили ей содержание богатое внучата, а ее позабыли, и за что это? Всего раза три и видела она внука. Чем досадить ему она успела?

Советовала ему побережь свое здоровье, да жизнь вести разумную, это, видно, не понравилось? Ну, а сестрица его, внучка Наташенька, она-то чего отвернулась от бабушки? Да и что думать об этом: отчего да почему? Отчего бы там ни было, а отвернулись от нее внучата, и сами к ней не заглядывают, и ее к себе не зовут. Все ждала, все надеялась старушка, что это переменится, да не дождалась. Вот и теперь: неможется ей, — послала она записочку императору, пишет, что больна и просит навестить ее, ну и что ж? Он на словах велел ответить, что очень сожалеет, что посылает к ней дохтура и приказывает постоянно извещать его об ее здоровьи, а сам к ней быть не может — очень занят. Занятие его известное, на охоту едет, оттого и не мог навестить старуху. Думала, хоть внучка приедет, ан и внучки все нету — говорят, сама больна очень, правда ли, нет ли, как тут узнаешь! Прежде заезжал хоть немец, барон Андрей Иванович, да и он уж перестал ездить... Никому не нужна царица, все поняли, что нечего в ней заискивать...

Сидит она у открытого окошка и плачет; часто плачет теперь царица, бессилие одолело ее, только и может, что плакать. Ночь приходит. Ложится она в постель, никак заснуть не может, так всю ночь и ворочается с боку на бок. Уж зазвонили к заутрене; пойти хоть помолиться. Она кличет служанку, спешит одеться и бредет в церковь. Там становится она на свое место и поднимает заплаканные глаза к образу Богородицы. Все так же спокойно и милостиво глядит на нее лик Пречистой Девы; он зовет ее душу к покою и смирению, но все еще не может обрести этого покоя и смирения царица. Когда проходит тоска и слезы, тогда поднимаются в ней другие чувства: снова стучится старая жажда мести, но больше чем когда-либо, может быть, связаны ее руки, — право, прежде лучше было, ну заточение, ну и знала что это значит, а теперь ведь, окружили почетом и думают, что все сделали, что могут на этом успокоиться. Да, ведь нет больше обиды, какую она терпит теперь от внучат своих, ведь вот не захотели поместить ее во дворце, все сделали, только чтоб подальше, чтоб не видеть ее, не слышать о ней. Значит, противна она им, значит, прямо показать ей хотят, какую ее считают. Всю жизнь все обижали, а эти обиды, под старость, уж не по силам царице. «Что ж они, в самом деле, думают? Чем я так провинилась перед ними? Чем я их опозорила? Лучше меня, что ли, была их другая бабушка? — Той все прощалось;

да и сами они как живут?!«И недавнее чувство любви к Петру и Наталье заменяется в ней почти ненавистью. Смейтесь, смейтесь, издевайтесь, обижайте! — мысленно грозитя она им. — Погодите, все же я жива еще, еще не умираю, еще, может, вас переживу!.. Вон внучка, как цветок вянет, к земле клонится, грудь у нее все болит, кашляет, умрет того гляди... да и ты умрешь тоже скоро, государь мой внучек: не хватит тебя на эту жизнь разгульную, в такие-то годы! Сами себя погубите: я бы вас охраняла, я бы не допустила, я бы, как коршун, над вами стояла, ваших врагов отгоняла: не захотели, оплевали старуху, ну и погибайте!.. Ох, чует мое сердце, чует, что схороню я их, — думает, глядя на икону и уже не видя ее, Евдокия Федоровна, и не пожалею! К чему жалеть, разве они меня жалеют? Разве кто-нибудь когда пожалел меня?.. Но потом... что потом, кто сядет на престол русский? неужели она, эта писаная краля, дочь моего мучителя? Нет, еще подожди ты! Если при нем стала императрицей вторая жена его, жена при живой-то жене! Да не своя, а немка, так отчего ж и мне не быть императрицей? Я его законная наследница, я первая венчанная жена его, русская, православная, так неужели я уступлю место это Елизавете? Всю жизнь всем уступала, пора образумиться хоть перед смертью... Ох, что я, о чем это я думаю, разве тому можно статья?!

Но мысль уж пришла, после первой безнадежности, после долгой тоски и сознания своего бессилия; мысль пришла дикая, но соблазнительная, и теперь уж не уйдет она.«Что ж это, в самом деле, ведь может оно статья, почему знать, может быть, все идет только к этому, может, так самим Богом назначено?» — И никак уж не в силах отвязаться Евдокия Федоровна от этой, внезапно ее охватившей, мысли. Она дрожит, глаза ее горят, ей становится душно, она начинает чувствовать неведомое волнение, ей начинает казаться, что сейчас, сию минуту, должно совершиться исполнение ее замыслов, что уж никого их нет, что они умерли. Вот ей слышится под церковными сводами голос священника, он возглашает:«Благоверную государыню нашу, царицу Евдокию Федоровну». Да, она Царица, венчанная царица земли русской! Кругом нее все это ее подданные; в ее руках и гнев, и милость: все ждут с великим трепетом ее приказаний, ловят ее взгляды. Безумными глазами обводит она церковь, ей чудятся знакомые лица, толпа придворных... все смешалось: в среде их и

живые, и уже умершие люди. Но ей теперь кажется, что они еще живы, что они здесь, перед ней... сейчас, сейчас совершиться должно исполнение ее замыслов, сейчас усладится ее сердце мстью, старой, долгие годы копившейся мстью. Перед ней он, светлейший князь Меншиков, он, вечный враг ее... какую казнь придумает она ему? Нет, для него казни еще не придумано: колесовать его — мало! На кол посадить — мало!.. Подождет она, придумает... За ним стоят другие!.. Вот они падают перед ней на колени, молят о прощении, извиваются и пресмыкаются у ног ее. А ей смешно, она наслаждается их унижением; нет, не сейчас она казнит их: это было бы для них мало, она медленно станет пытаться их, как сами они ее пытали. Она станет оскорблять их, издеваться над ними, как и ее оскорбляли и как над нею издевались. И никого не пощадит она, пусть просят прощенья, пусть!.. Напрасно! Но кто ж останется? Врагов так много, все враги, и ни одного друга!..

Она выпрямилась во весь рост свой. Окружающие ее монахини с изумлением и страхом глядят на нее, так изменилась она. Голова ее трясется, лицо багровеет, губы шепчут что-то непонятное. И опять ей начинает казаться — ей кажется, что все эти враги лютые, лежавшие у ног ее и молившие о пощаде, поднимаются... ей слышится угрожающий крик их: «А! так ты хочешь погубить нас всех, но мы тебе не дадимся! Нас много — ты одна, хоть и царица, никто за тебя не заступится, нас много!..» И они кидаются на нее. Вот они уже ее окружили, она рвется, мечется, вырывается из рук их, но они скрутили ей руки... Дикий крик огласил церковные своды... Все кинулись к царице: с багровым лицом, с закатившимися глазами, она неподвижно лежала на полу церковном.

Бросились за доктором. Доктор объявил, что царица еще жива, что нужно ей пустить кровь, что с ней удар. Осторожно принесли ее из церкви и дали знать во дворец. Но императора там не было, он уехал на охоту с цесаревной Елизаветой, а великая княжна Наталья сама лежала в постели, слабая и больная. Одна только герцогиня Курляндская, Анна Ивановна, приехала в монастырь и весь день провела у больной царицы, и оставила ее только тогда, когда та окончательно пришла в себя и когда доктор сказал, что опасность миновала.

По тверской дороге, за селом Всесвятским, начинается сосновый лес и тянется на многие версты, доходит до реки Химки, идет по берегу, перебрасывается на другую сторону и опять тянется. Зимой в лесу этом много всякого зверя: и волки, и медведи водятся; летом птица дикая кишмя кишит по старым сосновым веткам. Привольно здесь охотиться: птица не напугана, не видала до сих пор человека, не слыхала выстрела. Тишина невозмутимая жила здесь долгие годы; трава стояла немая, и в траве цветы прятались. На лесных лужайках и везде, где доступ был солнцу, спели крупные ягоды земляники, черники и костяники, спели и осыпались: некому было собирать их, разве кое-когда деревенские девки из сел окрестных забредут сюда с кузовками, но они ходят все больше по опушке: вглубь боятся заглядывать, там страсти: медведь, зверь всякий!..

А вот теперь и тишина убежала из соснового бора: шум великий по нем слышится, гики, порсканье. То охотники Петра Алексеевича, то собаки его вверх дном лесную жизнь подняли. Изумленно слушает птица звуки выстрелов и падает мертвою, так и не очнувшись, не понявши, откуда пришла гибель. С утра раннего охотится государь молодой, заморился совсем, отдохнуть пора. И возвращаются охотники на широкую лужайку у высокого речного берега, где стоят шатры, где готов пышный ужин. С государем большая свита: все Долгорукие, на этот раз и Иван Алексеевич выехал, барон Остерман, есть и дамы: цесаревна Елизавета со своей фрейлиной, княгиня Долгорукая, Прасковья Юрьевна с дочерьми. Совсем замаялся юный император, едва ноги за собою волочит, лицо загорелое, потное, зато на сердце у него весело. Возвращается он ужинать с богатой добычей: сам сколько птицы всякой настрелял: ягдташи полные! Весело и радостно обращается он к цесаревне Елизавете и начинает рассказывать он ей свои охотничьи приключения, о том, как застрял он в болоте и как его едва вытащили, о том, как чуть в любимую собаку свою не выстрелил; много у него разных рассказов.

Барон Андрей Иванович подходит к императору и своим постоянно ласковым и почтительным тоном говорит ему, что если он попал в болото, так, наверно, промочил себе ноги, наверно, вода в сапоги забралась — нужно переменить обувь, не то простудится.

— Пустое! — весело отвечает император. — С чего мне простудиться? Теперь — лето. Устал я, это правда, да вот поем хорошенько, выпью немного, и усталость как рукой снимет. И не уговаривай меня, Андрей Иванович, не стану переодеваться.

Он садится ужинать. По одну его сторону — Елизавета, по другую — княжна Катерина Долгорукая. Ужин быстро исчезает в голодных желудках охотников и вина выпито изрядно. У всех языки развязались, поднялся смех, начались шутки, все веселы. Невесело только барону Остерману, невесело фавориту Ивану Алексеевичу, невесело и сестре его Катюше. Сидит она рядом с императором, не сама она так села, а ее посадили, только зачем, зачем это? Еще если б император особенно желал этого, благоволил бы к ней, а то ведь нет ничего. Вот он и внимания на нее не обращает, почти слова не говорит с нею. Ей гораздо бы приятнее было сидеть подальше, вон хоть бы там, на том конце стола, ее взоры обращаются туда часто, там между молодыми охотниками, спутниками императора, видит она красивое лицо с большими черными глазами. Эти глаза часто встречаются с нею, и она краснеет и опускает ресницы. И уж не первый день это — давно заприметила она молодого графа Миллезимо, родственника австрийского посланника Братислава. На балах она часто с ним танцевала, и уж четвертый день, как выехали они на охоту, он пользуется всяким случаем подойти к ней, сказать ей несколько слов и глядит на нее так нежно; совсем по сердцу пришелся ей этот молодой иностранец.

После оживленных рассказов Петр замолчал, видимо, утомленный. Он отказался от предложенного ему блюда, откинулся на спинку стула и вытянул ноги. У него немного начинала кружиться голова, речи присутствовавших стали сливаться. Вот он слышит, что князь Алексей Долгорукий говорит что-то, верно, очень смешное, все кругом смеются и он улыбнулся, но сам не знает чему улыбается. Тетушка Лиза нагнулась к нему и что-то шепнула, он не расслышал, он ловит ее руку, но она не дает руки. По-прежнему редко с ним ласкова Лиза, то есть не так ласкова, как ему бы хотелось. По целым месяцам иногда он на нее сердится, от нее удаляется, почти не говорит с нею, но долго сердиться на нее он не может — влечет она его к себе да и только, какая-то тайная сила у нее есть над ним. «Ну, а эта что ж? — подумал он, взглянув на княжну, — эта, пожалуй, не отвернется, не

станет сердиться, если возьму за руку... а ведь какая она хорошенькая! Вот еще недавно была маленькая совсем, а теперь вдруг как выросла, большая стала, совсем большая, уж ей шестнадцать лет...»

И он глядит на нее с улыбкой и говорит ей:

— Что ж ты ничего не кушаешь, Катюша?

— Сыта, государь, ведь я не ходила на охоту.

— Вот то-то, — смеется он, — зачем же не ходила, теперь бы и кушала много. Завтра непременно отправляйся с нами. Хочешь мы тебя нарядим охотником, дадим тебе ружье, славный ты будешь охотник!

Он берет ее руку и долго держит в своей, и глядит на нее с нежной улыбкой.

Долгорукие уже заметили это, зорко следят за каждым словом, за каждой миной Петра, только делают вид, что ничего не видят.

Катюша не отняла руки, но вся покраснела, смутилась и взглянула на императора таким испуганным детским взглядом, что он сам смутился, вдруг оставил ее руку и отвернулся от нее. Ему стало неловко. Он думает: «Нет, лучше, как Лиза, лучше бы и она отняла свою руку, а то что проку — не отнимает, а так жалобно смотрит...»

Наконец ужин кончили, сейчас будут запрягать экипажи: император со свитой поедут в ближнее село, где приготовлено помещение для ночлега.

Вечер теплый, душистый. Кто не так устал, пошли в рощу погулять немного; император остался с Остерманом и Алексеем Долгоруким.

Между высокими деревьями, в теплом полумраке летних сумерек, идет, грустно задумавшись, царица Елизавета. Она оглянулась и видит за собою Ивана Долгорукого.

— Ну что, любезник, опять за мною? — насмешливо говорит она ему.

— Опять за тобою, принцесса; поговорить мне нужно с вашим высочеством.

— Князь Иван, иди, оставь меня в покое, не хочу я речей твоих слушать, знаю, что говорить будешь. Уж очень ты занесся, о себе много думаешь, не статочное дело затеял...

— Прости меня, принцесса, за мои прежние глупые речи, теперь их больше не услышишь. Затем и иду за тобою, чтоб сказать это тебе.

Она глядит на него с изумлением. Что это такое? Он говорит серьезно и лицо у него такое печальное. Странно...

— Сам я знаю, — продолжает он, — как досаждал тебе своею дуростью, но сердце у тебя золотое... ты зла не помнишь.

— Коли ты это правду говоришь, князь Иван, так давай руку, я тебе зла никогда не желала; только надоедал ты мне очень. А теперь мне совсем уж не до любезностей и комплиментов.

— Знаю, знаю, принцесса...

Елизавета отвернулась от него и заплакала. Недавно она, действительно, понесла тяжелую утрату: умерла любимая сестра ее, Анна Петровна, и умерла далеко, в городе Киле, и не видала ее перед смертью цесаревна. С детства горячая дружба связывала ее с сестрою; много слез пролила она, когда та уезжала из Петербурга по проискам Меншикова. Потом дня не проходило, чтоб не получала цесаревна письма из Киля: или от самой сестры, или от общего друга их, Шепелевой, уехавшей с герцогиней голштинской. Все ждали сестры свидания, задумывали его на это лето. Веселые письма одно за другим приходили из Киля, и радостнее всего для Елизаветы было известие, что у сестры ее родился сын. Шепелева извещала, что здоровье Анны Петровны совсем хорошо. Император был заочно восприемником новорожденного, названного Петром. Цесаревна много подарков послала в Киль и сестре, и племяннику, сама шила ему маленькие рубашечки, вышивала разные одеяльца. И вдруг, в начале мая, получено страшное известие: Анна Петровна скончалась. Шепелева прислала письмо, все облитое слезами, рассказывала все подробно.

В Киле была иллюминация и фейерверк по поводу крещения маленького принца; герцогиня непременно хотела смотреть их и долго стояла у открытого окошка, а ночь была сырая, холодная. Придворные дамы и сама Шепелева уговаривали ее отойти от окна, хотели запереть окно, но она смеялась над ними и хвалилась своим русским здоровьем. И опять отперла окошко, высунулась в него и долго дышала ночным сырým воздухом. К утру уж чувствовала она себя плохо, а через десять дней скончалась.

Несколько дней после этого ужасного известия проплакала цесаревна, запершись у себя и никого к себе не пуская. Теперь вот она выехала на охоту, чтобы как-нибудь рассеяться. Забудет на час свою



утрату, оживится, но вспомнит снова, и защемит ее сердце, и плачет она неудержимыми слезами.

— Да, спасибо тебе, князь Иван, — обратилась наконец Елизавета к Долгорукому, утирая слезы, — а если б иначе заговорил со мною, так я, кажется, тебя на всю жизнь бы возненавидела. И если ты искренно говоришь, и если ты дашь мне слово, что не будешь больше приставать ко мне, так я стану твоим искренним другом.

— Клянусь тебе, принцесса, что и не заикнусь больше.

— Ну ладно, ладно, верю я тебе, князь Иван. Но вот, — сказала она, как бы сама с собою, — от одного жениха отделалась, а другой ведь еще остался на шее. Помоги мне, князь Иван, — опять пристают с графом Морицом Саксонским, скажи ты им, там кому надо, чтоб оставили меня, наконец, в покое. Сколько раз повторяла я всем, что не хочу замуж, и каждый-то Божий день нового жениха мне навязывают. Говорила всем, умер мой жених, которого мне матушка назначила, ну и, значит, не судьба мне, а то что это такое, то одного предлагают, то другого! Право, даже смешно подумать, что я за предмет такой для исканий разных нищих принцев! Да если б и хотела я замуж, так за Морица не пошла бы, ведь он известен повсюду: выгодных невест себе ищет. Так окажи услугу, помоги мне от него отделаться.

Князь Иван обещал все исполнить, и цесаревна ушла от него, ласково кивнув ему головою. Он остался один под деревьями леса.

— Ну вот, Наталья Борисовна, — сказал он себе, и блаженная улыбка на мгновение осветила все лицо его, — вот могу теперь к тебе явиться, хоть в одном успел поладить с собою! И пусть отсохнет язык мой, если еще когда-нибудь по-прежнему взгляну на принцессу, хоть она и краше солнца небесного и хоть еще с месяц тому назад, кажется, ни за какие блага в мире от нее бы не отказался. Но ведь ты краше принцессы, Наталья Борисовна, краше всего света Божьего! Я пойду за тобою, куда бы ты ни повела меня, всякая доля с тобою будет для меня счастливой долей!..

«Исполняется год, как я при этом дворе и, поверьте, этот год стоит двух, проведенных в другом месте. Дай Бог, чтоб не прожить здесь другого, — писал герцог де-Лирия в Испанию. — Здесь мы живем в полном спокойствии, и от скипетра до посоха, по французской пословице, не думают ни о чем, как только бы провести лето в сельских развлечениях».

Другие иностранные резиденты тоже извещали свои дворцы, что и представить себе невозможно тех интриг, которыми занимаются русские придворные. Все эти известия были совершенно справедливы: блестящий мирок, окружавший Петра II, дошел до какого-то бешенства. При дворе поднимались безумные сатурналии и в них мотались, прыгали, вертелись всякие люди: старые и молодые, мужчины и женщины. Каждый заботился только о сегодняшнем дне, старался единственно о том, чтобы извлечь как можно больше выгод для себя; о настоятельных нуждах государства, о бедах, грозивших империи, о событиях политических никто и не думал. Турки подступили к границам России, Киев находился в опасности; шведы того и гляди соединятся с турками; англичане готовят свои козни — но никому до этого нет никакого дела. Внутри Империи тоже всякие безурядицы: народ недоволен, все жалуются, все находят, что никогда не бывало таких беспорядков — точно вернулось смутное время самозванщины, а сановникам русским, людям, держащим кормило правления, не до высших вопросов: как бы только повеселиться, удержаться в милости царской — вот о чем они думают. Один барон Андрей Иванович, как вол, работает, старается уладить и то и другое. Много у него силы, крепкая, светлая голова на плечах держится, но ему не совладать с «недостроенной, развинтившейся машиной». Руки у него опускаются, и по временам общая сатурналия и его захватывает, и он мечется, вертится и прыгает вслед за другими, ведет интриги: о своей голове заботится. Повалили колосса петровского, светлейшего Меншикова, думали, дело сделали, думали, все вздохнут свободнее, все пойдет без него, как по маслу, а не то вышло! И хоть из негодного материала был создан колосс этот, но все же вложена была в него какая-то могучая, истинная сила, и крепко держал он этой силой на глазах его выстроенную машину. Все, что было в нем человеческого, заветного, все поднималось, когда думал он о машине, она была дорога ему.

Но, конечно, никому и в голову не приходила возможность снова вернуть Меншикова, напротив, судьба его окончательно решилась; милостивое сначала решение императора было изменено, как мы уже видели. Время от времени всплывали на поверхность старые грехи Александра Даниловича и раздражали Петра. Вон нашли у Спасских ворот подметное письмо в пользу Меншикова; вон из военной и других коллегий и канцелярий подают доношения, что светлейший взял из казны деньги и материалы, и требуют теперь возвращения взятого из его пожитков. Нельзя же все это так оставить. Меншикова сослали в Сибирь, в Березов, отобрали у него все, и положили ему с семейством по шести рублей в день кормовых денег. Сестру княгини Дарьи Михайловны, Варвару Арсеньеву, женщину хитрую и пронырливую, оставившую по себе дурную память, постригли в Сорском монастыре и дали ей полполтины в день. Сам князь Александр Данилыч, разбитый вконец, пораженный горем, еле волочил ноги. Про него рассказывали, что он, наконец, смирился, что молится Богу, несет черную работу и с каждым днем слабеет. Если б знал он да ведал о том, что творится в его отсутствие, о том, какой позор готовят алчные придворные России, если б знал он, что старые вельможи из всех сил стараются задержать императора в Москве, не пустить его в Петербург, заставить его позабыть дедовский город, от одного этого известия умер бы Александр Данилыч. Но к нему не доходили никакие известия...

Москва совсем пришлась по нраву императору, и с каждым днем Петербург казался все скучнее и скучнее. Остерман был в полном отчаянии, не знал что и придумать, чем убедить Долгоруких отказаться от их плана. Подружился он с Алексеем Григорьевичем, да рассорился с фаворитом, а в фаворите, покуда, вся сила.

И вот Андрей Иванович себя забывает, забывает чувство собственного достоинства и всячески старается угождать Ивану Алексеевичу, только чтоб тот с ним примирился, сблизился хоть немного. Иностранцы собираются между собою и с ужасом толкуют о том, что произойдет, если Петербург будет окончательно оставлен. Но больше всех стоит на возвращение к берегам Невы герцог де-Лирия. Это ловкий, умный, красноречивый человек, сразу сумевший поставить себя на первое место и заслужить расположение всего царского семейства: великую княжну Наталью он

пленил рассказами об Испании и о прекрасном дон-Карлосе; расположение Петра снискал обещанием выписать из Испании андалузских лошадей и мулов; придворных веселит у себя в доме, задает блестящие празднества, не жалеет денег. Одна только прекрасная цесаревна не по душе пришлась герцогу: то и дело бранит он ее в своих письмах, посылаемых на родину. С Остерманом он большой друг и в то же время друг Ивана Долгорукого, который часто приходит к нему, говорит с ним по душе, жалуется на безобразную компанию, окружающую императора, и чуть не со слезами уверяет, что хочет совсем удалиться, чтоб только не видеть, как губят молодого монарха. Но и ловкий герцог де-Лирия ничего не может придумать: «не выедут из Москвы, не выедут!» Конечно, все же нельзя оставлять этого дела, нужно пробовать все средства. Он часто навещает Остермана и подолгу толкуют вдвоем, и все-таки никак не могут столкнуться.

Лето в полном разгаре. Почти все придворные переехали на дачи. Жарко. Но герцог де-Лирия не смущается этим, и в самый полдень едет к Остерману. Сегодня обо многом нужно переговорить. Вот вчера был у него фаворит и объявил, что и цесаревна Елизавета и весь двор решительно восстают против плана относительно Морица Саксонского, что она ни за что не хочет выходить замуж. Герцог де-Лирия увидел из слов этих, что фаворит больше и больше начинает подумывать о собственном своем браке с Елизаветой. Непременно весь вчерашний разговор нужно сообщить Остерману и потом обо всем подробно отписать к своему двору.

Барон немедленно принял де-Лирия, но перед входом в его комнату герцог заметил, что в другую дверь входил князь Алексей Долгорукий с обоими своими сыновьями: Николаем и Иваном; заметил он также, что Иван Алексеевич при взгляде на него покраснел и смутился.

«Что бы это значило?»

Герцог де-Лирия, как светский и любезный человек, постарался сократить свой визит и уехал. А на следующее утро отправился к князю Ивану. Долго и наедине поговорить им не удалось. Князь Иван шепнул ему только по поводу вчерашней встречи, что Остерман забрал себе в голову смелые мысли.

— И представьте, герцог, вдруг он обращается ко мне и говорит, а сам чуть не плачет: я, — говорит, — впредь с его величеством ни о каком деле толковать не стану больше, разве что в вашем присутствии. Потом стал просить меня удостоить его моей дружбы!..

Де-Лирия внимательно слушал.

— Ну что же, князь, что вы ему ответили?

— Конечно, я сказал, что очень рад.

Тут вошли посторонние и разговор их прекратился.

«Надо опять ехать к Остерману и узнать в чем дело. Это хорошо, что между ним и фаворитом лады начинаются. Ах, если бы удалось что-нибудь!»

Герцог вернулся домой, а там уж его ожидал посланник Бланкенбург, который остался у него обедать. После обеда этот посланник прямо начал следующую речь:

— Я знаю, как вы желаете добра этой монархии герцог, и никому, кроме вас, не могу открыть своего сердца, потому что вы вашим влиянием можете много добра сделать...

Герцог молча слушал, а посланник продолжал:

— Ведь сами знаете, что царю непременно нужно возвратиться в Петербург, и не только потому, что там ближе к другим государствам Европы, но и потому, что там будет на его глазах флот, которого ждет гибель, если его величество останется здесь. А русские только и думают о том, как бы удержать царя в руках, — вы ведь так дружны с ним, уговорите его в необходимости переезда в Петербург. Он человек все же благоразумный, хорошие резоны понять может. Скажите ему, что таким образом действий он ведь многое заслужит себе перед венским двором. Ну, понимаете, мало ли что пообещать ему можно...

Герцог де-Лирия отвечал, что сделает со своей стороны все, чтобы убедить Долгоруких, как только царь возвратится с охоты в город.

Наконец посланник уехал, а де-Лирия уж и не захотел в этот день отправиться к Остерману. Он теперь все понял. Конечно, во время визита Долгоруких к Остерману шел разговор о возвращении двора в Петербург; конечно, Остерман представлял все свои доводы и кончил тем, что все силы стал употреблять чтоб сблизиться с фаворитом. Посланник Бланкенбург, конечно, приезжал к герцогу по поручению

Остермана. Да, нужно будет всячески постараться. И герцог поспешно принялся писать донесение своему двору обо всем случившемся.

И такие сцены повторялись очень часто. В этих занятиях, разъездах друг к другу, скрывании друг от друга, шептании и переговорах проходило все время. Но между тем дело нисколько не подвигалось, все оканчивалось одними разговорами.

Молодой император и слышать не хотел о возвращении в Петербург. А князь Иван, с одной стороны, под давлением своего семейства, с другой стороны, по твердо выраженному требованию императора, не смел ни о чем заикнуться. И снова продолжались охоты, и снова придворный мир метался бессмысленно. Между тем отовсюду приходили тревожные известия. При дворе толковали, что приехал из Украины курьер с вестью о том, будто татары, в числе пятидесяти тысяч, готовы подняться и наводнить пределы России; что фельдмаршал Долгорукий, который должен был из Персии возвратиться в Москву, приехал в Царицын и на пути имел встречу с татарами, которая неизвестно чем кончилась. Кроме того, в Астрахани появилась моровая язва, а в Казанском царстве столько разбойников, что нельзя путешествовать без многочисленной стражи, и опасаются, что в непродолжительном времени они и в Москве появятся.

## XI

Вернувшись в Москву с охоты после странного и неожиданного разговора с Иваном Долгоруким, цесаревна Елизавета окончательно заперлась у себя и отказывалась сопровождать императора. Он пришел к ней, сделал ей сцену, но все же ничего не добился. Она говорила ему, что ей теперь не до забав, наконец, заплакала. Он ушел раздосадованный и смущенный.

«Ну что ж, ну что ж, если не хочет, так и не надо!» — раздражительно повторял он себе. И с тех пор стал опять сердиться на красавицу тетку, не приглашал ее на охоты.

К концу лета она вздумала отправиться на богомолье в Сергиевскую лавру. Она поехала с небольшой свитой, очень часто выходила из экипажа и шла пешком много верст. Три дня молилась она

у мощей св. Сергия, а возвратный путь весь сделала пешком, утомилась и теперь лежала больная, никого не принимала. Ее приближенные замечали, что со времени известия о смерти сестры цесаревна стала совсем другая: пропала ее живость и ее беззаботность, даже похудела она и побледнела. И не одно горе, и не одна утрата любимой сестры изменила цесаревну, вообще все дела ее стали идти очень плохо.

Она лежит, окруженная сгущающимися сумерками, и печально думает... Нет, ей никаким весельем характера не помочь, видно, себе: с каждым днем все больше и больше врагов у цесаревны. И откуда они берутся! И что все это значит? Ну, если б еще нрав был у нее крутой, если б замышляла она что недоброе, а то ведь нет — со всеми ласкова и приветлива, никому ни в чем мешать не хочет, только чтобы ей жить не мешали. Боятся ее влияния на императора, да что ж у нее такое за влияние? Что она ради него делает? Во всем перечит племяннику, никаких его нежностей не допускает: раза три наотрез отказалась быть его женою, а все же недовольны. И Наташа сердится, и он сердится, и все враждуют. Прежде вот Остермана другом считала, а теперь видит, что и он пристал к врагам ее. Она хорошо замечала, что хитрый Андрей Иванович всячески потворствовал планам Ивана Долгорукого, когда тот забрал себе в голову жениться на ней: обоих их хотелось погубить Остерману. Вот как заплатил хитрый немец дочери за отцовские милости! Всячески хотят выжить ее из России. Просит она, молит, чтоб ни о каких женихах ей не говорили, а они каждый день нового жениха придумывают, то одного предложат, то другого. Стала она у себя запирается. Ни во что не вмешиваться, живет тихо, скромно, а все же до нее долетают разные неприятные слухи. При дворе толкуют о каком-то ее дурном поведении, но ничего дурного не знает за собою цесаревна. Прежде вот веселиться любила, наряжалась, пиновала, а теперь веселье на ум нейдет, ни на кого бы не смотрела. Один человек только мил ей — Александр Борисович Бутурлин. С ним она отводит душу. Он хорошо ее понимает, умеет отгадывать каждую мысль ее, каждое чувство. Так вот в ком дурно ее поведение, в ее дружбе с этим человеком. Но что ж это, наконец, такое? Этак нужно от всего отказаться, все наперекор душе своей делать! Да ведь и тогда лучше не будет — найдут чем попрекнуть — всегда найдут. И хочется цесаревне, чтобы все ее позабыли, чтобы быть ей простой девушкой и

самой распорядиться своей жизнью. Ничего так не любит она, как простоту и свободу, ну любит еще, может быть, наряды, да ведь это не грех великий в ее годы.

Печальные мысли цесаревны перебила вошедшая фрейлина. Она доложила ей, что Нарышкин, ее гофмаршал, желает ее видеть, что очень ему нужно.

— Еще что? Ах, Боже мой, да ведь я больна. Как же могу я принять его! Ну да, впрочем, ничего, пусть войдет, только дай мне большое одеяло.

Цесаревна закуталась в поданное одеяло и ждала Нарышкина.

— Что там такое? Какие напасти? — встретила она его.

— Истинно, что напасти, ваше высочество; нас уж и Верховный Совет теснить начинает. Обратились ко мне письменно, узнали, вишь, что ваше высочество, имея свои доходы и поместья, все же получаете столовые деньги из царского дома, что ваши счета очень велики...

— Ну, так что ж? Я ничего не понимаю.

— Да вот, ваше высочество, уж не знаю я, как и быть. Точно, что у нас хозяйство плохо ведется, всякий тащит себе, что хочет, вина одного сколько выходит, ужас! Вот они объявляют, что без моего требования ничего отпускать не станут. А я прошу уж вас, увольте меня, я не стану ни во что мешаться.

— Да что ж мне самой входить во все это, что ли? Неужто моим гостям и людям не пить, не есть, а мне каждый кусочек учитывать? Не привыкла я к этому. Так только-то и всего? И затем-то вы пришли ко мне?

Нарышкин пожал плечами.

— Это не так пусто, как вам кажется, принцесса.

— Нет, это очень пусто. Пожалуйста, меня не тревожьте, я нездорова. Придет государь, скажу ему, и нас не будут беспокоить из Верховного Совета.

Нарышкин с недовольным лицом вышел, а Елизавета снова погрузилась в свои мысли.

Из окон неслись завывания ветра; мелкий дождь зарядил; небо — одна туча серая, непроглядная. Все это еще больше раздражает цесаревну! Тоска ее давит, скучно, душно.

— Призовите ко мне девушек, — говорит она фрейлине, — да сами все придите, песни, что ли, мне спойте, тоска такая...



В ее спальню собираются девушки–служанки и фрейлины.

— Спойте мне что-нибудь, спойте, да веселое! — потягиваясь, говорит Елизавета. Они запевают песню, но выходит невесело — старая знакомая песня, напев такой тоскливый. Откуда взять иного — нету!

— Перестаньте, замолчите! — со слезами в голосе останавливает их цесаревна, — лучше расскажите что-нибудь, какие новости?

Новостей нет особенных, все те же. Толкует девушки, что князь Долгорукий, Иван Алексеевич, все больше и больше бесчинствует. Вишь, теперь в дом к Шереметевым повадился, видно, с пути сбить хочется ему молодую графиню.

— Слышала уж я это, — тоскливо отзывается Елизавета, — много про него болтают, а разобрать хорошенько, так немало и врак окажется. Про меня еще пуще того болтают. Ах! Тошно мне, тошно! — мечется на своей постели красавица. — Оставьте меня, уйдите, позовите ко мне Аринушку.

Девушки выходят, и на место их появляется старая старуха. Совсем уж в землю она смотрит; от лет спина дугой согнулась; лицо, что яблоко печеное, во рту ни одного зуба; из-под кички редкие седые волосы выглядывают. Постукивая палочкой, подходит она к постели цесаревны и низко кланяется.

— Государыня моя, матушка, пресветлая моя царевна, что прикажешь? Зачем звать изволила?

— Присядь-ка ты сюда, Аринушка, — ласково говорит ей Елизавета. — Скучно мне нынче, тоска берет меня. Думала, девки песнями развеселят, а они еще пуще скуку нагнали. Так хоть ты, нянька старая, придумай мне забаву какую, чем хочешь развлеки меня.

— Ах ты, моя сердечная, — шамкает старуха, беспрестанно как бы жуя что-то беззубым ртом, — светик ты мой ясный, чем я тебя забавлю? Была ты махонькая, так сказки тебе сказывала...

— Ну вот теперь и расскажи, нянька, сказку, хоть детство вспомню счастливое!

И старая Аринушка заученным, монотонным голосом начинает свою сказку. И начинает она ее все с того же, что, дескать, за тридевять земель, в тридесятом царстве жил–был царь с царицей, а у них три сына...

С детства знакома царевне эта сказка, ничего, кажись, нет в ней занятного, а только с каждым ее словом теперь ей детство вспоминается — совсем другое время, жизнь другая, и отраднo все это вспомнить Елизавете, и жадно слушает она старую няньку. Вот повернулась на своей постели, поближе к рассказчице, подперла рукой голову и глаз не спускает со старого лица, и у самой глаза загораются, а на губах мелькает совсем детская, ясная, беззаботная улыбка. Но сказка кончена, обаяние милых воспоминаний исчезло: опять тоска и скука. А тут нянька еще подгадила: напомнила милую сестру-покойницу, разревелась старуха, а с нею вместе плачет, рыдает и не может удержаться и царевна. Вот и старуха ушла, и опять никого нету...

Фрейлина докладывает, что Александр Борисович пришел справиться о здоровье принцессы.

— Он здесь? — оживилась Елизавета.

— Здесь, рядом.

— Позови его!

«Ну что ж, — думает Елизавета, — ведь все равно Бог знает что уж говорят, пусть скажут: в постели принимаю и Нарышкина, и его, и всех, пусть говорят, мне-то какое дело...»

Бутурлин вошел.

— Сюда, поближе! — шепнула цесаревна, протягивая ему свою прекрасную руку. — Вот как я непристойно веду себя, Александр Борисыч, молодых людей нынче в постели принимаю явно, у всех на глазах!

— Да зачем же, я уйду... В самом деле, не след пищу злым языкам давать.

— Что ты это, что ты, и ты туда же! Да мне-то, говорю, какое дело, ведь не стану я другая от этого. Какова есть, такую и останусь. Совсем я разбита с дороги, сил нет одеться, а тоска такая, что рада приходу твоему, как солнцу небесному. Совсем меня забижать стали, друг мой сердечный!..

Она сморгнула слезы.

— Вот узнала, что тело сестрицы привезут скоро, вся душа разрывается. Вспомни, голубчик, еще недавно какие веселые письма получала! Не ждала я, не гадала, что случится такое...

Бутурлин спешил ее всячески успокоить, как-нибудь отогнать от печального предмета ее мысли, но это было ему не по силам.

— Ведь вот у других, — говорила она, — близкий человек один умирает, так другие близкие люди, другие друзья остаются, а ведь у меня нет друзей, кто мне теперь после сестрицы остался! Ты, что ли,

Александр Борисыч, так ведь и тебя, пожалуй, через меня сживут со света, ушлют куда-нибудь...

— Ну, это еще посмотрим, еще не очень-то дадимся, — стараясь весело улыбаться, проговорил Бутурлин. — Уж я-то, цесаревна, не сгину с глаз твоих, кажись, с того света, свистни ты только, и, как лист перед травой, явлюсь я перед тобою!

— Хорошо, хорошо! — улыбалась Елизавета. — Я так и знать буду, помни!

Таким образом долго они беседовали, и мало-помалу стихала тоска царевны, и мало-помалу прежняя радостная улыбка разливалась по лицу ее, и не думала она о том, что не подобает царевне жить так просто, что глаза острые, языки длинные со всех сторон следят за нею и далеко разносят молву недобрую. Лишь бы зла в сердце не было, лишь бы людям несчастья не желала, а другое что простит Бог милостивый.

## XII

Погода разгулялась, дожди прошли, и высушило солнце сырую землю. Весело император выехал на охоту. Только на этот раз в его свите не было княжны Долгорукой, Катюши. Простудилась она, видно: ночью жар у нее был, ну и оставили ее дома. А уехали все — Катюше вдруг лучше стало. Может, и болезнь-то вся была только хитрость девичья. Уж очень не любит она этих выездов, а особенно когда в свите царской нет молодого графа Миллезимо. А что на этот раз его нету, про то наверно знает княжна.

Час уже шестой в исходе. Солнце к западу склоняется. Скучно одной в комнатах Екатерине Алексеевне; накинула она атласную на легонькой вате стеганую куцавейку и сошла в сад. Тихо бредет по дорожке: на песке, не совсем еще высохшем от дождя вчерашнего,

остаются следы ее маленьких ножек. Сад поредел: иные деревья совсем осыпались, другие стоят желтые, третьи ярко-красные, как огонь горят на солнце. Листьев опавших видимо-невидимо: покрыты ими дорожки. Спускается княжна с пригорка, подходит к садовой ограде, а у ограды садовой уж кто-то ее поджидает.«Он, это он!» — радостно говорит себе княжна, и с румянцем, ярко на щеках вспыхнувшим, осматривается она во все стороны... никого нет, дом далеко, хоть и поредели деревья, а все же не видать его за ними. Все уехали: батюшка и матушка, сестра и братья, некому подсмотреть, и княжна машет рукою молодому человеку, стоящему за оградой.«Перелезай, мол, никто не увидит!»Он только и ждал этого и во мгновение ока вскочил на решетку и был перед княжною.

Что ж это княжна Катюша? Давно ли она была маленькой девочкой и о детских забавах только думала, и вот теперь ишь какое дело делает: родных всех обманула, больною сказала, красивому юноше свидание назначила...

Вот она протянула ему обе руки, вот он ее нежно обнял, а она не противится, сама его поцеловала. Уж очень хорош он, мил ей: как для других — не знает, а для нее на всем свете нет милее человека. И видно, что больно молода княжна Катюша, будь постарше она, так, пожалуй, он ей бы не понравился: как с картинки сорвался молодой граф Миллезимо. Росту небольшого, худенький да тоненький, черты лица мелкие, усы в струнку выведены, волосы темные, мелкими кольцами завиваются, сам он почти мальчик. Не видно в глазах его мысли строгой, серьезной, ума ясного, но зато нежно так и умильно, с детским счастьем улыбается он Катюше. Идут они рядом в дальнюю аллею и садятся на скамеечку, говорят без умолку, а что говорят, и сами не знают: смех беспричинный, неведомо откуда приходящая радость.

— Какая же ты смелая, какая же ты умная, княжна моя милая, — говорит Миллезимо, — думал я: ни за что того не будет, не придешь ты.

— Мало ты меня знаешь, мой миленький, — смеется и гладит его по сердцу своими глазами княжна Катерина, — уж если сказала я что-нибудь, то и сделаю, такой мой характер!

Но вдруг она что-то вспомнила, видно, грустное, и затуманились ясные глаза ее.

— Вот мы смеемся тут и радуемся, и любо нам и весело, а ведь плохие дела наши, мой милый; совсем житья мне нет дома, и подслушала я третьего дня, что точно, во что бы то ни стало, задумали выдать меня за государя.

Миллезимо побледнел и испуганно взглянул на нее.

— Да что ж это такое, так, значит, тебя насильно выдавать будут? Ведь у вас в России это сплошь бывает. Как же я-то останусь?!

— Авось, Бог милостив, и потом... потом есть одно средство: коли ты очень любишь меня, как говорил мне, так все сладится.

— Как же, как же, научи меня!

— Вот, — усмехнулась княжна, — всему я тебя должна учить, сам ничего ты не придумаешь. Ну скажи, скажи, как там у вас делается, в земле вашей, если девушку родные не хотят выдать за того, кого она любит? Неужто ж тем все и кончается, что расходятся они в разные стороны... ну, а коли так у вас, так у нас другое: у нас, если человек точно крепко любит, если он храбрый и смелый, так он без родительского согласия увозит свою невесту, а она идет за ним. Потом, как обвенчаются, тогда уж делать нечего, поневоле простят родные, а коль не простят, так она и родных забудет, с милым другом убежит хоть на край света!

— Вот ты какая, вот ты что придумала! — радовался Миллезимо, целуя ее руку. — Ведь и я об этом думал, да боялся сказать тебе, не знал, как ты взглянешь. Да нет, видно, ты точно смелая, видно, очень меня любишь, не обманула.

— Господи, к чему же мне тебя обманывать, не любила бы тебя, так может теперь же уж стала бы царской невестой...

— Так, значит, согласна, значит, и убежишь со мною?

— Да, да, сказала раз, так назад не пойду.

— Только как же мы это сделаем?! — задумался Миллезимо. — Ох, трудно, уж и не знаю, как это будет. Ведь этакая обида, что сродни мне Вратислав: такую они историю поднимут... да и твои тоже, пожалуй, и убежать-то не дадут нам, мигом и догонят.

— Конечно, трудно, что и говорить, — заметила княжна, — да знаешь ли ты, есть у нас одна пословица такая: «волка бояться, так в лес не ходить». Ну вот ты и помни, и помни, заруби у себя на носу!

И она своим тоненьким, розовым пальчиком ударила по носу графа Миллезимо. Он завладел этим пальчиком и стал целовать его.

— Да ведь и не сейчас это! — снова заговорила Катюша. — Еще что-то будет, может, и так обойдется. Авось, женится царь на ком-нибудь, ведь не нравлюсь я ему, вот счастье-то!

Миллезимо счел своим долгом заявить о том, что у государя весьма плохой вкус. Но княжна не обратила никакого внимания на это замечание. Она стала расспрашивать молодого человека о том, как им жить придется. Он говорил ей про свою родину, и не замечали они, как шло время. Пора вернуться домой княжне Катерине, не то ее искать станут; а приедут домой отец с матерью, так донесут им, что сказала она больною, а сама весь вечер гуляла по сырости. Делать нечего, простилась она со своим красавчиком. Он так же быстро, так же ловко перелез через забор, а она тихонько пошла к дому, как будто ни в чем не бывало, оглядывалась по сторонам, прислушивалась; все тихо, пусто, никого нет, никто не подглядел их, не подслушал. А дома ее дожидалась графиня Шереметева.

— Что это, Катюша, — сказала она ей, — говорили мне, что ты больна, в постели, а тебя и дома нет, гуляешь по саду. Весь сад я обежала, искала тебя, где ты пропадала?

— Как, ты была в саду? — невольно покраснев, спросила княжна.

— Да, была в саду. Что ж ты покраснела, что это значит?

— Ничего, право, ничего, только я удивляюсь, как это мы не встретились.

— Нет, тут есть что-то такое! Катюша, не отвертывайся, расскажи мне все скорее.

Но Екатерина Алексеевна стала уверять, что ничего ровно нету. Она ни за что не поведаст никому своей тайны. Она проклинала себя за свой глупый вопрос и с ужасом думала, что вот, пожалуй, Наталья Борисовна как-нибудь проговорится при брате, станут следить за нею, и плохо тогда будет.

— Наташа, как тебе не стыдно, право, что ты такое подумала, даже в краску вогнала меня. Ведь вот этак при ком из наших, да при брате еще Иване скажешь что, так мне проходу не будет.

— С какой стати я стану говорить кому-нибудь? Слово даю тебе, ничего не скажу.

— Будь друг, пожалуйста, я и так не знаю, куда деваться от брата.

Наталья Борисовна вспыхнула и быстро сказала:

— Что это вы все его так не любите, что в нем дурного?

Княжна Катерина презрительно улыбнулась.

— Видно, мало ты его знаешь, коли спрашиваешь. Да и не дай Бог тебе знать его. Такого человека я и не видала никогда, как брат мой Иван. Теперь знаешь ты, чем они все заняты, а он пуще всех: хотят уговорить государя, чтоб он на мне женился, меня хотят силой выдать. А сам Иван о принцессе Елизавете подумывает.

— Нет, это неправда! Это неправда! — то бледнея, то краснея, вдруг даже встала с своего места Наталья Борисовна.

— Правда, коли я говорю тебе. Не стану лгать, давно уж своими ушами все слышала.

— От кого слышала, говори, от кого?

— Да от него же от самого: перед отцом и дядей похвалялся, что будет мужем царевны.

Наталья Борисовна хотела сказать что-то, но язык ее не послушался, она побледнела, как смерть, и, пошатнувшись, опустилась в кресла.

Катюша так была занята своими мыслями и негодованием против брата, что ничего не заметила.

### XIII

Глубокая осень. Снег валит хлопьями и засыпает равнины, леса, деревни. Неподвижно стоит густая чаша; ни листка не осталось на ветках. Не слышно в них летного свиста и пения. Далеко разлетелись птицы, и только изредка по голым сучьям прыгает белка, отряхает снег со своих лапок и спешит скорее в нору. Внизу на рыхлом, едва выпавшем снегу кое-где заметны следы звериные, но зверей не видно: попрятались они.

На опушке леса начинает кружиться метелица и вздымает снежную пыль.

Одинокий, откуда-то забежавший заяц попал в эту самую метелицу и сидит, прижав уши, изумленно поглядывая во все стороны. Пушистая шерстка раздувается на нем, и долго не может он понять, куда это он забежал, и долго соображает, как ему возвратиться.

Снегом совсем замело дороги, едва различить их можно.

Тихо, тихо становится, так, что всякий далекий звук несообразно усиливается и изменяет свое значение, и потом опять тихо, все мертво, все печально.

Но вдруг понеслись откуда-то разнообразные, странные звуки. Издали слышится, как что-то ломает сучья: из-за частых деревьев на белую полянку тяжело и медленно выходит медведь. Его дикий рев оглашает немую окрестность, и бедный заяц совсем прижимает уши и готов зарыться в снег, дрожит всем телом, и ни с места. Медведь медленно проходит по полянке и опять углубляется в чащу, а далекие звуки все ближе и ближе! То не рев звериный, то крики и гиканье людские.

Вот за поворотом лесной дороги показались кони, впряженные в огромные пошевни, и много коней, и много пошевней, и все тройки ямщицкие. Из всех сил коней погоняют, и мчатся лихие кони, не разбирая дороги, поднимая кругом себя столбы снежной пыли, залепляя этой пылью глаза ямщику и седокам.

— Скорее! Скорее! — раздается чей-то голос.

Красавец юноша с бледным, испуганным лицом, с глазами, покрасневшими от слез, то и дело повторяет: «скорее! скорее!»

И мчатся сани, и вылетают из леса. За первыми пошевнями едва поспевают другие. В них сидят охотники и собаки. То в Москву возвращается император с охоты. Более недели не был он дома. Охота шла хорошо. Думал он еще несколько дней остаться...

Отчего же так спешит он в Москву, отчего, задыхаясь, ежеминутно повторяет ямщику: «скорее! скорее!» «Отчего он так бледен и заплаканны глаза его?»

Рано утром сегодня прискакал к нему гонец от барона Остермана. Барон пишет, что сестра очень плоха, совсем она умирает. И, не взвидя света, помчался юный император, и тоска разрывает его сердце. Не знает он, что поделаться с собою, и кричит уже совсем охриплым голосом: «скорее! скорее!»

Уже въехали в город, близка немецкая слобода. Вот уже и дворцовые стены перед глазами. Тошно глядеть на свет Божий императору.

«Жива ли, жива ли?! — думается ему, и тут же приходит мысль. — Да разве это возможно, разве она может умереть, разве она умрет?!»



Может быть, Андрей Иванович ошибся. Но зачем же так пугать меня, зачем так мучить! А что если умрет в самом деле, как я без нее буду?!»

Подъехали к дворцу.

Шатаясь, вышел Петр из пошевной и, себя не помня, кинулся в покои. Андрей Иванович встретил его. Юный император глядит на своего воспитателя и сразу видит, что тот не обманывал его. Остерман бледен; уже он не скрывает глаз своих, а глядит прямо, печальным, испуганным взором.

— Ну что, что она? — боясь за ответ, едва может выговорить император.

— Плоха, государь, всю ночь металась...

— Да как же вы раньше-то за мной не послали? — отчаянно схватился за голову Петр.

— Сами не ведали, что так плоха: ото всех царевна скрывала болезнь свою... ну, а к ночи не смогла, застонала.

— Я хочу к ней!.. Пустите, дайте мне взглянуть на нее!

Но его не пускают. Царевна только что немного заснула, всю ночь не смыкала глаз. Авось, этот сон подкрепит ее.

Приходит одна страшная мысль императору: что если он обманут, что если она не заснула, а умерла уже, и его оттого не пускают?! И он рвется к ней в комнату, Остерман едва в силах удержать его.

Он уверяет, что она точно заснула. У всех придворных вытянуты лица; все боятся и подойти к императору. Один только испанский посланник, герцог де-Лирия, подошел и заговорил с Петром Алексеевичем.

— Успокойтесь, ваше величество! Есть одно средство и его, наконец, теперь испробовали, и вот царевна заснула.

— Какое же это средство?

— Я давно уже рекомендовал его, давно уже говорил, что надо к нему обратиться. Если бы тогда меня послушали, не было бы этого. Это верное средство: женское молоко. Вот только что выпила царевна и заснула. Успокойтесь, государь, Бог даст все поправится.

— Ах, дай-то, Боже! Дай-то, Боже! — шепчет император и сразу верит в целебность этого нового средства, и сразу надеется, что оно непременно излечит ему милую сестру.

Но как бы ее увидеть! Ах, как долго тянутся минуты. Ни за что приняться не может император. Ходит он по комнатам, то

погруженный в какое-то оцепенение, то начиная ломать руки и обливаясь слезами.

— Скажите мне в ту же минуту, как она проснется, ради Бога! Я не могу так оставаться, я должен ее видеть...

Наконец она проснулась, и ему об этом доложили.

Недолго спала бедная царевна, всего с полчаса каких-нибудь.

Петр, вдруг побледнев, как смерть, с пересохшим горлом и дрожащими руками, вошел в ее опочивальню. Вот она на постели. Как она бледна, и как горят глаза ее!

Он только теперь, сейчас, заметил ту страшную перемену, какая произошла в ней за последнее время. Он так занят был весь своим весельем, своими охотами и придворными пирами, что не смотрел пристально на сестру, а она давно уж больна. Она так страшно изменилась. О! Какой дурной он брат, какой злой брат! Глубокое отчаяние изобразилось на лице его. Он протянул к сестре руки, бессильно упал на колени перед ее постелью, зарыдал неудержимо и безумно, спрятал лицо в ее одеяло и долго не мог поднять глаз на нее. Ему казалось, что встретят его эти милые, родные глаза с немым упреком. Он чувствовал, как виноват перед нею. Ему уже начинало казаться, что он прямо ее убийца.

— Петруша, голубчик! — расслышал он вдруг у самого уха ее слабый шепот и зарыдал еще пуще. — Петруша, успокойся, Господь с тобой, — снова и еще слабее проговорила царевна. — Посмотри на меня.

Он взглянул, и что же?! Нет немого упрека в глазах ее, и смотрят они на него с бесконечной любовью, с прежней, с детства памятной, сестриной лаской.

Вот она протягивает ему свои прозрачные, исхудавшие руки и говорит ему: «Милый братец, посиди со мною. Да не плачь, успокойся, мне лучше, право, лучше, Бог милостив, я выздоровею. Не мучь себя, не то сам еще заболеешь!»

О! Как может она теперь о нем думать! Как может кто-нибудь о чем-нибудь думать, кроме нее?!

Она успокаивает его, она надеется. Но ведь, может быть, она сама себя не знает, не видит, а достаточно взглянуть на нее, чтобы понять, как тщетны теперь все надежды.

«Ничто теперь не спасет ее!» — шепчет сердце императора, а сердце обмануть не может. Чует оно, чует близкую разлуку. Чует горе страшное, неотвратимое. Но ему нужно удержаться, нужно утереть слезы, не сметь рыдать, потому что этим только еще больше он ее тревожит, и Петр напрягает все силы свои, чтобы удержать непослушные рыдания, чтобы казаться спокойным.

Никогда еще не знал он, не понимал, как сильно ее любит. Он не умел дорожить ею, а вот теперь, когда она улетает, теперь все стало понятно, но уже слишком поздно...

Великая княжна Наталья улыбалась брату, старалась его успокоить, показать ему, что она вовсе не так больна, что это только какой-то досадный припадок, который пройдет скоро, она опять встанет, и все будет хорошо, как бывало прежде.

Она забывала о своей слабости, о своей невыносимой боли в груди и все улыбалась, расспрашивая брата о том, хорошо ли было на охоте, каких зверей они убили, что делали.

Расспросы эти невыносимо терзали императора.

Он понимал, что она делает усилие над собою, что она хочет обмануть его.

Лицо ее оживилось, на щеках вспыхнул румянец, она даже привстала с подушек, села на кровати и смеется.

Боже мой! Может, ей и взаправду лучше; может быть, взаправду это только так и пройдет скоро!

Он надеется, он уже почти верит, он совсем верит, он начинает улыбаться ей. С него спадает невыносимо давящая его тяжесть. Ах, как хорошо, авось, все это только сон!

Но что же это! Она вскрикнула, она схватилась за грудь обеими руками и, как подкошенная травка, упала опять на подушки, опять побледнела и лежит неподвижно.

Что же... что же это? Император снова рыдает и в отчаянии. Полный ужаса, бежит он от сестры к себе, запирается и никого видеть не хочет, никого не может слышать...

Но вот он зовет Ивана Долгорукого и говорит ему, чтобы через каждые пять минут доносили ему о здоровье великой княжны. Долгорукий хочет войти к нему, успокоить, разговорить его, но он гонит от себя и Долгорукого, он никого теперь не может видеть, никто ему не нужен.

Прошло еще несколько дней. Великая княжна все лежит в постели и по нескольку раз в день пьет женское молоко. Ей как будто сначала стало немного лучше. Император почти не отходит от нее. Когда она засыпает, он по целым часам прислушивается к ее дыханию. Когда она просыпается, он ловит каждый ее взгляд, каждое ее слово. Он не выпускает из рук своих ее слабой холодной руки. Теперь она повторяет, что ей лучше гораздо: она может уже сидеть на постели, может спустить ноги на пол.

Она просит его успокоиться, заняться делами или отдохнуть немного, повеселиться.

Назначен бал у графа Братислава, австрийского посланника.

Наталья упрощивает брата, чтобы он непременно туда поехал.

Ей гораздо лучше. Она так волнуется, его уговаривая, что ради ее спокойствия он решается ехать. Его сопровождает принцесса Елизавета. Но теперь он не обращает на нее никакого внимания, он уже ни к кому ее не ревнует, ему нет до нее никакого дела. Он весь, всецело, отдался сестре, думает только о ней, живет только ею.

Бал многолюден и роскошен. Приглашенных целые толпы, и между ними только и разговоров, что о больной принцессе. Всем ясно, что она очень плоха, вряд ли поправится. Что у нее за болезнь? Доктора говорят, что легкие портятся, чахотка. Но великая княжна в последний год почти совсем не кашляла. Что-то очень странно. Особенно иностранные резиденты подозрительно шепчутся об этой болезни. Герцог де-Лирия прямо сказал Остерману, что подозревает тут не худое состояние легких, а вероломство какого-нибудь тайного врага, который захотел погубить великую княжну. Но кто этот тайный враг, ни герцог де-Лирия, ни барон Андрей Иванович приду мать не могут. Остерман, действительно, озабочен и печален. Он всегда любил великую княжну Наталью, всегда был ее искренним другом. К тому же ее смерть должна очень повредить многим его серьезным планам. Как бы только узнать ему вероломного врага, если такой существует, но он не может узнать его и кончает тем, что не соглашается с герцогом де-

Лирия. Царевна всегда была слабого здоровья и уже три года тому назад сильно жаловалась на грудь и много кашляла.

«Вот и планы наши насчет инфанта Дон–Карлоса прахом рассыпаются!» — печально замечает герцог де–Лирия, отходя от Остермана.

Император не танцует: не влечет его никакое веселье, он то и дело посылает гонца во дворец узнать, что с великой княжной. И вот в начале еще бала, в 10 часу, гонец доносит ему, что великой княжне опять хуже, и император, даже не простясь с хозяином, уезжает с бала, спешит к сестре и застаёт ее опять с горящими глазами, с холодным потом на лбу, с выражением муки на бледном лице.

Он остается у ее постели, он решился так провести всю ночь, не отходя от нее, но, измученный, утомленный долгой бессонницей, незаметно засыпает в кресле. Она прислушивается: он спит глубоко, она велит дежурной фрейлине удалиться и остается одна, с уснувшим братом.

Жадно, не отрываясь, глядит она на него, точно хочет наглядеться досыта и никак не может. По временам боль в груди так невыносима, что она напрягает все свои последние силы, чтобы не стонать, чтобы этими стонами не разбудить его. Она уже знает, что ей не подняться, знает, что пришли последние дни, а может быть, часы, может быть, минуты. Да, она умирает, и ничто, никакие человеческие силы не спасут ее. Она умирает так ужасно рано, и так не хочется ей умирать, так жалко расставаться с жизнью. Хотя бы немного еще пожить; ведь еще совсем почти что и не жила она, только приготавливалась к жизни. Все было еще впереди; так недавно казалось, что времени так много, что и конца ему нет. А вот кончается, кончается жизнь, уходит — и ничем не удержать ее. Страшно, тяжело!

Слезы бегут по щекам бедной царевны. Что же без нее будет, что будет с братом? Он будет так огорчен, его ожидает такое горе! Но нет, не то, не то... Он молод, легкомыслен, забудет ее скоро, поплачет, потоскует и забудет. А потом что же? Потом снова явится Лиза, заменит ее место. Долгорукие совсем заберут его в свою власть; Иван вконец его испортит, приучит ко всему дурному. Боже мой! Пожалуй, пить еще приучит его!..

«На кого же я оставлю, кому поручу его!» — ломает руки несчастная царевна. И ясно, ужасно ясно понимает она, что не на кого

его оставить, некому поручить. Ни одного близкого, ни одного любящего человека! Барон Андрей Иванович? Но давно уже хорошо поняла Наталья, что барон Андрей Иванович не оплот и не защита; он любит их, истинно любит, но все же себя любит гораздо больше. Ни от чего дурного не остережет он брата, да если бы и нашел в себе силы остеречь, то ненадолго, не будет слушаться его Петруша, а Долгорукие скоро так устроят, что совсем удалят Андрея Ивановича, и будет еще тем хуже. Ужасные мысли!

«Зачем судьба так немилостива, зачем мы родились в царском семействе?! Были бы простые люди и было бы лучше!» — и Наталья прокликает блеск величия, с детства их окружающий. Но к чему проклинать! Так угодно Богу. Совершенно обессиленная, она перестает совсем думать; какой-то полусон, какое-то тихое забытие на нее находит; все предметы сливаются перед глазами; она уже не видит брата, ничего не видит; ей начинает казаться что-то странное, неопределенное, блестящее.

Вот она летит куда-то, быстро летит, несет ее ветер, летит она и прилетает в какую-то дивную страну, где все светло и ясно, где вечное лето... Голубое море плещется о берег, а на берегу растут целые рощи душистых лимонов, по веткам порхают пестрые птицы и поют чудные песни. Далеко за душистыми рощами виден большой город. Царевна летит к этому городу, летит над его сверкающими на солнце улицами, влетает в сад. Кругом журчат фонтаны, с деревьев от легкого дуновения ветра опадают сотни блестящих белых цветов, усыпают дорожки. Впереди виднеется роскошное здание, мраморные ступени, а по бокам белые статуи. И вот с этой широкой мраморной лестницы навстречу царевне спешит прекрасный юноша. О! Как он хорош, как чудно хорош он, даже прекраснее брата! Он берет ее за руку, и вместе с ним идет она по широким аллеям, и мраморные статуи кивают ей головами, и душистые деревья склоняют над ней свои ветки, и птицы поют ей, и струйки фонтанов журчат ей свои приветы. Необъятное, дивное счастье наполняет ей душу; прекрасный юноша шепчет ей сладкие речи. Она не понимает слов его, но душа и сердце понимают их значение, и сама она ему отвечает и говорит, не словами говорит, а восхищенной своей душою. И долга их беседа, и не замечают они времени. Спускается над ними тихий вечер, и еще прекраснее

становится природа, еще великолепнее кажется озаренный лучами заката величавый замок, еще слаще шепот фонтанов...

«Дон–Карлос!» — шепчет царевна. — «Дон–Карлос!» — повторяет она, уже очнувшись от своих грез. — «Дон–Карлос!» Она глядит кругом себя. Тихо в ее опочивальне; брат крепко спит, голова его склонилась на грудь, и он ровно дышит.

«Дон–Карлос!» Царевна вынимает из-под подушки маленький медальон, глядит на него, и радостная, блаженная улыбка виднеется на губах ее, и уже наяву, в полном сознании начинает мечтать она о далекой, никогда не виданной, волшебной стране, про которую так хорошо рассказывает герцог де–Лирия, про далекого, прекрасного принца, который мог сделаться близким и мог принести ей счастье... И он уже приносил не раз ей его, приносил в девических грезах. Зачем же все это проходит невозвратно, и зачем несудьба сбыться этому счастью! Зачем умирать так рано! О, Боже, за что?

Другие мысли приходят в голову царевны. Ей вспоминаются годы детства. Вспоминается грозный образ покойного деда, прекрасное лицо бабушки Екатерины. Потом хочется ей заглянуть еще дальше, и начинает вспоминаться совсем позабытый, нежный образ, склоненный над нею. Это образ ее матери, принцессы Шарлотты. Все они умерли, всех их нет, и мы также умрем, умрем скоро, все умрем...

«Боже! Да о чем же я думаю! Я умираю, умираю, а он ведь жив, он остается. Что же мне показалось, что и он тоже умирает?!» Она глядит на брата и не может отвязаться от какого-то страшного чувства, запавшего ей вдруг в сердце.

Все кажется ей, что не одна она умирает. «Да, он умрет! — наконец решает она, — умрет, и это хорошо, это лучше; пусть он умрет, пусть идет вслед за мною! Там, в том мире, мы снова все будем вместе... все кого люблю я... все мы соберемся. Да, пусть он умрет, он должен умереть, это его счастье. Теперь он умрет еще честным, не загрязненным, добрым и благородным, а жив останется, что из него сделают, чем он кончит? Нет, пусть умрет, пусть идет за мною!..»

В ночь на 22 ноября совсем стало плохо великой княжне Наталье. Несколько часов сряду она металась на постели и стонала. Юный император не мог слышать этих стонов: они разрывали ему сердце, и в то же время он жадно к ним прислушивался, ловил каждый звук и не отходил от сестры. Наконец она несколько успокоилась, хотя это спокойствие не предвещало ничего доброго. Ее лицо окончательно изменилось и всякий, взглянув на нее, ясно видел, что она умирает. Она велела позвать к себе барона Остермана и цесаревну Елизавету. Оба они были все время в соседней комнате и немедленно явились на зов ее.

— Прощайте, — спокойно сказала им Наталья, — прощайте!

При этом страшном слове раздирающий душу крик вырвался из груди императора, и он почти без чувств упал в кресло.

— Наташа! — опомнившись, бросился он к ее постели. — Наташа, что ты сказала! Зачем ты прощаешься?

— Прощай, мой голубчик, — тихо ответила она, — теперь все кончено, я умираю...

— Наташа! — стонал и метался император. — Это неправда! Это не может быть! Ты выздоровеешь, ты останешься жива. Зачем ты меня мучишь?

Но она уж не могла теперь скрываться, да и не хотела этого.

— Лиза, — обратилась она к цесаревне, — если я в чем была виновата перед тобою, прости меня, — я тебя очень любила, всем сердцем любила.

Цесаревна ничего не отвечала и плакала, склонившись над ней.

— Только одно у меня было против тебя: я боялась за брата. Лиза, вот я умираю и перед смертью прошу тебя быть его другом, другом и родною, но никогда не соглашаться выйти за него замуж.

— Наташа, голубчик мой, — всхлипывая, шепнула Елизавета, — зачем ты так обо мне думаешь?! Спроси его, он тебе скажет, что я ему всегда отвечала, когда заговаривал он со мною об этом. Ты дурно обо мне думала, Наташа: я никогда не могу быть для него ничем, кроме друга и родственницы.

— Теперь я верю тебе, Лиза, верю, и спокойна. Прощай, поцелуй меня, не вспоминай обо мне дурно...

Цесаревна нежно обняла умиравшую и горько заплакала.



— Подойдите ко мне, Андрей Иванович, — опять едва слышно заговорила Наталья, — подойдите ко мне, друг мой. Не оставьте его, не уходите от него, умоляю вас, пожалейте его, не дайте его врагам, ведь вы сами видите, что ищут только его погибели, не оставьте его! — Она едва нашла силу поднять свою руку и протянуть ее Остерману. Он молча плакал и покрывал эту холодевшую руку поцелуями.

— Петруша, голубчик мой, ненаглядный, — обратилась Наталья к брату, — как много хотела б я сказать тебе, да сил нет. Не печалься обо мне, Петруша! Вот недавно я и сама тосковала, умирать не хоте лось, а теперь, право, вижу, что так лучше, там лучше будет, наверное! Петруша, только теперь об одном тебе я думаю. Поклянись мне, дай мне слово, что исполнишь мою последнюю просьбу...

Петр хотел говорить, но не мог: рыдания душили его и он бессильно двигал губами и не произносил ни одного слова.

— Петруша, слушай меня, обещай мне... молю тебя... образумься, вспомни, что ты государь. Оставь эти вечные веселья, не забывай дел, бывай в Совете, а главное... главное, сейчас, как меня похороните, уезжай в Петербург, в Петербург... Вот мой последний завет тебе, моя последняя просьба, мое последнее слово, в Петербург, скорей!.. Иначе и ты совсем погиб, и погибла Россия. Обещаешь ли ты мне это, обещаешь ли?

— Да! — едва слышно выговорил Петр, упавая на колени перед сестрой. Она положила свои руки на его голову и замолчала. Тишина воцарилась в комнате, только рыдания присутствовавших по временам ее нарушали. Прошло несколько минут. Вдруг Наталья приподнялась, устремила блестящие глаза свои в пространство перед собою и заговорила что-то скоро, скоро, и никто не мог понять слов ее: она уж потеряла сознание, она бредила. За последней вспышкой энергии наступило полное бессилие. Она снова упала на подушку и осталась неподвижна; ее губы все что-то шептали, но не было звуков. Император дрожал всем телом. Ему страшно было глядеть на сестру, и в то же время он не мог от нее оторваться. Его глаза так и тянуло к ней, так и приковывало.

Барон Остерман и Елизавета, в слезах, тоже едва выносили зрелище этой агонии. Умиравшая то слабо стонала, то затихала на несколько минут, то вдруг опять порывалась приподняться и не могла, то начинала говорить что-то брату, подзывала к себе Остермана, то

забывала их всех, возвращалась в какой-то иной мир, открывавшийся перед ней. А время шло: был уже пятый час, приближалось утро. Вот Наталья успокоилась. Ее порывистое дыхание стало ровнее. Она еще раз обратилась к брату и сказала ему слабым шепотом:

— Петруша, не плачь, я знаю, мы расстаемся ненадолго. Мы свидимся скоро, скоро... до свидания!..

Она слабо приподняла руку и тут же ее опустила и вздрогнула. Ее глаза остановились. Петр наклонился к ней ближе, охватил ее голову и вдруг отшатнулся с искаженным лицом, в страшном ужасе.

— Умерла, — крикнул он, — умерла! — и, зашатавшись, без чувств упал на пол.

В эту минуту дверь в комнату отворилась и на пороге показалась небольшая согбенная фигура в черном. Она быстро поглядела на всех, увидела императора на полу, а над ним Остермана и Елизавету, подошла к кровати царевны, дотронулась рукою до ее неподвижного, холодевшего лица, опустилась на колени и стала молиться. Прошло несколько минут, прежде чем Остерман и цесаревна обратили на нее внимание. Она все стояла и молилась. Тихие слезы капали из ее глаз и падали на мертвые, холодные руки Натальи. Но вот она поднялась с колен, она взглянула на Остермана и Елизавету. Злоба и ненависть блеснули в глазах ее и скривились бледные старческие губы... Крепко упираясь одною рукою на посох, она вытянула перед собою, как будто всех от себя отстраняя.

— И к умирающей не позвали, мертвую уж застала! — проговорила старая царица Евдокия Федоровна и медленно вышла из комнаты.

На другое утро усопшая царевна уж лежала в гробу. Народ допускался поклониться ее телу. Великий плач стоял в траурной комнате. Плакали почти все, кто ни приходил сюда, и плакали непритворно, не по одному заведенному обычаю плакать над покойником: все любили усопшую царевну, все жалели об ее безвременной смерти, в один голос твердили, что ангел во плоти была царевна. Никто дурного слова от нее не слыхивал, со всеми бывала ласкова, всех дарила приветом и улыбкою.

«Как цветочек прекрасный сияла она на солнышке и завяла как цветочек», — так говорили московские жители. Да и речи ближних придворных и сановников мало чем отличались от речей этих. Все, как

есть все, жалели царевну. Остерман с женою совсем были неутешны, весь день навзрыд плакали; цесаревна Елизавета тоже не осушала глаз. Об императоре и говорить нечего, он весь день метался в страшном отчаянии, не заснул ни на минуту, маковой росинки у него во рту не было, ничем нельзя было его успокоить. В один день он страшно изменился: все лицо от горьких слез опухло, дрожал он всем телом, иногда даже бормотал несвязные фразы. Его едва увели из комнаты умершей сестры, но он часто туда возвращался. Придет, взглянет в лицо ее и с диким криком и рыданиями опять бежит прочь, и опять возвращается, и опять кричит и плачет — просто не знали, что с ним делать.

Вечером, когда уже перестали пускать народ во дворец, и комната, где стоял гроб, совсем опустела. Петр снова подошел к телу сестры. Все было тихо, только мерно раздавалось чтение псалтиря над покойницей. Она лежала вся в белом, наполовину прикрытая драгоценной парчею. Император смотрел на нее и уж не плакал: он, кажется, выплакал все свои слезы. Он не метался, не кричал, но еще более страшным казался в этой притихшей скорби. Он глядел на сестру совсем почти безумными, помутившимися глазами. Еще так недавно она могла взглянуть на него, могла ему улыбаться, и вот неподвижна, глаза ее закрыты. О! Как она изменилась, как худа она, как прозрачна, голубые жилки видны, но тихо и спокойно лицо ее. Он все смотрит, и вот ему кажется, что она начинает тихо улыбаться. Но нет! Нет, эта улыбка неподвижна, с этой улыбкой она заснула, эта улыбка осталась на лице ее. И вспомнилось ему, как, умирая, в последнюю минуту она шепнула, что разлука их ненадолго, что он скоро будет с нею. «О, когда бы... — думает император. — Зачем мне жить? Не хочу! Ничего мне не надо, только бы с нею...» И опять страшно ему становится, и опять он винит себя в ее смерти: он так ее мучил своим дурным повеленьем, она так за него страдала, так плакала, он всему виною. Ведь вот еще недавно просила она его не ехать на охоту, остаться в Москве, заняться делами, аккуратно посещать собрания Верховного Совета, и он даже обещал ей, но не исполнил своего обещания, на другой же день поехал на охоту и не видел ее две недели. Боже! Да разве возможно это, он, точно, изверг какой был с нею!.. Если б возможно было вернуть, от всего бы

отказался он, только бы быть с нею, только бы слышать ее голос, только бы видеть ее улыбку...

— Наташа, дорогая, шевельнись, очнись, скажи слово, все для тебя будет, все я брошу! Каждую минуточку буду спрашивать, чего ты хочешь, и буду только то делать, что ты посоветуешь. Наташенька, голубчик мой! Но она не слышит, она не слышит!

Она просила его, умирая, подумать о себе, начать новую жизнь. Последнее слово ее было, чтобы он уехал из Москвы опять в Петербург. Он обещал ей. Он уедет... Да и разве можно теперь оставаться в Москве, разве будет он в состоянии видеть этот город, видеть этот дом, где была она, и где ее больше нет. Конечно, он уедет... Он совсем изменится, его не узнают. Пусть она оттуда, с неба, глядит на него и останется им довольна. Пусть она простит его, пусть только простит! Да, он исполнит все ее просьбы, все ее желания и потом будет ждать, когда наступит свидание, когда исполнится ее обещание, когда он уйдет за нею и к ней...

После похорон великой княжны император переехал в кремлевский дворец. Он не мог оставаться в том доме, где все напоминало ему страшную утрату. Но вместе с ним не переехала цесаревна Елизавета.

## XVI

А там, далеко, за тысячи верст от Москвы, за тысячи верст от всех волнений московских, тишина великая стояла над небольшим островом, образуемом реками Сосвою и Вогулкою. Кругом страна дикая: горы на сотни верст тянутся, леса бесконечные. На острове городок — Березов.

У самого берега Сосвы, где еще недавно пустырь был, вырос вдруг маленький домик в четыре комнаты и с часовенкой. Домик этот построил почти весь своими руками светлейший князь Александр Данилович Меншиков. В одной комнатке поместились княжны, в другой — князь с сыном; в третьей — прислуга; четвертая комната отведена была под кладовую. А где княгиня Дарья Михайловна? Где ее поместили? Далеко она. Лежит она в могиле, в селе Услоне, близ

Казани, на берегу реки Волги. Не вынесла дороги, а пуще — всяких мук душевных и оскорблений бедная Дарья Михайловна. Страшная была дорога в Березов. Чего только не натерпелись Меншиковы. Когда вышел им приказ оставить Раненбург, они выехали в рогожной кибитке и в двух простых телегах. Не проехали и восьми верст от Раненбурга, как Мельгунов, капитан гвардии, которому поручено было наблюдать за ссыльными, нагнал их с военной командой и всю бывшую княжескую дворней. Грозно и с бранью приказал он Меншиковым выйти из повозки. Солдаты и дворня стали выбрасывать на дорогу княжеские пожитки. Мельгунов объявил, что по приказу Верховного Тайного Совета, он должен осмотреть, не взяли ли Меншиковы чего лишнего против описи, и рад он был показать власть свою издеваться над вчерашним властелином земли русской. Все отобрал он, что только можно было.

Молодой князь Александр Александрович взял было с собою несколько мелких вещичек, платья пары три запасного, для занятий инженерные инструменты, зеркальце, три гребенки, с табаком жестянку. Совсем еще мальчик был князь Александр, но и его не пожалел Мельгунов — все это у него отнял. Заметил, что у юноши карман оттопырился: — «эй, что это у тебя в кармане, сказывай?» Со слезами неудержимыми стал прижимать князь Александр к себе то, что было у него в кармане, уж очень выдать не хотелось. Но Мельгунов силой отнял. Это был маленький мешочек с полушечками на два рубля. Обратился затем Мельгунов и к княжнам. У них вещей было немного, только кое-что для работ и рукоделий, да теплые епанечки, шапочки, юбки, чулки.

— Это еще на что? — крикнул Мельгунов. И солдаты все отобрали. Швырнули сундук с телеги прочь, посыпались ленты, нитки, лоскутки разных материй.

Александра Александровна не удержалась и заплакала от оскорблений, а солдаты стали смеяться, перебрасывать друг другу с неприличными шутками ее ленточки. Один стал напяливать на себя ее кофточку. Александр Данилович и Дарья Михайловна закрылись в своей кибитке рогожей, чтоб не видеть этого позора. Долго шел осмотр, наконец несчастных отпустили. На Марье Александровне оставили только тафтяную зеленую юбку, штофный черный кафтан и белый корсет, на голове белый атласный чепчик, а для зимнего

времени зеленую тафтяную шубку. На младшей княжне оставили зеленую тафтяную юбку, белый штофный подшляфрок и такую же, как у сестры, шубку и на голове такой же белый атласный чепчик.

Вся рухлядь домашняя князей Меншиковых состояло из двух лопаток, котла с крышкою, трех кастрюль медных, двенадцати тарелок оловянных, да трех треног железных. Не дали им ни ножа, ни вилки, ни ложки.

И поехали дальше Меншиковы, и всюду, где ни проезжали они, народ толпами сходилась глядеть на них, кричал им вслед, показывал пальцами и плевался.

Вот похоронили бедную Дарью Михайловну, вот уж и Сибирь давно; в Тобольск приехали. Едут мимо ссыльных, что на дороге работают. Один из ссыльных подбирается ближе к телеге, где сидят княжны. Они смотрят на него и совсем не понимают, чего он от них хочет. Он нагнулся, набрал в горсть ком грязи и кинул его прямо в лицо княжнам.

— Вот на ж тебе, Александр Данилыч, — закричал он старому князю, — вот твоим деткам от меня гостинец. Упрятал ты меня сюда, — на ж тебе! Встретился-таки с тобою, слава те, Господи!

Затрясся старый Меншиков, побледнел, как полотно, и горько заплакал.

— Боже мой! — прошептал он и крикнул ссыльному. — В меня бросай, в меня бросай, изверг, а не в этих детей несчастных, ни в чем они перед тобой не виноваты!

Вот какой путь был княжескому семейству. Дня не проходило без горьких обид, несносных оскорблений.

В Березове поместили их сначала в острог, но скоро поспел маленький домик. Александр Данилович все дни над ним работал, только в этой работе и забывал свою тоску, свои муки невыносимые. Поспел домик, перебрались туда Меншиковы. Княжна Марья Александровна принялась хозяйничать с тремя кастрюлями медными. Страшная жизнь началась, дни томительные: зима пришла лютая, дня почти совсем нету, тьма кромешная, тишина невозмутимая. Затопят княжны огонек в маленькой комнатке, подсядут к отцу измученному, с каждым днем слабеющему, и читают ему книги священные, а он рассказывает им свое прошлое. Поочередно дети записывают его рассказы, и так идут дни, недели, проходит месяц—другой.

Вот сидят они как-то, а вокруг домика все та же тьма непроглядная; слышно было, как завывает метелица, дребезжит от нее маленькое окошко. Вдруг стук в дверь.«Кто бы это мог быть? Час такой поздний». Вздрогнули все Меншиковы:«неужто новое горе, неужто и тут не оставят их в покое? Может быть, на казнь еще повлекут, о, Боже, хоть бы уж поскорее!..«Приподнялся было со своего стула деревянного, им же самим и сделанного, Александр Данилович, приподнялся, да пошатнулся и опять сел на место: ноги не послушались.

Дрожащими руками отперла дверь княжна Марья Александровна, отперла, и руки у нее опустились: перед нею мужчина молодой, в теплую шубу вверх шерстью закутанный, весь в инее. Но разом смекнула княжна несчастная, что нездешний это человек.«Так, видно, и есть, видно, оттуда, из России, прислан нам на погибель!..»

— Аль не узнали? — раздался молодой и радостный голос вошедшего. — Да не диво, как и узнать-то?!

Он стал снимать с себя меховую одежду, шапку большую снял с себя, и князь Александр Данилович и все дети его разом всплеснули руками.

— Боже мой! Федор Васильич, какими судьбами? Откудова?

— Из Москвы прямехонько.

— Так это тебя, тебя твои родичи прислали объявить мне приговор смертный? — проговорил Александр Данилович.

— Нет, ты ошибся, князь! — тихим и печальным голосом отвечал Федор Васильевич Долгорукий, сын князя Василия Лукича, — ошибся ты, Александр Данилыч, если б отец родной день целый на коленях стоял передо мною, умолял бы учинить тебе какую-нибудь обиду, словом одним не обидел бы я, да и теперь меня самого бы, кажется, на казнь повели, если б узнал кто, что я здесь, в Березове.

— Что ж все это значит? — спросили разом все, ничего не понимая.

— А вот, дайте обогреться, дайте прийти в себя — все расскажу по порядку.

Княжны поспешили воды согреть, сварить что-нибудь для неожиданного гостя, а он тем временем разглядывал их и едва от слез мог удержаться, смотря на Марью Александровну.

Искренно погоревал он о кончине доброй Дарьи Михайловны, передал Александру Даниловичу все, что знал о делах московских, а про себя еще ни слова! — не говорит да и только, зачем отмахал четыре тысячи верст, приехал в этот ужасный Березов. Из-за вздору какого сюда не приедешь.

Наконец, пристали к нему все Меншиковы: говори, да говори, и он уж не может больше отнекиваться. Раскраснелось все лицо его молодое, опустились густые ресницы, глаз поднять не может ни на кого, неловко ему, страшно в чем-то сознаться.

— Да не томи, Федор Васильич, говори, ради Бога, не скрывайся. Страшную весть какую-нибудь, видно, ты привез с собою, так не жалея нас, ко всему привыкли, ничего уж теперь, кажись, не испугаемся, — говорит Александр Данилович.

— Может, я и привез страшную весть, да не для вас, а для себя. Но уж была ни была, слушайте, все слушайте: вспомни ты, князь мой милостивый, Александр Данилович, ведь нередко я к вам в Петербурге хаживал, и коли ты не был ласков, так ласкала меня добрая Дарья Михайловна, царствие ей небесное. Вспомните, княжны мои милые, не раз я плясал с вами в веселое времечко. Княжна Александра была тогда еще совсем махонькая, так я все больше с тобою, Марья Александровна, быть старался. И не даром для меня прошли те дни. Ты-то, может, и внимания никакого на меня не обратила, а я с каждым разом все больше да больше о тебе думал, хотел было посвататься, да знал, что толку из этого не будет.

Все изумленно и внимательно слушали Федора Васильевича, а княжна, не отрываясь, смотрела на него странными, остановившимися глазами. В лице ее ни кровинки не было. Она не шевелилась ни одним членом, точно окаменела.

— Да, видел, что проку никакого не будет. Сначала за Сапегу тебя сговорили и понял я, — ох, тяжело было мне! — понял я, что мил тебе этот Сапега; ну, и ушел, и остался в стороне. Потом стала ты царской невестой. Ни душе живой не сказал я про мое лютое горе, а уж горе было такое, что и во сне прежде мне не снилось: дня спокойного не ведал, ночи напролет не спал, слез потоки выплакал. Но вот пришло ваше время лютое; все я знал, все чуял заранее, да что ж в том? Мне и слова-то сказать не давали — рот разину, отец закричит на меня: не твоего ума, говорит, это дело! Ну и молчал себе, только мучился.



Потом, как выехали вы из Петербурга, пробовал я забыть тебя, Марья Александровна, во все тяжкие пустился. Эх, стыдно сказать даже, но не потаю, уж пьянствовать начал, да тошно мне стало, душе претила такая жизнь. Бросил я вино, бросил беспутства все, а тоска не проходит, уж почти что наяву ты стала мне мерещиться, княжна моя золотая. А время идет, в Москву переехали, там мне еще того тошнее сделалось. Вот слышу: на вас напасть новая, в Сибирь, в Березов вас ссылают, ну и не вытерпел. Отпросился у отца за границу, взял паспорт и вот, под именем Ивана Миронова, пробрался за вами сюда, — и здесь, как видите, и от тебя теперь, князь Александр Данилович, от тебя, Марья Александровна, все счастье мое зависит. Захотите — погубите одним словом, одним же словом счастливым человеком сделаете...

Александр Данилыч уж давно сидел, опустив голову на руки, и тихие слезы стекали по щекам его. Княжна Александра Александровна с братом тоже плакали, одна Марья Александровна все по-прежнему, неподвижно, не мигая, смотрела на молодого Долгорукого. Вдруг она порывисто встала с места, сделала к нему несколько шагов и всплеснула руками.

— Боже мой, Боже, нашелся человек, нашелся, не все еще оставили! Еще не все кончено!..

Она безумно зарыдала, зашаталась и, потеряв сознание, упала на пол.

Долгорукий, сестра и брат кинулись к ней, но долго не могли привести ее в чувство.

Кое-как постлали гостю постель, спать уложили, но никто во всю ночь не сомкнул глаз в маленьком доме Меншикова. Княжна Марья Александровна все стояла на коленях перед иконой и горячо молилась, и плакала, и металась — странное что-то, непостижимое с ней творилось. На другой день она вышла к князю Федору Васильевичу, обняла его за шею обеими руками, прижалась головою ему на грудь, рыдала и сквозь рыдания шептала ему:

— Голубчик, золотой ты мой, чудо великое сотворил ты надо мною!.. Ожесточилось совсем сердце мое, сокрушило меня горе лютое. Только смерти одной ждала я и желала, знала, что люди все от меня отвернулись, знала, что все не любят меня, презирают, ненавидят... И сама я никого не любила, сама всех ненавидела! Но от

слов твоих неожиданных, негаданных, о каких я всю жизнь и помыслить-то не смела, растопилась, как воск, вся душа моя. В миг один совсем другою ты меня сделал, сама не узнаю себя. Снова жить хочется, и это место ужасное, эта жизнь безрадостная счастьем небесным кажутся, вот что ты со мною сделал!..

Он не отвечал ей ни слова. Он глядел на нее и не мог наглядеться, только молчаливыми ласками силился успокоить ее волнение, но она не успокоилась, она рыдала все громче, и все страстнее, все горячее лились слова ее.

— Ненаглядный мой, в одну ночь эту так тебя я полюбила, как не любила никого еще в жизни, да думала, что и любить не сумею. Краше ты мне теперь солнца небесного! Лютые муки принять за тебя готова! Не отпущу тебя теперь от себя, жизнь ты моя, счастье ты мое!

Никогда еще, в самые ясные дни величия Меншиковых, не было такой радости в их доме, как теперь, в крошечном, самодельном домике на берегу Сосвы. Старик то и дело, что попеременно обнимал то дочь, то Долгорукого, благославлял их, плакал над ними и вспоминал жену свою покойную: сокрушался, что не дожила она до такой радости. Поуспокоившись немного, стали думать и судить о том, как свадьбу устроить. Трудно это было, но в конце концов сумел молодой Долгорукий уговорить старого березовского священника, подарок ему сделал, свой барсовый плащ богатый отдал, и обвенчал их тайно священник.

Новая жизнь началась в меншиковском доме, неожиданное, тихое счастье забралось под тесовую крышу. Прошла зима, лето наступило, лето короткое да жаркое: сибирское лето. И часто этим летом березовские жители видали молодую чету, согласно да любовно гулявшую по речному берегу. Неузнаваемой стала Марья Александровна, даже все лицо ее преобразилось. Ушла куда-то прежняя безжизненность, загорелись глаза ее темные, небывалый румянец на щеках вспыхивал: на диво похорошела она. Взглянув на нее теперь, может быть, и юный император не сказал бы, что дурна она. Видно, и прежде только счастья не доставало, чтобы сделать ее прелестною. Она ходила постоянно в черном платье, с окладкою из серебряной блонды. Это платье подарил ей Федор Васильевич: привез он его с собою.

Но непродолжительно было счастье. 12 ноября 1729 года тихо, на руках детей, скончался Александр Данилович. В последние дни своей жизни он то и делал, что молился, просил у Бога себе прощение, раскаивался нелицемерно во всех старых грехах своих. С просветленной улыбкой отдал он Богу душу. А в это время новая княгиня Долгорукая, Марья Александровна, готовилась стать матерью. Смерть отца на нее сильно подействовала: она преждевременно разрешилась от бремени двойнями и через день умерла; умерли и дети. Так и похоронили ее в одной могиле с ними. Было это 26 декабря, и в этот день ей исполнилось 18 лет от роду.

Вслед за ее кончиной явился гонец из Москвы. Петр II посылал детям Меншикова весть об их свободе, дозволение им жить в деревне. Слишком поздно пришла эта милость, только Александра Александровна да юный Александр Александрович воспользовались ею.

Неутешный, совсем растерянный от горя выехал из Березова князь Федор Васильевич, и опустел домик, построенный знаменитым Данилычем, и давно-давно сравнялось и сгладилось место, где стоял он, и никто во всей земле русской не знал тайну последнего года жизни царской невесты, в семье хранили ее, не выдавали.

Долгие годы прошли с тех пор, столетие целое в вечность кануло, и только в 1825 году, 30 июля, узнали о том, что рассказано здесь нами.

В Березове стали искать могилу Меншикова, сначала докопались до двух маленьких гробиков, обитых сукном алым. Раскрыли гробики, увидели кости младенцев, покрытые зеленым атласом, да два шелковых головных венчика. Эти гробики стояли на большом гробу, сделанном в виде колоды из кедра, длиною около трех аршин, и обитом тем же алым сукном, с крестом из серебряного позумента на крышке. Сняли крышку и увидели женщину, покрытую атласным зеленым покрывалом. Покрывало со всех сторон было подложено под покойницу, потому, не тревожа ее, разрезали атлас посередине ножницами. Сто лет тому назад похороненная оказалась почти свежою: лицо белое с синеватостью; зубы все сохранились; на голове чепчик из шелковой алой материи, под подбородком подвязанный шелковой лентой; на лбу шелковый венчик, шлафрок из тонкой шелковой материи красного цвета, на ногах башмаки с высокими каблуками, книзу суживающимися, передки остроконечные из шелковой махровой

материи. Могила оставалась целый день открытою и к вечеру лицо Марии Александровны совершенно почернело. Гроб опять зарыли в землю.

В Березове сохранилось еще одно воспоминание о царской невесте: в Воскресенском соборе тамошнем хранится золотой медальон тонкой работы, а внутри его находится свитая в кольцо прядь светлорусых волос. Этот медальон поступил в церковь по смерти князя Федора Васильевича. Больше ничего не напоминает о Марье Александровне. Есть еще один уголок земли русской, где успокоилась другая страдальца, несчастная Дарья Михайловна. В селе Услоне, на Волге, возле домика сельского дьячка разведен маленький садик с огородом. Среди полыни и крапивы видна старая надгробная плита, и на ней сохранилась надпись: «Здесь погребено тело рабы Божіей Д...»

Пройдут еще годы, сотрется старая надпись, расколется вдребезги или уйдет в землю, и совсем забудется могильный камень. Истлеют и светлорусые волосы в медальоне в березовской церкви, но судьба несчастного семейства навеки сохранится и в русской истории, и в рассказах народных как великий пример тленности земного величия и надежд человеческих.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Прошло несколько месяцев со дня смерти великой княжны Натальи. Первое время император не знал, куда деваться от тоски. Приближенные к нему люди не на шутку боялись за его здоровье: он почти ничего не ел, запирался у себя по целым дням, плакал. Но в его годы горе не бывает продолжительно. С первыми весенними днями улыбка снова появилась на губах его, и он снова велел снаряжать охоту.

Остерман начал напоминать ему о последнем желании покойной, о данном ей слове. Со свойственным ему красноречием убеждал его спешить переездом в Петербург.

Император молча слушал и задумывался.

— Повремени немного, Андрей Иванович, — говорил он, — уеду, непременно уеду, и скоро, только теперь нужно с Москвой проститься.

О необходимости переезда в Петербург стал иной раз поговаривать и князь Иван Алексеевич, но зато остальные Долгорукие толковали противное и говорили, что все это вздор и пустяки, будто дела стоят из-за пребывания в Москве, — отсюда точно так же, как и из Петербурга, Россию управлять можно. Крепче и могуче стояла Россия и допреж Петербурга.

Умели князья Долгорукие успокаивать и насчет завета покойной Натальи. Они толковали, что великая княжна находилась под влиянием немца Андрей Ивановича, а Андрей Иванович, конечно, к Петербургу тянет: не будь уговоров Андрея Ивановича, великая княжна сама никогда не помыслила бы о Петербурге, и эти речи были, как масло по сердцу, для императора. Он слушал их радостно, находил в них для себя оправдание. Но все же часто, особенно по ночам, когда не спалось Петру, вспоминалась ему умершая, вспоминались ему слова ее, его обещание, и он снова плакал, и снова решал, что, «нет, непременно в Петербург ехать нужно. Только погодит он немного, а к концу лета, во всяком случае, что бы там ни говорили, а из Москвы выедет».

Долгорукие, и в особенности Алексей Григорьевич, с каждым днем забирали все больше и больше власти над императором, и он не замечал этого. Некому уж было отрезвить его, растолковать ему и то, и другое, не с кем было посоветоваться, не с кем было отвести душу. Нет Наташи, да и другого друга тоже он лишился — красавицы тетушки Лизы. Долгорукие то и дело рассказывали ему про нее дурные вещи, уверяли, что она его не только не любит, но даже желает ему всякой гибели, ждет не дождется его смерти. И поверил император, и совсем отвернулся от красавицы тетки.

Алексей Григорьевич, увидев что горе отошло от императора, стал что ни день придумывать ему новые развлечения. Его жена и дочери обязаны были всюду следовать за государем, всячески веселить его, да и другим придворным девушкам даны были строгие приказания. Все только и думали о том, как бы хорошенько, бесповоротно забрать в руки Петра Алексеевича. Один князь Иван оставался по-прежнему, только нет — и он изменился. Так же близок он к императору, так же любит его, так же с ним дружен, но все чаще и чаще начинает ему перечить, ласково, любовно, но все же перечить. Но не сердится на него император: ничто не может поколебать его любви к старому другу.

Долгорукие были очень недовольны князем Иваном. Отец то и дело на него накидывался, говорил о том, что это он со злобы на них все им портит: они сделают, а он разделяет. Иван Алексеевич теперь уже спокойно выслушивал упреки. В нем произошла большая нравственная перемена: оставил он прежние баловства свои и затеи; жизнь вел трезвую. Он пользовался всяким случаем, чтобы напомнить своему другу и государю о необходимости продолжать занятия науками, даже совсем помирился с Остерманом. Не раз приносил он Петру важные бумаги, заставлял его их прочитывать, растолковывал их значение и вместе с ним приготавливал резолюции. Он старался всегда присутствовать при докладах сановников, для того чтобы как-нибудь не подвигнули государя на несправедливость. Однажды, стоя за креслами Петра и видя, как тому подносили к подписанию смертный приговор, князь Иван, не говоря ни слова, укусил государя за ухо. Тот даже вскрикнул от боли, вскочил с кресел и с изумлением спросил своего друга, что значит это.

— Прежде чем подписывать бумагу, — спокойно отвечал Иван Алексеевич, — надо вспомнить, каково будет несчастному, когда ему станут рубить голову!

Рассказ об этой сцене в тот же день облетел всех придворных: дивились дерзости молодого фаворита, объяснили все лишь тем, что он чересчур зазнался. В одном только месте этот рассказ был выслушан с необыкновенным восторгом: графиня Наталья Борисовна Шереметева даже в ладоши захлопала от радости. Она редко виделась с Иваном Алексеевичем — он все время свое отдавал государю, но жадно собирала она все о нем весточки, все, что только могла добыть. По-прежнему тихо и довольно уединенно жила Наталья Борисовна в огромном шереметевском доме. Временами скучно ей становилось. И кроме забот о сердечном друге Иване Алексеевиче, много новых мыслей стало стучаться ей в голову: жизнь заставляла задумываться. Детские годы прошли. Ей скоро семнадцать лет исполнится, а разумна и учена она не по летам; к тому же и разные нестроения домашние, никому неведомые, учат и развивают. Жизнь Натальи Борисовны в доме далеко не веселая. Отец ее, знаменитый петровский фельдмаршал, умер, оставив ее пятилетним ребенком. Мать баловала ее, любила без памяти, старалась о воспитании ее, чтоб ничего не упустила она в науках, приставила к ней мадаму, которая обучала ее по-французски, внушала дочери добрые правила. И Наталья Борисовна, в свою очередь, всем сердцем любила мать, и старалась ее слушаться, и старалась прилежно учиться. Но и мать пожила недолго. Осталась после нее графиня молодая четырнадцати лет; брат годом старше ее остался, а другие дети маленькие. Брат стал хозяином в доме. Хоть всего ему было пятнадцать лет, но он уже тогда числился поручиком в полку Преображенском. При матери мальчик казался послушным и скромным, а почувал свою волю, и ух как изменился! Всем по-своему сам распоряжается, то и дело хозяином себя называет, сестру в грош не ставит, а о детях маленьких уж и говорить нечего. Переселилась к ним в дом старая бабушка Салтыкова, старуха ничего, добрая, только стара очень, да и не такого характера, чтобы удержатъ внука. А тот с каждым днем все больше и больше себе воли забирает, иногда теснит даже сестру; толкует ей о том, что все они живут по его милости; что все ему принадлежит, он всему хозяин. Вот начинает уж он во все дела сестрины вмешиваться: говорит, то делай, того не делай.

Ох, как это тяжело! А и того тяжелее, как станет он детей обижать, не выносит этого Наталья Борисовна — детки на ее руках: она им теперь что мать. Так вот, как же тут не приходиться печальным мыслям, как же тут не смущаться? Не к тому себя готовила, не того ждала для себя Наталья Борисовна. Характер у нее от природы веселый был, любила она и нарядиться, и поплясать, и повеселиться всячески, а теперь веселье на ум нейдет, да и опять-таки, ее князь Иван больно смущает. Не того бы хотелось девушке, что жизнь дает ей: хотелось бы почаще видиться с любимым человеком, хотелось бы знать наверное, что никто и ничто у нее его не отнимет. И верит она в него, верит, а все же подчас сомненья берет: «ну, как ошиблась; ну, как обманул он ее; ну как он насмеется над нею?» Страшную минуту пережила она, как сказала ей Катюша Долгорукая про то что Иван Алексеевич не на шутку думает жениться на принцессе Елизавете. Встретилась она как-то потом с ним, отвернулась от него. Он побледнел весь, спрашивает, умоляет ее сказать ему, что за такая немилость. Она еще не умеет владеть собой, не выдержала, прямо все сказала.

— Эх, а ведь говорила, что веришь мне, — грустно ответил ей Иван Алексеевич. — Нет, ты не мне веришь, а веришь слуху всякому, веришь первому встречному, всему, что на меня тебе наскажут. Ну, да тут не совсем так; вот что я скажу тебе: точно, прежде были у меня такие мысли, но они были до тебя, до того дня, знаешь, когда я к тебе приехал и открыл тебе свою душу. Не на шутку, Наталья Борисовна, полюбил я тебя, а коли раз так полюбишь, так какая же тут любовь другая? Только о тебе я теперь думаю, только и мечтаю о том, как бы нам с тобою всю жизнь прожить неразлучно.

И передал он ей весь свой разговор с царевной Елизаветой в лесу Всесвятском, и она ему поверила и успокоилась.

Но Боже мой, Боже мой, когда же это будет, когда же это станется, то, чего так ждет она, то, о чем так она молится? Ну и опять: те страхи, возбужденные цесаревной, разлетелись, остаются другие страхи: продолжают толковать о том, что беспутную жизнь ведет Иван Алексеевич, что часто уезжает он в имение свое, Горенки, и там предается всякому разгулу. Увидит она его, хотелось бы спросить, да обо многом и спрашивать зазорно: если он и непутное делает, так не скажет ей, обещал, что ради нее исправит жизнь свою, да кто его знает, совладеет ли с собою? Но в последнее время все чаще и чаще начинает



слышать она о своем князе такое, отчего ликует и радуется ее сердце. И впрямь, видно, он любит, и впрямь, видно, работает над собою; сказала она ему, чтобы от всего дурного отвращал государя, вот он исполняет и гнева его не боится, делает свое дело. Так как же не бить ей в ладоши, как же ей не прыгать от радости, когда слышит она, что укусил он Петра за ухо!

Всю ночь после этого известия не заснула графиня, все думала о своем милом, а к утру вот что даже придумала: придумала она, что очень уж много о себе мечтает, что заставляет его исправляться, чтобы быть ее достойным, а сама-то что ж она такая за святая, что за учитель такой безгрешный выискался! Может, еще ей это нужно добиваться, чтоб быть его достойной; у него душа светлая, благородная, надо чтоб и у нее была такая же. Если он умеет принудить себя, отучить себя от всего дурного, так и она тоже должна уметь бороться с собою.

И вот Наталья Борисовна решается изменить свою жизнь и каждый день достигать большего и большего совершенства, уменья обуздывать свои порывы, свои желания. Она воздерживается от веселья, почти никуда не выходит из дому, сидит за книгами, учится...

Уж с месяц не видала, не встречала нигде князя Ивана Наталья Борисовна, и тоска разбирает так, что от этой тоски деваться ей некуда.

Вернулся домой старший брат, Петр Борисович. Спрашивает она его, где Долгорукие, на охоте, что ли, или в городе?

— Вернулись, — отвечает.

— Ну, так я съезжу к ним, проведаю.

— Ступай, коли тебе дома не сидится, — грубо сказал брат.

Но она не обратила внимания на тон его слов, велела закладывать экипаж и поехала.

Долгорукие точно были дома. Княгиня Прасковья Юрьевна встретила молодую графиню.

— Ах, голубушка, очень рада, что ты заглянула поди к Катюше, поди, авось с тобой она развеселится.

— А что с ней?

— Да ничего, дурит девка, просто не глядели бы на нее глаза мои. Совсем в последнее время ни на что не похожа стала. Уж я и не знаю, что с ней, чего ей еще нужно!

Наталья Борисовна отправилась к княжне и застала ее в очень дурном расположении духа.

— Что с тобою, Катюша? — участливо спросила она ее.

— Ничего! — мрачно ответила Катерина Алексеевна.

— Ну, не хочешь сказать, так я и не навязываюсь. А лучше бы сказала: если беда с тобой какая, али неприятность, вместе бы потолковали, ты знаешь, что я сердечно люблю тебя.

Наталья Борисовна говорила это таким ласковым голосом, так дружески и искренне смотрела на Катюшу, что и та, наконец, взглянула на нее приветливее.

— Много у меня бед всяких, Наташа, — сквозь наворачнувшиеся слезы проговорила она ей. — Бежала бы я из этого дома, а особливо от братца моего милого!

— Опять он! Что ж он с тобой делает?

— А то, Наташа, что уж и не знаю я, до чего они доведут меня. Теперь, вишь, принуждают всячески прельщать государя, хотят, чтоб вышла я за него замуж, ну... а мне это нож вострый, не могу я этого. И пуще всех тут действует брат Иван...

И Катюша рассказала Наталье Борисовне, что история эта началась уж давно, а теперь к концу клонится.

Хотела было Наталья Борисовна успокоить ее тем, что переговорит с ее братом, да побоялась, за себя побоялась, ничего ей не сказала, а решила только непременно переговорить с ним. Случай представился скоро. Она была приглашена во дворец на вечер, и хоть часто отказывалась от подобных приглашений, но на этот раз решила ехать. Первый контрданс танцевала она с Иваном Алексеевичем.

— Скажи на милость, князь, что это у вас с сестрою все нелады такие, за что она на тебя сердится?

— Эх, давно это, Наталья Борисовна, ненавидят они меня все дома, ну и сестра тоже лютым врагом своим считает... А какой же я ей враг? Никакого зла ей не желаю!

— Князь Иван, ответь мне ты сущую правду, верно ли это или нет, что ты хочешь насильно ее выдать замуж за государя?

Князь вздрогнул и даже побледнел немного.

— Кто тебе сказал, графиня?

— Кто бы ни сказал, видишь, знаю. Зачем ты это берешь на себя, князь Иван? Нехорошо, и не ждала я от тебя такого дела.

— Ну, так буду я с тобой говорить по душе, как перед Богом истинным. Видишь ли что, Наталья Борисовна: задумали мы давно уж это дело и точно, что мне первому пришла мысль такая; ведь тоже человек я, думал род свой возвысить, а теперь и хотел бы назад, да, право, не могу я этого, теперь уж не в моих руках это дело.

— И это правда, это верно, что ты не уговариваешь государя?

— Ни одним словом не уговариваю, да и, посуди сама, зачем мне это теперь? Ведь я один стал, все родные против меня. Вон сама ты знаешь, что сестра ненавидит, — ведь если это случится, если государь обвенчается с нею, так какого добра могу я ждать от нее?!

— Но в таком случае ты должен сделать все, чтобы помешать...

— Ох, не могу я этого, — печально проговорил Иван Алексеевич, — государь по-прежнему меня любит, но не во мне одном теперь сила. Любит он и отца моего, да, может, побольше, чем меня. Их много, они люди хитрые, меня уж не раз перехитряли, мне с ними не бороться, да и надоело это так, что и сказать не могу. Пусть там делают, что хотят, мне-то что до этого? Ну, пусть вооружают против меня государя. Уйду от всего, не раз говорил им это, уйду, чтоб меня только оставили в покое. Не тот я стал в последнее время: что любил прежде — разлюбил, что манило к себе и радовало — теперь ненужным кажется...

Тем и покончился разговор у них. Увидела Наталья Борисовна, что тяжело на душе у ее друга, увидела она тоже, что совсем запутался он в сетях домашних и не хватает ему силы из них выбраться.

## II

Император уверял Остермана и молодого Долгорукого, что вот он только поохотится немного, попрощается с Москвою и уедет в Петербург. Но этому прощанью и конца не было. Проходили дни и даже месяцы, а император все прощался: с утра запрягали ему экипаж, и князь Алексей Григорьевич увозил его в свою подмосковную, где они проводили, иногда вдвоем только, целые дни. Какие забавы выдумывал для своей жертвы Алексей Григорьевич, нам неизвестно. Но, видно, эти забавы были разнообразны, они совершенно завлекали

и отуманивали бедного юношу. Он возвращался домой утомленный, но на другое утро опять повторялась та же история. Долго боролся крепкий организм Петра с этой ненормальной жизнью, но никакой физической силы не могло хватить надолго. И вот император то и дело начал простужаться, иногда дня на три, на четыре ложился в постель и не мог подняться. Природа делала последние усилия: император очень вырос, возмужал необыкновенно; он теперь, действительно, казался совсем взрослым, сформировавшимся человек. Лицо его переменялось неузнаваемо: детская нежность давно исчезла, глаза не были уж так светлы и прекрасны. Сестра Наташа плакала бы теперь горькими слезами, если б могла видеть брата, плакала бы еще больше, если б могла знать, что он уж почти позабыл ее, что его страшное горе, которое всех так напугало, прошло бесследно. Окружающие люди, у которых еще оставалась совесть, с ужасом помышляли о том, что готовит близкое будущее. При дворе только и толков было, что о поступках князя Алексея Долгорукого с компанией. Совсем уж и окончательно завладели они императором, совсем отдалили его от цесаревны Елизаветы, от Остермана, от всех, кто прежде ему был дорог и кто мог иметь на него хорошее влияние. Для каждого была ясна цель таких поступков; недаром на охотах неизменно присутствовали княжны Долгорукие: скоро кончится тем, что одна их них будет царской невестой. Стало повторяться меншиковская история, и враги Долгоруких утешали себя тем только, что эти замыслы все же в конце концов разрушаться, и Долгорукие приготовят себе участь Меншиковых. Ненависть к Алексею Григорьевичу и его семейству возрастала с каждым днем не только в дворцовых сферах, но даже и в народе. Всем было известно, как Долгорукие злоупотребляют своим влиянием, как обирают казну, творят всякие несправедливости. Только за одного Ивана Алексеевича еще находились заступники: в войске его любили.

Отлучки государя из Москвы, наконец, стали принимать изумительные размеры: иногда он уезжал верст за пятьдесят, даже за сто и оставался на охоте больше месяца.

Алексей Долгорукий из себя выходил, что так долго приходится ему возиться и все же еще не достигать никаких решительных результатов. «Ну, да уж добыюсь же я, добыюсь! — повторял он себе. — Уж будет Катюша императрицей; так или иначе, а дело сделаю». Он

призывал к себе Катюшу и начинал ей всякие внушения делать. Сначала она их молча выслушивала, но в последнее время совсем от рук отбилась.

— Эх, детками Бог наградил! — кричал и топал ногами Алексей Григорьевич. — Да что ж вы все с ума сошли, что ли? То Иван глупость какую-нибудь выкинет, а вот и ты упрямиться стала, что ж это! Очнись, одумайся, глупая!

Княжна Катерина сверкала на отца своими черными глазами и повторяла одно и то же, что ни за что не станет она навязываться. Иной раз так страшно взглянет, что Алексей Григорьевич и слова не найдет, зашипит только, плюнет и уйдет к себе в сердцах.

— Жена! Прасковья! — кричит он. — Да образумь ты девку!

А княгиня только плечами пожимает.

«Да полно, нет ли тут чего-нибудь? — догадался, наконец, Алексей Григорьевич. — Не завелся ли у доченьки какой предмет посторонний?!» Спросил он об этом княгиню, а та ему и говорит:

— Точно, замечаю я в последнее время, что есть этот предмет у нее.

— Кто же, кто? Говори...

— Да вот, этот франтик молодой, шурин цесарского посланника, Миллезимо...

— Так что ж вы голову с меня снять, что ли, хотите? Как прежде-то ты мне об этом не говорила?! — закричал в совершенной ярости Алексей Григорьевич.

— Как же мне было говорить, когда сама я того не знала? Только что заметила, вот и говорю.

— А! Так это Миллезимо, — злобно шептал Долгорукий, — Миллезимо!.. Ну так... во-первых, ноги его не будет у нас в доме, это само собою, а во-вторых, проучу я его хорошенько. Ну, а что до доченьки, так еще посмотрим!..

Он призвал к себе княжну Катерину.

— Ты тут, говорят, непотребства разные заводить хочешь — с австрияком амуришься?!

Княжна побледнела. Она ли не скрывала от всех своего чувства и своих редких тайных свиданий с молодым графом, — а вот все-таки же узнали!

— Я не завожу никаких непотребств, — стиснув зубы, вся дрожа, проговорила она, — а кабы и завела что, так кто тому виною? Ты сам, батюшка, меня учишь вести себя не так, как подобает честной девушке.

Алексей Григорьевич кинулся к дочери с поднятыми кулаками, но спохватился, удержался, и только глядел на нее с ненавистью.

— Ну, что ж, батюшка, бей меня, бей, тогда, может, я краше сделаюсь... Может, больше на меня, битую, позарится государь; бей меня, вот я вся пред тобою!

И она, сверкая глазами, подходила к отцу. Она его вызывала.

Вся кровь поднималась ему в голову, и он сжимал кулаки, но все же не трогался с места.

«И как это только родятся такие аспиды!» — думал он. — Так бы вот исколотил ее... а нельзя, нет, нельзя: будет царской невестой, будет царицей, припомнит. Нет, что это я, — нельзя так говорить теперь с нею».

Он сделал над собою усилие: кулаки его разжались, с лица пропала злобное выражение. Он тихо подошел к дочери и положил руку свою на плечо ей.

— За кого же ты меня считаешь, Катюша?! Точно, что ты меня очень рассердила; ведь ты знаешь, как я люблю тебя, о тебе вся моя забота. И тошно мне, что ты не хочешь понять этого, что ты бежишь от своего счастья. Ведь если я и сержусь теперь, так не на тебя, пойми ты, дитя неразумное, а на то, что ты вот себе гибель хочешь приготовить.

— Приготовлю гибель себе, так твоими же руками! — мрачно проговорила княжна Катерина и вышла от отца так величественно, взглянула на него так грозно, так свысока, что ему показалось, будто она и впрямь уже его государыня, а он ее подданный.

«Но ведь нельзя же, нельзя же оставить это дело! — думал он. — Нужно как-нибудь свернуть шею проклятому Миллезимо, нужно удалить, чтоб и духу его здесь не было, да как это сделать, к чему придраться? Ведь у мальчишки этого тоже сила немалая — шурин графа Братислава! За него заступятся и другие иностранные министры, такую историю поднимут, что и не расхлебаешь... А все ж таки нужно попытаться». Случай попытаться скоро представился Алексею Григорьевичу.

Версты за четыре от Москвы граф Вратислав нанял себе для охоты участок леса. Как-то выехал он рано утром с молодым Миллезимо поохотиться. Ехали они в экипаже, с ружьями за плечами, и пришлось проезжать им мимо дома князя Долгорукого. Он был у себя и увидел их. Внезапная мысль пришла ему в голову — «ну так погоди ж, погоди!» — шептал он.

И вот зовет он к себе двух гренадер своей гвардии (у него была уж и своя гвардия) и спешно отдает им какие-то приказания. Гренадеры отправляются по направлению проехавшего экипажа графа Братислава.

Охотники у опушки леса вылезли из экипажа и углубились в чащу. Вот скоро раздался выстрел, потом другой, третий, потом в нескольких стах шагах опять выстрел. Два гренадера Долгорукого кинулись в ту чащу на выстрелы. Смотрят, пред ними граф Вратислав.

«Нет, это не тот, — шепчет один другому, — этого оставим, пойдем в ту сторону».

И они поспешили туда, где был Миллезимо. Он стоял за деревом и осторожно прицеливался в птицу. Раздался выстрел, птица вспорхнула, сделала несколько движений в воздухе и упала, как камень, в траву густую. И в эту же самую минуту четыре крепких руки схватили Миллезимо за плечи.

— Что это, что? — изумленно обернулся он.

Перед ним два гренадера, и крепко держат они его за руки и не выпускают.

— Оставьте! Что такое? — ломаным русским языком спросил он их.

— А то, что от его императорского величества не приказано здесь охотиться, а приказано всех, кто стреляет, схватывать и вести к его величеству.

— Может, это и так, — отвечал Миллезимо, соображая, что вышло только недоразумение, — но все же меня вы не смее трогать, я кавалер императорского министра. К тому же, эта лесная дача нанята моим шурином, и я имею всякое право здесь охотиться. Оставьте же меня в покое, идите своей дорогой.

Но гренадеры не слушались. Самым бесцеремонным образом скрутили они назад ему руки и потащили за собой.

— Да постойте, куда вы, наконец! — взбешенный, кричал он. — Если вы мне не верите, если вы меня не знаете, так отведите сначала к другому охотнику, вон тот тоже охотится, слышите выстрелы, тогда поймете в чем дело.

Но они его не слушали и тащили из леса. Вот его экипаж; он говорит, что пускай хоть отпустят его, он поедет в карете. Они и этого слушать не хотят: тащат его пешком. Вот они уж в городе. Граф Миллезимо, с крепко связанными назад руками, должен идти между двумя гренадерами, утопая в грязи, должен идти мимо гауптвахты дворца, откуда на него смотрят офицеры и гвардия, идти до самого дома князя Долгорукого — всего пути около трех верст было. Гренадеры не отпускали его ни на шаг от себя и громко ругались. Граф понимал русский язык, понимал, что это такие ругательства, хуже которых и выдумать невозможно. Сначала взбешенный и оскорбленный, теперь он решил молчать и терпеливо выносить все это. «Конечно, сейчас все разъяснится, глупые гренадеры будут наказаны за их поступок».

Подошли к дому Долгоруких, вот хорошо знакомый ему сад, вот та ограда, через которую перелезал он на свидания с княжной. Алексей Долгорукий вышел на крыльцо, увидев Миллезимо, несколько не смутился, но поспешил отдать гренадерам приказание развязать ему руки, даже не поклонился молодому графу, не впустил его к себе в дом, только сказал ему из дверей:

— Жалею, что вы попались в эту историю.

— Да помилуйте, князь, — отчаянно кричал Миллезимо, — что ж это, наконец, такое? Прикажите немедленно отпустить меня.

— Вас взяли по приказанию царя.

— Прекрасно, но ведь вы же должны понять, что тут недоразумение, меня никто оскорблять не смеет. Я требую, чтобы вы немедленно распорядились наказать этих грубых солдат, которые не только связали меня, но даже оскорбляли и ругались.

— Нет, я их не накажу, — сухо отвечал Долгорукий, — они исполнили свою обязанность. Мне некогда говорить с вами, граф, идите своей дорогой.

И князь Алексей Григорьевич повернулся к нему спиной, вошел в дом и запер за собою дверь. Солдаты развязали, наконец, Миллезимо руки и скрылись. Он остался один перед запертой дверью. В первую



минуту ему хотелось вломиться в дом и проучить хорошенько зазнавшегося вельможу, но дверь была заперта на ключ, и он тщетно в нее стучался.

Конечно, в тот же день поднялась история; Миллезимо рассказал обо всем графу Братиславу. Тот пришел в бешенство и так расстроился, что даже почувствовал себя дурно. Он послал секретаря посольства к герцогу де-Лирия сообщить ему о случившемся и просить его принять участие в этом деле.

Герцог де-Лирия в свою очередь немедленно отправился к Остерману. Он толковал ему о важности оскорбления, нанесенного в лице Миллезимо цесарскому посольству, о необходимости дать графу Братиславу надлежащее удовлетворение и окончить это дело тихо во избежание публичности. Если Вратислав не будет удовлетворен, он пойдет дальше, наверное, а принимая во внимание близкое родство государя с цесарем, можно ожидать весьма неприятных последствий. Остерман согласился с герцогом, хорошо понял, что нужно всячески удовлетворить графа Братислава и Миллезимо, даже прежде, чем они этого будут требовать.

От Остермана герцог де-Лирия поехал к Ивану Долгорукому. Тот тоже немедленно обещал все устроить и послал своего секретаря в австрийское посольство выразить графу Братиславу сожаление о происшедшем и уверение в том, что гренадеры будут строго наказаны.

Алексей Григорьевич глупо задумал это дело, и оно, конечно, ничем не кончилось. Видя, что ничего не возьмет, он старался повернуть все так, что Миллезимо будто бы на заявление гренадер о царском указе не охотиться на расстоянии 30 верст от Москвы, сделал выстрел над их головами, не попал, опять начал в них прицеливаться и обнажил на них шпагу. Это объяснение почему-то вдруг стал поддерживать и Остерман. Через день герцог де-Лирия уже считал и себя оскорбленным, все чуть не перессорились. Глупая история положительно начинала грозить перейти в политическое событие. Наконец кое-как все уладили. Князь Алексей Долгорукий извинился перед графом Вратиславом. Он прислал в цесарское посольство от своего имени бригадира, который объявил, что князь бесконечно сожалеет о случившемся с графом Миллезимо, что гренадеры за то, что не отнеслись к нему, вопреки данным им приказаниям, с должным почтением, наказаны, как того заслужили, и что их накажут еще

сильнее, если будет угодно графу Миллезимо и если он сочтет недостаточным уже данное наказание. Граф Вратислав и Миллезимо махнули на все рукой и покончили дело. Следствием его было только то, что Катюша Долгорукая уж не могла рассчитывать встретить у себя в доме своего возлюбленного: конечно, ему теперь не представлялось никакой возможности появляться к Долгоруким. Он успел обо всем написать ей, и она стала еще раздражительнее и с нескрываемым уже негодованием глядела на отца своего. Только о том и думала она теперь, чтоб как-нибудь убежать из дому. Если бы другой был характер у молодого Миллезимо, это бы и случилось непременно, но он не умел ничего устроить, а может быть, и трусил.

### III

Прошло лето 1729 года. Наступила осень, ненастная, холодная. Император едва показывался в городе на день, другой и снова уезжал с Долгорукими. Теперь он поехал на Сетунь, верст за 20 от Москвы. Поехал с одними Долгорукими и не возвращается. Месяц прошел и другой начался, а его все нет.

Министры и прочие сановники без государя тоже уходят от дел, живут на дачах, отдыхают. В Верховном Совете дела запущены страшно, жалоб не оберешься. Многим не выдают жалованья; неведомо куда из казны пропадают деньги.

Но вот осень. Непогода всех вернула в город, а государя все нет; многие даже наверное не знают, где он. Авось, хотя ко дню рождения своего вернется. К этому дню делаются большие приготовления, заготовлен фейерверк, обед роскошный во дворце. Но император не вернулся — так без него и отпраздновали. По всему городу была зажжена иллюминация.

На обеде во дворце находились все сановники и иностранные министры. Роль хозяина разыгрывал Остерман, а императорское место было пусто. Только приготовленный фейерверк не сожгли в этот день, а оставили для другого случая.

Страшный ропот поднялся по Москве. Всем, наконец, ясно стало, что все это значит, отчего не возвращается император. Конечно, князь

Алексей Григорьевич тому единственной причиной: он ревнует государя ко всем, боится потерять его расположение, боится, что кто-нибудь наговорит на него. Он, наверное, теперь женит императора на своей дочери; она с ними на Сетуни и никого, кроме Долгоруких, там нет. Верные люди говорят, что уже брак этот дело решенное; наверное, император вернется в Москву уже женатым: их обвенчает ростовский архиепископ.

Все убеждает в том, что затеенное Долгорукими дело не сегодня—завтра совершится. Очевидно, что во дворце приготавливаются к чему-то необыкновенному. Со всех сторон сгоняют портных и задают им спешную работу. Никакого торжества явного не приготавливается, следовательно, наверное быть свадьбе.

Ропот сановников и придворных возрастает. Все теперь ненавидят Долгоруких, ни одного друга нет у них, и пуще всех ненавидит их Остерман.

Несмотря на всю свою хитрость и умение ладить со всеми, на высокое мнение о нем Алексея Григорьевича, он теперь видит, что Долгорукие обошли его, что он окончательно потерял все свое влияние на императора, и если еще не спихнули его с места, то только потому, что нужен работник. Делать нечего — работает Андрей Иванович, ни во что старается не мешаться, от всех скрытничает.

Часто к нему заезжает герцог де—Лирия, передает то тот, то другой слух и смущается видимым равнодушием Остермана.

— Да ведь понимаете, барон, — горячится де—Лирия, — ведь теперь ничем не предотвратишь этого ненавистного брака, а с этим браком конец всему; в Петербург уж не вернуться...

— Да что же теперь делать?! — пожимает плечами Остерман. — К тому же, нет ничего верного.

— Помилуйте, как не верно; ведь говорят вот то-то и то-то. К тому же, я знаю, что у Долгоруких в доме тоже в каждой комнате по несколько швей сидит; запасаются множеством нарядов. Вот вы же говорите, что кремлевский дворец отделяется с величайшим великолепием. Так как же нет ничего верного.

— Я не про то, — медленно отвечает Остерман. — Приготовления делаются очень большие и тайно и явно, да ведь и у князя Меншикова все было готово, и уже и в календарь заказал он записать имена и дни рождения всех персон своего дома, а еще не вышел этот календарь из

печатни, как тот же Меншиков и все персоны его дома были по дороге в Березов.

— Ну да... конечно, я не сомневаюсь, что Долгорукие кончат так же...

И герцог де-Лирия спешит к себе подробно отписать обо все своему правительству.

А за 20 верст от Москвы, в живописной местности, на берегу реки Сетуни, возвышаются новые необычайно быстро возникшие постройки. Государь пирует там с Долгорукими и не замечает, или не хочет заметить, как дико, невозможно жизнь идет у них. Да и действительно, трудно понять, что там такое творится. Князь Иван на себя не похож сделался, мрачен, другой раз по целым дням запирается в своей комнате, молится. Если бы захотел, он мог бы одним словом, может быть, спасти императора от угрожающей ему гибели, но он не говорит этого слова. Хватило у него силы, хватило характера победить свои страсти, свои желания, а не хватает силы, не хватает характера восстать против отца, против родни. Иной день по нескольку раз просится он, чтобы отпустил его в Москву император, да тот не пускает.

Княжну Катерину не поймешь никак: то сидит она и по целым часам не говорит ни с кем ни слова, то вдруг вспыхнет вся, глаза загорятся, она оживится и смеется, и шутит, и забавляет императора, поет ему, играет с ним в карты. Перед отъездом на эту последнюю охоту написала она письмо Миллезимо, письмо, облитое слезами. Писала ему, что если теперь не спасет он ее, она, верно, погибнет, что он должен, не мешкая, явиться и увезти ее из дому. Прошел день, другой, ответа никакого не было от Миллезимо, и вот увезли ее на Сетунь. Оставаясь одна, в тишине своей спальни, часто плачет она и ломает руки.

«Нет, видно, не любит он меня, не сумел спасти вовремя. И что это за человек, Боже мой! Что за человек? Это тряпка какая-то! Не любить, а презирать мне его надо. Да и разлюблю, и возненавижу его, и назло ему сделаю все!»

Но вспоминает она молодого графа, вспоминает каждое его слово и каждый взгляд его. Как наяву повторяются перед нею детски-невинные и бесконечно-милые часы тихого с ним свидания, и чувствует княжна, что не может презирать его, что не может

ненавидеть. Любит его ее сердце. И опять она плачет и все ждет — не будет ли ей как-нибудь сюда весточки от милого друга. Нарочно часто выходит она на дорогу; думает, вот явится, вот увезет ее и спрячет так, что никто никогда их не сыщет. Но никто ее не увозит. Ее зовут к императору, а тот просит поиграть с ним в карты, и она садится, и со злобы на своего милого начинает кокетничать с Петром, нежно на него глядеть, сладко ему улыбаться. В иные минуты приходит ей и такая мысль: «а что же, в самом деле, разве дурно быть царицей? Вот тогда-то будет своя воля; вот тогда-то никто и пикнуть предо мною не посмеет; над всеми я буду властвовать. Отец сердитый да грозный руки у меня целовать будет!»

А тем временем Алексей Григорьевич доделывает свое дело. Все средства, даже самые непозволительные, употребляет он, чтобы заставить императора сделать предложение Катюше: нескромные речи о ней заводит, восхваляет красоту ее, все ее прелести. Император уже давно перестал быть ребенком, он уже давно привык ценить красоту женскую и нуждаться в ее близости, а тут никого нет, кроме княжны Катюши, и чуть не каждую минуту ему говорят о ней... И совсем бессознательно начинает в нее вглядываться император. Ему еще и в голову не приходит мысль о возможности брака с нею, но он уже видит в ней хорошенькую девушку и начинает понимать и чувствовать, что стоит ему только протянуть руки к ней, чтобы взять ее. Его уже приучили не церемониться; за обедами и ужинами Алексей Григорьевич собственноручно подливает ему вина крепкого, и мутится голова у бедного юноши. Совсем пришла ему погибель, никто не сжалится над ним, ни одной родной души вокруг нет.

Вот задался день такой ненастный, ветреный дождливый, что никак нельзя поохотиться. С утра все сидят запершись. Только что пообедали. Обед был обильный, вина много выпили. В длинном кресле протянулся император; возле него на таком же кресле в грациозной позе княжна Катюша; тут же Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна.

Одного князя Ивана нет. Не то дремлет, не то грезится что-то, не то неможется Петру Алексеевичу. Глаза сами собою смыкаются. Но вот он открывает их и видит перед собою все ту же Катюшу. Тихо в комнате, только дождь стучится в окна, да далеко на дворе лают охотничьи собаки.

Катюша откинула голову на спинку кресла, мельком взглянула в глаза Петру и опустила длинные ресницы. На щеках ее то вспыхивает, то пропадает румянец. Подняла она свою руку. Широкий рукав атласный отворотился; рука нежная, белая и сверкают на ней дорогие камни.

— Какие у тебя руки красивые, Катюша! — в полудремоте говорит Петр, опять закрывает глаза и опять их открывает, и снова смотрит на Катюшины руки.

Тихо, незаметно уходит Алексей Григорьевич с женою, никого нет в комнате.

— Что же это все ушли? — замечает юноша. — Скучно что-то, Катюша, расскажи мне что-нибудь.

— Да ведь и мне тоже скучно, и я бы рада, чтобы мне веселое рассказали!

— погоди, — вдруг оживляется император, — я сейчас расскажу тебе веселое.

Он встает, подвигает свое кресло к девушке и садится рядом с нею. Он взял ее за руку, рассматривает ее дорогие кольца, рассматривает ее тонкие, нежные пальцы. Вот поднес эту руку к губам, целует каждый пальчик.

— Что же — обещал веселое рассказать, а не рассказываешь, государь?! — тихо проговорила княжна, не отнимая руки. — Это совсем не весело, что пальцы мне целуешь.

— Постой, погоди. Что же рассказывать тебе? — прямо в глаза взглянул ей Петр. — Ну, вот что, какая ты хорошенькая, какие глаза славные, большие, черные, ресницы длинные, щечки нежные, зубки белые. Ну что, весело это?

— Ох, как скучно! Все это знаю давно я сама, все старое.

Сам не понимает император, что с ним такое. Вдруг ужасно понравилась ему Катюша; никогда еще так не нравилась, как будто в первый раз он ее видит. Ему ужасно хочется поцеловать ее.

— Катюша, поцелуй меня! — говорит он, еще ближе подвигаясь к ней.

— С чего это? Не светлый праздник, с чего будем мы с тобою христосоваться?

— Да ну же, поцелуй, пожалуйста, разочек! — пристает Петр.

— Ни за что!

— А, так ты вот как! Ты забыла, что я твой император, что я могу приказывать тебе, а ты должна слушаться.

— А я могу не послушаться, — капризно сказала княжна, — я приказаний никогда не слушаюсь. Вот если бы хорошенько попросили меня, ваше величество, ну, тогда бы еще, может быть, послушалась.

— Так я прошу тебя, Катюша.

— Мало, не так.

— Как же мне просить, я и не знаю. Что же мне — стать на колени перед тобою, что ли! Хочешь, я встану?

— Зачем это? Сейчас говорили, что приказать мне можете, а теперь на колени...

И все больше и больше нравится Петру Катюша. Еще ближе он к ней придвигается; вот взял уже обе ее руки, стал перед нею на колени и обнял ее за шею, притянул ее к себе, целует. Она отворачивается, а он целует еще крепче. Вдруг его самого кто-то обнимает, кто-то и его целует. Он обернулся, встал с колен и видит — князь Алексей Григорьевич весь в слезах, а сам улыбается; за ним Прасковья Юрьевна тоже спешит обнять императора. Князь Алексей Григорьевич схватил руку Петра крепко поцеловал ее.

«Так что же это? — думается Петру. — Я ждал, что они бранить будут меня за мою вольность с Катюшей, а они точно благодарить собираются, рады!»

— Ах, государь мой милостивый, ваше императорское величество! — состроив радостную и в то же время растроганную мину и выжимая из глаз слезы, начинает Алексей Григорьевич. — Как уже и радоваться, не знаю. Счастье такое великое привалило, Бога благодарить не умею за такую милость. Одно только могу сказать тебе, государь мой, — будет она тебе доброй женой. Уж так она тебя любит, что и сказать невозможно... Давно мы с княгиней Прасковьей про это знаем, да молчали, сокрушались только на нее, бедную, глядя. Ну, вот и дождались радости!..

Князь Алексей снова кинулся обнимать императора, быстро схватил его руку, но на этот раз не поцеловал, а вложил в руку княжны Катюши и держал их крепко, другой рукой крестя Петра.

— Благославляю тебя, государь великий, дорогой сын мой. Сам знаешь всю любовь мою к тебе, а теперь, кажется, еще больше любить буду. Всю душу свою за тебя положу. Благослови и ты их, княгиня.

И княгиня Прасковья Юрьевна тоже подходит, тоже обнимает императора и дочь, крестит их и что-то шепчет.

Ни слова не выговорил Петр, ни слова не вымолвила и Катюша. Она была бледна, как смерть, вдруг зарыдала и выбежала из комнаты. Вместо нее явились остальные Долгорукие и князь Иван тоже.

— Сын, поздравь государя, он жених нашей Катюши.

Иван оглядел всех безумными глазами.

— Так ли это, правда ли это? — обратился он к императору.

Тот мрачно опустил в кресло и не мог ничего ответить. Голова его кружилась, сам он не помнил потом, как в руке его очутилась золотая стопка и как он выпил ее до дна, а затем выпил еще и еще.

— Правда ли, правда ли? — спрашивает князь Иван, крепко стискивая своими холодными, дрожавшими руками руку императора.

— Видишь, что правда, — слабо ответил ему Петр.

Больше он ничего уж не помнил. У него закружилась голова не то от вина, не то от волнения. Его бережно снесли в спальню, раздели и уложили.

#### IV

Проснувшись на следующее утро, император долго соображал, что с ним было накануне. Было что-то, очевидно, было. Он чувствует тяжесть какую-то, как-то неловко у него на душе — непременно было что-то важное и нехорошее. И вот он все припомнил, сердце его болезненно сжалось, и ему стало вдруг невыносимо тяжело, и Бог знает, что бы дал он, лишь бы не было этого несчастного вчерашнего дня.

— Да неужели нельзя все это переделать! Тут ошибка, ужасная ошибка. Он вовсе не хочет жениться, он вовсе не любит княжны Долгорукой. Да и что же, разве сказал он ей что-нибудь такое? Разве просил ее выйти за него замуж? Ничего такого не говорил он. Что же такое все это значит, отчего так сразу все накинудись поздравлять его? Но ведь он стоял на коленях пред княжною, обнимал ее, покрывал поцелуями ее щеки. Отец и мать вошли, увидели и подумали, что он,



наверное, сделал ей предложение, иначе не стоял бы на коленях, не целовал бы.

— Да как же смели они это подумать! — вырвалось у императора. — Разве я не могу так поцеловать ее?

И вдруг стало ему за себя совестно.

«Конечно, не могу, — подумал он. — Мы жили вместе, были близки друг к другу, но ведь все же Катюша не какая-нибудь другая девушка, все же она княжна благородная, и к тому же я ничего дурного не замечал за нею. Не в первый раз хотел я поцеловать ее, но она всегда отворачивалась, а то так и убегала совсем. Я не имел права насильно целовать ее, а если целовал, то, значит, не с тем, чтобы оскорбить, значит, Алексей Григорьевич имел право подумать, что я сделал ей предложение!»

Действительно, Алексей Григорьевич рассчитывал верно; он понимал императора, понимал, что, несмотря на все ужасные, отвратительные уроки, какие он же давал ему постоянно, еще не развратился юноша, его сердце осталось по-прежнему чисто и благородно, и на эту чистоту и на это благородство он и рассчитывал и надеялся.

«Ах, как теперь быть, что мне теперь делать? — отчаянно думал Петр. — Как на глаза им теперь показаться? Ведь не могу же я, ведь не могу же в самом деле жениться на Катюше! Что же это будет?! Ведь опять те же Меншиковы. Был я мал тогда, глуп был, а все же сумел вырваться, а вот теперь и старше сделался, а попался, и сам знаю, сам понимаю, что виноват, некого винить мне. Но какая же она мне невеста, и почему это вчера так она мне мила показалась, почему это я так хотел целовать ее? Она, точно, красива, но не люблю я ее! Не могу подумать, что будет она моей женою. Вот сегодня она мне и не нравится. Что же это такое?»

А в спальню уже входил Алексей Григорьевич с тою же радостною миною, с тою же фамильярною почтительностью.

— Заспать изволил, государь, а невеста давно встала, тебя дожидается.

Петр опустил глаза. Ему захотелось прямо все высказать Долгорукому, объяснить, что это была ошибка, что он сам не знает, как все случилось, что он, верно, много выпил за обедом.

— Алексей Григорьевич, — начал он смущенным голосом, — послушай, я должен сказать тебе, что Катерина Алексеевна...

— Ну вот, ну так! — быстро перебил его Долгорукий. — Первое слово о невесте! Эх, и я сам был молод, ваше величество, тоже прошел через все это, знаю, все понимаю. Чай, ноченьку целую о невесте все думал, государь? Ну, что же — дело хорошее, дело законное.

«Дело законное! — невольно повторил про себя Петр. — Ах, как мне быть! Он ничего не понимает, слова сказать не дает мне, да и что скажу я ему?!»

Алексей Григорьевич заговорил снова.

— Вот теперь все могу доложить, государь. Ведаешь ли — уж так нас вчера с женою осчастливил. Ведь в последнее время просто не знали мы, как и быть нам, слезами плакали. Заметил я, что твое величество давно уж нежно поглядываешь на мою Катюшу; один раз мне показалось, что ты поцеловал ее, спросить ее не решился, и так мне горько сделалось. Неужто, думаю, государь шутки нехорошие затевает с Катюшей? Неужто хочет он посрамить честный род Долгоруких? Княгиня моя о том же думает, плачет, со мною советуется. Нет, говорю, не может этого быть! Знаю я государя: сердце у него великое, благородное, не пойдет он на такое дело. А если нравится Катюша ему, так не затем, чтоб погубить ее, а чтоб осчастливить. И не ошиблось мое сердце, знаю я моего государя — да спасет тебя Бог, да продлит Он жизнь твою на долгие, долгие лета, ради счастья земли русской и нашего счастья.

И князь Алексей Григорьевич, по-старинному, земно поклонился молодому государю. У того совсем опустились руки, он сидел на постели и безнадежно глядел перед собою. «Что ему теперь отвечать? Как сказать этому человеку, что он в нем ошибся, что, заглядываясь на Катюшу и обнимая ее, не о браке думал государь; стыдно ведь в этом признаться, стыдно показать себя в таком виде. За что такое страшное оскорбление нанести Долгоруким? Уж не за то ли, что они все для него делают, об одном только том и стараются как бы угодить ему? Нет, нельзя этого. Ох, как страшно, как тяжело! И никто не поможет теперь, никого нет».

Не удержался император и заплакал горькими детскими слезами.

Алексей Григорьевич не обратил внимания на эти слезы, будто и не видел их, только спешно вышел из спальни, сказав, что позовет

камердинера и, повторив опять, что государя ждет его невеста.

Но что ж во всю эту ночь и во все это утро, пока тяжелым сном спал император, что ж делала, о чем думала Катюша? Когда Петра унесли в спальню и убедились, что он спит крепко, все кинулись к ней. Она лежала у себя на постели, зарывшись с головой в подушки, и тихо рыдала. Услышав, что вошли в ее комнату, она быстро отерла слезы, выступила вперед несколько шагов и остановилась в такой величественной, гордой позе, что все невольно изумились.

— Ну, что ж... ну, что ж, государь-батюшка, государыня-матушка, государи-братцы, что ж — поздравляйте царицу, целуйте у меня руку!

Она протянула им свою руку. Тонкие ее ноздри нервно вздрагивали, на губах была странная улыбка. Она чудно хороша была в эту минуту, но что-то страшное, что-то такое, от чего опустились глаза Алексея Григорьевича, мелькало в ее взгляде. Мать кинулась было к Катюше, чтоб обнять ее, но та ее от себя отстранила.

— Хорошо, ловко вы сделали! — снова заговорила она. — Так ловко, что до сих пор я даже удивляюсь: ни жениха, ни невесты не спросились, опомниться не дали. Что ж, радуйтесь теперь, веселитесь, родня государева!

Алексей Григорьевич уже успел опомниться. Он боялся совсем другой сцены, боялся, что дочь прямо и наотрез откажется, но она говорит не то.

— Катюша, — обратился он к ней. — Голубушка ты моя, друг мой сердечный, великое счастье тебя посетило, и только безумец один может не понять такого счастья. Обдумай все хорошенько, ведь царицей земли русской ты будешь, императрицей. — И он красноречиво начал описывать ей все, что ее ожидает. Всю свою хитрость, весь ум свой, хоть его и немного у него было, собрал он, чтоб соблазнить дочь своими речами, возбудить в ней честолюбие. Дорогое, заповедное дело для него совершалось теперь, и красно говорил он.

Катюша молча его слушала, сначала невнимательно, но потом она оживилась, глаза ее снова заблестали, ей вспомнился Миллезимо. «Не успел ты взять меня, — мучительно подумала она, — не умел, а вот тут сумели. И нехотя берут, а берут все-таки».

— Батюшка, — обратилась она к Алексею Григорьевичу. — Что ты мне расписываешь? Без тебя все знаю. И не бойся ты, я не думаю отказываться. Сам знаешь, от такого счастья не отказываются!.. Только смотри в оба, чтоб государь от меня не отказался, тогда срам и тебе и мне будет. И тебе не прощу я этого срама. Ну вот, Иванушка, — обратилась она к Ивану Алексеевичу, — поздравь же ты меня, наконец; ведь твоих рук это дело, тебе первому и поздравлять следует. Поздравь меня, да проси хорошенько, чтоб новая государыня была к тебе милостива. Очень тебе об этом ее просить нужно.

Князь Иван взглянул на нее равнодушно.

— Ошибаешься, Катерина, не моих рук это дело. И, может быть, много бы я дал теперь, чтобы совсем этого дела не было. Знаю я твою ко мне ненависть; знаю я, что новая государыня будет ко мне немилостива. Ну, да Бог с тобой, я не стану просить тебя о милости: мне не нужна она; коли сумеешь отвратить от меня государя, так, значит, тому и быть следует. Знай только одно: что бы со мной ни было, как бы ты ни терзала меня, какие бы пытки мне ни выдумывала, знай — никогда я не поклонюсь тебе. Мне не нужны ничьи милости.

— О, как ты говоришь теперь, — усмехнулась княжна Катерина. — Так ведь это только теперь, сторяча! Потом не ту запоешь песню. Смотри, вернешься еще, поклонисься.

Но князь Иван уже ее не слушал. Он вышел из комнаты.

— Безумец, как есть безумец! — воскликнул Алексей Григорьевич. — Бес в него вселился да и только. Слава Богу, что не мешает еще нам.

Страшно и тяжело было со стороны глядеть на жениха и невесту, когда они встретились утром. Император был совсем бледен. Он смущенно подошел к княжне и протянул ей руки, не глядя на нее.

— Ну что ж, поцелуйтесь, дайте на вас порадоваться, — шепнул ему Алексей Григорьевич.

Петр с невольным вздохом хотел было исполнить это требование, но княжна от него отстранилась.

— Постой, государь, — сказала она.

Родные с ужасом на нее взглянули.

— Постой, я не помню хорошенько, что вчера было между нами, я не помню, что мне говорил ты. Не знаю, как просил меня отдать тебе мою руку, не знаю я тоже, что сама тебе отвечала. Может, ничего этого

и не было, может, батюшка с матушкой ошиблись, не так поняли. Может, ты вовсе не хочешь, государь, чтоб я была твоей женой, так скажи!

И она пристально глядела на императора.

Алексей Григорьевич побледнел и вздрогнул. «Боже, ну как все рушится! — Безумная девка!»

Княгиня тихонько читала молитву.

Мысль за мыслью вихрем закружились в голове императора.

«Вот, вот минута, ведь вот она спрашивает... Сейчас и ответить, что ничего этого не было, что они ошиблись. Вот развязался, спасен, ну разве это возможно? Это значит прямо сейчас в глаза нанести ей оскорбление и им всем».

Совсем измученный и обессиленный стоял он перед княжной. Хотел говорить, да язык не слушался. Наконец с видимым мучением прошептал он:

— Если ты меня любишь, княжна Катерина, так будь моей женой.

«А вдруг она скажет, что не любит?!» — боясь надеяться на такое счастье, подумал он.

«А вдруг она скажет, что не любит?!» — с ужасом подумали Алексей Григорьевич с женой.

— Разве я могу не любить моего государя?! — опуская глаза, медленно и спокойно проговорила княжна Катерина. — Я благодарю тебя за великую честь и счастье, которым ты почтил меня.

Она взяла руку императора и приложилась к ней губами.

«Ух, спасены!» — разом подумали Долгорукие.

«Погибло, все теперь погибло!» — мелькнуло в голове императора.

На него страшно было взглянуть в это время: так был он бледен.

## V

Весть о помолвке императора быстро облетела всю Москву. Всюду, от дворца до самого бедного домика, только и толковали, что об этой предстоящей свадьбе. Ненависть к Долгоруким дошла до последней степени, но теперь не время было проявляться этой

ненависти, и все ее затаили, все прикрывали ее видом любезности и почтительности. Одним словом, точь-в-точь повторялось все, что уж было в последние дни меншиковского величия.

Барон Андрей Иванович, не меньше других пораженный и опечаленный решением императора, теперь знал уже наверное, что Долгоруких ожидает страшная судьба, только еще не мог придумать, как произойдет она. Он удвоил знаки дружбы и почтительности к Алексею Григорьевичу, а молодому императору ни о чем и не заикнулся, поздравляя его в самых утонченных выражениях.

— Андрей Иванович, — проговорил Петр, — что ж ты мне больше ничего не скажешь? Одобряешь мой выбор? Скажи что-нибудь, Андрей Иванович?

— Ваше величество уж вышли из тех лет, когда мой голос мог и должен был иметь значение при ваших решениях. Вы сами одарены разумом, знаете, что делаете, и я только могу принести вам мое всеподданейшее поздравление.

Ничего больше император не добился от Андрея Ивановича.

19 ноября некоторым особам, в том числе канцлеру графу Головкину и Остерману, приказано было явиться в дом князя Алексея Долгорукого, и там при них Петр объявил о том, что вступает в брак с княжной Катериной. В лице его не было кровинки, когда он произносил страшные для него слова. Он действовал как бы бессознательно, повторял словно не свои, а чужие и только заученные им на память речи. Невеста его тоже не выказывала никаких признаков счастья и веселья: исполнился обряд необходимый — и только. Государь пробыл в доме Долгоруких еще с час времени и затем уехал. Но все ясно слышали, как перед отъездом он обратился к Остерману и сказал ему:

— Андрей Иванович, распорядись, сделай милость, чтоб к цесаревне Елизавете был отправлен гонец в Покровское (она последние месяцы жила в деревне). Пусть она приезжает сюда, я непременно хочу ее видеть.

После этих слов многие переглянулись. Иные из Долгоруких даже смутились сильно. Но Алексей Григорьевич думал: «нет, теперь уж кончено, теперь никто не вырвет его из рук наших».

Герцог де-Лирия, присутствовавший при этом, предположил, что царь намерен выдать Елизавету за Ивана Долгорукого, а если она

откажется, то он ей предложит монастырь. Но герцог де-Лирия во время своего пребывания при дворе московском делал немало разных неосновательных предположений.

Как бы то ни было, царь уехал из дома Долгорукого, а за ним скоро поднялись и все приглашенные.

Прощаясь с хозяевами, все рассыпались перед ними в любезностях, толковали о чувствах своего глубочайшего почтения и уважения, вверяли себя в милость новой родни государевой. Когда все разъехались, да и сами Долгорукие разошлись по своим покоям, к княжне с самым таинственным видом подошла одна из ее камеристок.

— Княжна, матушка, государыня моя милостивая, нужно мне тебе сказать слово одно тайно, — шепнула она.

— Что такое, Любаша?

Любаша боязливо оглянулась во все стороны, но никого поблизости не было. И она всунула в руку княжне маленькую записочку. Та сразу поняла, от кого эта записка, и жадно прочла ее. Граф Миллезимо в страшном отчаянии писал княжне, что он услышал невероятную, невозможную новость, что не хочет верить ей, что непременно, непременно должен видеть княжну, и скорей, сейчас же, что он ждет ее за углом сада и будет ждать там всю ночь, хоть замерзнет.

— Точно он там? — спросила княжна Любашу.

— Тамотко, никак часа три стоит, с места не трогается. Будет, что ли, ответ какой, государыня? Я сбегая, снесу.

— Пойдем, пойдем ко мне в спальню, — быстро заговорила княжна. — Принеси мне тихонько свою шубку.

Любаша принесла ей шубку, она ее надела, закутала себе голову и почти все лицо платком, Любашу оставила в спальне и велела ей покрепче запереть дверь, а сама тихонько, темными коридорами, выбралась из дому.

Снег давно уже выпал, и в последние дни морозило. Ночь была темная, зги не видно. С соседних дворов лаяли собаки. Тихонько, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, добралась княжна до садовой калитки. Осторожно отворила ее и пустилась по знакомой дорожке. Снег не расчищен, в башмаки забирается; ветер уныло свистит над головою; деревья черные, как мертвецы, стоят. Качаются сухие сучья, и стучат они друг о друга, словно кости. Да и весь этот

сад кладбищем кажется: так страшно в нем, так холодно, так тоскливо. Но ничего этого не видит и не замечает княжна Катюша. Спешит она к садовой решетке. «А! Он здесь, — думается ей, — он пришел крадучись, как заяц какой-нибудь... Только опоздал!..»

И она все спешит, и вот наконец у ограды.

— Здесь ты? — шепнула она.

А он уж расслышал в тишине и темноте ее голос. Перелез через ограду. Он с нею, рыдает, он говорит ей:

— Дорогая моя, правда ли, что я слышал? Нет, ведь быть не может. Неужели ты мне изменила! Неужели ты променяла любовь мою на земное величие?! Не сама ли ты сто раз говорила, что не сделаешь этого, что без меня жить не можешь. Что ж это такое? Скажи, ради Бога, скажи мне всю правду. Ведь обманули меня, солгали, ведь ничего этого нет... не было, не будет?

Он простирает к ней руки, силится обнять ее, но она его отталкивает.

— Подальше, граф, подальше, я не твоя, я чужая невеста...

— Что ж это... так это правда?

— Да, это правда, — отвечает она мрачным голосом, — правда. Я выйду замуж за царя. Я буду царицей, и ты меня никогда больше не увидишь. Пришла я проститься с тобой...

— Ох! Уж лучше бы не приходила. Погубила меня, а теперь еще хочешь посмотреть, что со мною случилось, хочешь издеваться над моими муками лютыми. Видно, никогда в тебе не было сердца; видно, ты всегда только смеялась надо мною и меня обманывала!..

— Нет, я не смеялась над тобой, — тихо шептала княжна, — я тебя не обманывала. А вот ты так страшно обманул меня. Я тебя любила всей душой своей, я для тебя готова была принести всякие жертвы, от всего отказаться, бросить родных, родину, богатство, все бросить, все забыть — я тебе сто раз, как ты сам говоришь, это повторяла. Я просила тебя, умоляя увезти меня, взять меня с собою, скрыться. Всякую долю бы приняла я как счастье; в лачужке бедной, в лохмотьях была бы радостна, жила бы одним тобою. Вот как я тебя любила! А любить тебя так не следовало. Ты даже и не понял любви моей, и не оценил ее. Видно, и взаправду думаешь ты, что лучше и прекраснее тебя нет человека на всем свете, что так вот мы, бедные, и должны по тебе сохнуть!..



Проговорив это, вся дрожа и задыхаясь, она вдруг захохотала дико и страшно.

— Господи! За что такие слова ужасные, или я не любил тебя? Я, кажется, ничем не заслужил подобных упреков. Если б знала ты, что теперь со мною делается, не знаю, как переживу я это... Что мне за жизнь без тебя!.. Убью себя, застрелюсь, вот чем я кончу!

— Пустое, — горько ответила Катерина Алексеевна, — пустое! Не убьешь себя, не застрелишься, завтра же успокоишься. На словах — да, ты точно любил меня, а я, дура, верила. На словах все можно, а вот как до дела дошло, что ж ты такое сделал? Чем доказал мне любовь свою? Если б любил ты меня хоть наполовину так, как я тебя любила, так давно бы мы были неразлучны с тобою; давно бы ты нашел способ так или иначе отнять меня, увезти меня. Никому бы ты меня не отдал. Ну, а... ты что же сделал? Ведь я писала тебе, что пора пришла, что несколько дней еще, быть может, и все кончено, а ты даже ничего не отвечал мне.

— Да как же? С кем же, что я мог тебе ответить?! — в отчаянии метался граф Миллезимо. — Что мог я сделать? Как увезти тебя? За нами б погнались, тебя бы все равно от меня отняли. Я говорил шурина. Признался во всем ему, просил помочь мне, он отказался. Он сказал, что не может ввязаться в эту историю, что из нее выйдут такие последствия, каких допустить никак невозможно...

— А, так ты испугался последствий, ты внимал советам благоразумия! Если б ты любил меня, ни о чем этом ты не подумал бы, а только сделал бы свое дело, а там, что Бог даст. Ну, так успокойся же теперь, благоразумие восторжествовало. Теперь уж никакой истории не выйдет. Успокойся, да и успокой своего шурина. Скажи графу Братиславу, чтобы он ничего не боялся, а я к вам навеки пребуду благосклонна... И к тебе буду благосклонна, только издали. Теперь уж не время мне встречать тебя и говорить с тобою; я невеста императора. Советую тебе уехать на родину, там найдешь себе благоразумную невесту, а обо мне забудь. Я далеко от тебя... и высоко, меня теперь не достанешь!..

Миллезимо стоял перед нею неподвижно, с опущенною головою. Но вот он вздрогнул.

— Нет, — заговорил он, — нет, теперь я тебя понимаю, ты меня никогда не любила; чтоб скрыть измену свою, ты теперь вон какие

хитрые речи придумываешь: всю вину на меня складываешь. Только мне все ясно! Тебя прельстили почести, ты захотела быть императрицей, оттого и от меня отказалась, а не захотела бы — никто бы тебя не принудил: сама ведь не раз говорила...

— Ну хорошо, ну да: я захотела быть императрицей. Я от тебя отказалась, потому что нашла тебя слишком ничтожным; ну, и успокойся на этом и прощай!

— Боже мой! Да как же я теперь останусь, что я без тебя буду?! — вдруг зарыдал он, как маленький ребенок, обнимая ее. Она снова захотела оттолкнуть его, но не нашла в себе силы и сама к нему прижалась, и сама горько заплакала.

— Отойди от меня, уйди, уйди! Оставь меня в покое. Не расстраивай меня, сил моих нету, — твердила она, как безумная, заливаясь слезами. — Говорю тебе, что поздно. Не хватило у тебя силы взять меня, так что ж теперь? Значит, суждено так.

Но вдруг поднялось в ней прежнее раздражение; она остановила свои слезы, оттолкнула от себя Миллезимо и снова начала твердым и спокойным голосом:

— Ах, я глупая, расплакалась! Ну да это в последний раз. Устала я, ослабела, вот и плачу, а не подумай ты, что по тебе эти слезы. Нет! Знай ты теперь, что я уж не люблю тебя, потому что ты не стоишь любви моей. Я не могу любить такого человека, как ты, потому что ты трус, ты тряпка, ты не мужчина, ты баба. Моего теперешнего жениха люблю больше. Он больше тебя стоит любви, в его руках сила. А я могу любить только сильного. Прощай, и советую тебе позабыть обо мне, как я о тебе позабуду, прощай... Что же ты стоишь? Уходи от меня, уходи...

Она сделала несколько шагов назад.

Он кинулся за нею, он ловил ее за полы шубки. Он молил ее хоть на минутку остаться с ним, простить его, сказать ему, что она его любит. Но она его не слушала, она отнимала от него свою шубку, она бежала от него. Он стонал, он волочился за нею, но она вырвалась и побежала. И казалось ей, смерть обступила ее со всех сторон. Увидела она теперь, что бежит через огромное кладбище, мертвецы-великаны черные простирают перед нею свои костлявые руки, стучат костями и хохочут.

В каком-то чаду, в бреду каком-то прибежала она к себе и в изнеможении бросилась на постель.

## VI

Прошло две недели. День, назначенный для обручения императора и княжны Долгорукой, приближался. Государыня–невеста была перевезена в роскошный головинский дворец, где должна была пребывать вплоть до свадьбы. Петр съездил в Новодевичий объявить бабушке о своей женитьбе. Он застал царицу слабой, больной. Она уж не решилась говорить с ним откровенно, давать ему советы. Молча выслушала его решение, сухо поздравила его и поблагодарила, что ее не забыл, самолично известить приехал. Петру было сначала очень неловко, потом стало грустно, тяжело на сердце. Какое-то мимолетное чувство мелькнуло в нем к бабушке. Все же она своя, родная, а в последнее время ведь он как есть одинок, кругом все чужие. Еще минута, другая — и, может быть, он бросится к бабушке на шею, горько заплачет и откроет ей свою душу. Он пристально взглянул на нее, но ее старое лицо так сухо, холодно, не видно в нем ни любви, ни ласки, чужд ей юный император, и она сама показалась ему чуждою, ненужною. Не сказал он ей ничего и, простясь с ней, уехал.

По Москве шли большие приготовления к предстоявшему празднеству. Все хлопотали о том, чтобы как-нибудь не ударить лицом в грязь, явиться в полном блеске; особенно волновались иностранные резиденты: им следовало достойным образом представить своих монархов, которым они послали по этому случаю длиннейшие счета и реестры покупок.«В этой стране все невероятно дорого, а роскошь здесь такая, какой никогда еще не видывали в Европе», — писали они, оправдывая свои чрезмерные траты.

В головинском дворце с утра и до вечера не затворялись двери. Весь город спешил явиться к новой государевой родне и удостоится чести поцеловать руку у государыни–невесты. И государыня–невеста обязана была всем доставлять честь эту. Она выходила к гостям спокойно, с гордой осанкой, и обдавала всех величием и холодом. В

ней невозможно было узнать недавнюю резвущку Катюшу: так она изменилась, так вошла в новую роль свою.

Но несмотря на видимое спокойствие, тяжелая, мучительная борьба совершалась в сердце Катюши. Только не впускала она никого в свой внутренний мир, ни с одной живой душой не поделилась своими муками; вместе с тоскою, вместе с страданием росла и ее гордость. Она теперь окончательно прониклась сознанием своего превосходства над окружавшими ее людьми. Они казались ей такими мелкими, ничтожными, все они годились только на то, чтоб кланяться перед нею, ловить ее гордые взгляды, каждое ее небрежно брошенное слово. И она стояла в стороне от всех со своим разбитым, никому неведомым сердцем. Она нашла в себе силу в тот недавний страшный вечер оттолкнуть от себя графа Миллезимо, убежать от него, но силы скоро ее оставили. Среди новой жизни, в которую она попала, среди этого величия, действовавшего на нее как-то раздражительно, она понимала все яснее и яснее, что у нее на всем свете было одно только сокровище, и сокровище это теперь отнято, уничтожено. Если б можно было вернуть старое, она никогда бы не оттолкнула от себя Миллезимо. «Что ж, что он робок, нерешителен, что он даже трус, может быть; что ж такое, все ж она его любит, все же в этой любви только и было ее счастье. И какое счастье!»

Каждою минутою ей нужно дорожить, каждая минута дороже всего этого блеска. Зачем она отказалась сама от последней минуты, и неужели никогда она больше уж не увидит своего друга?! Она оскорбила его, он не придет. Но нет, надо вернуть его, надо хоть раз его увидеть. Она зовет свою верную Любашу, которая целый год передавала Миллезимо ее письма.

— Любаша, голубушка! — говорит она, и перед этой простою девушкой нет в ней той гордости, нет той величественности, что трепетом и волнением обдает теперь русских сановников, ищущих милости будущей государыни. — Любаша, — говорит она, — сослужи мне последнюю службу...

— Все, что прикажешь, государыня! Сейчас хоть умру, знак только подай!

— Зачем умирать! — печально отвечает Катюша. — Поди, вот, снеси ему записочку и ответ принеси мне.

И она дрожащей рукой пишет:

«Завтра обручение, все кончено, хочу проститься с тобою. Любаша скажет остальное». А вдруг оскорбленный, отверженный ею, считающий ее изменницей, он не придет?!

— Ответа дождись, Любаша, ответ мне нужен скорей... Не доживу, не дождусь тебя я, кажется! Скорее, лети как ветер! — И она начинает шептать ей что-то. Понимаешь, понимаешь, Любаша?!

Любаша кивает утвердительно головой и говорит:

— Все можно, все сделаю, государыня.

И летит она как ветер, но все же далеко это, все же нужна и опаска. Час прошел, другой начался, нету ответа. Но вот кто-то стукнул в двери. Она, Любаша!

— Что, что? — только глазами спрашивает ее княжна Катерина, а язык ее не слушается, не может произнести ни слова.

— Вот, государыня, вот, прочти.

Она читает: «буду живой или мертвый».

«В полночь, как долго еще, как страшно долго!»

А там, в парадных покоях ее ждут, за ней уж посылали. Там снова гости: вавилонское столпотворение.

И княжна идет, вся сияя бриллиантами и изумрудами, волоча за собою длинный шлейф белого атласного платья, затканного золотыми разводами. Она проходит ряд комнат, царственно кланяется на все стороны, за нею следует шепот, но не один восторг только слышится в этом шепоте. Она знает, понимает, сколько собралось здесь тайных врагов, завистников и завистниц ее величия. Но некогда ей теперь думать об этом. Ждет она не дождется урочного часа. Вот скоро одиннадцать, скоро все разойдутся и будет она свободна.

Она говорит матери, что нездорова, что должна лечь. Известие об этом быстро обегает все комнаты. Гости спешат уехать, залы пустеют. Вот и родные разошлись, приехавшие дядья уехали. Она простилась с ними и скрылась в опочивальне. А там Любаша уж ждет ее.

— Готово, все устроила. Бог поможет, никто ничего не знает.

— Ну, так живей, живей!

Любаша исчезает. За воротами дожидается ее кибитка. Плотнo закутавшись в шубку и совсем закрыв лицо свое, садится она в кибитку. Кучер гаркнул на лошадей, они мчатся. Прошло полчаса. К той же пустой стороне головинского дворца опять подъехала та же кибитка, но из нее вышла уж не одна Любаша, из нее вышел еще

кто-то. Две женщины, закутанные, в тишине ночи пошли задворками. Сонный сторож протирает глаза, собаки на них залаяли.

— Ах вы, полуношницы, — ворчит сторож. — Стыда у вас нету, вот запереть ворота, не пустить бы!

— Ну, ну, не ворчи, старый, — шепнула ему Любаша. — Вот тебе, выпей на здоровье.

Она сунула ему в руку монету. Он ощупал ее.

«Эге! — подумал он. — Никак это рубль серебряный, видно, испужалась девка».

И он замолчал.

Любаша и другая женская фигура поднимаются по лестнице. Все спят в доме, теперь никого не встретить, Любаша все устроила, каждый поворот высмотрела — хитрая она девка, привычная.

Вот узенький длинный коридорчик, тьма в несчь — зги не видно. Любаша идет вперед ощупью, шаги свои отсчитывает. Держась за ее шубку, подвигается и другая женщина.

— Здесь! — шепнула Любаша.

Она тихо стукнула в стену. Вот слышит она, как где-то близко-близко повернулась ручка двери. Вот, легко скрипнув, дверь отворилась. Любаша пропустила вперед свою спутницу, а сама осталась в темном коридоре.

Княжна Катерина Алексеевна стояла у маленькой двери в большой роскошной комнате, ведущей в ее опочивальню. Комната была совсем темная, только из спальни, через тяжелую полуспущенную портьеру, пробивалась полоска слабого света.

— Ты это? Ты? — шепнула княжна. — Тише, иди за мною.

Спутница Любаши идет за нею. Они в спальне.

— Никто вас не видел?

— Никто, никто, — повторяет Миллезимо, сбрасывая женскую шубку и платок с головы. — Никто не видел, моя радость!

Он бросается на колени перед Катериной, целует ее руки, плачет, смеется, с восторгом и тоскою глядит на нее. И она сама плачет, сама смеется и обнимает его. Кругом все тихо. На ключ заперла она дверь спальни, а оттуда, из коридора, никогда никто не ходит. Там же за дверью Любаша.

Разноцветные лампы, зажженные перед образами, как-то волшебным образом озаряют комнату. Вся она устлана дорогими мягкими

коврами. Золоченая, штофом покрытая мебель иностранной работы.

В глубине, под драгоценным балдахинном, скрывается высокая кровать княжны Катерины. Никто, кроме отца и матери, до сих пор не был в этой комнате: для всех заперта она, как святилище. Но не смущается княжна Катерина присутствием молодого графа. Ни минуты не задумалась она, устроив это опасное, почти невозможное свидание. И что ж, вот ничего не случилось! Вот он здесь, здесь, а ведь только этого и нужно, а там дальше пусть будет, что будет. Пускай хоть все теперь придут сюда, ото всех сумеет отстоять она его. Никому не отдаст она последнего часа своего счастья! Ведь завтра смерть, так о чем же думать! А! Вы воображали, что сумели отнять у меня милого?! Спутали меня, лишили меня воли! Вы теперь спите спокойно? Ну и спите!

И она, обессиленная волнением, счастьем и тоскою, мешающимися в душе ее, опускается в кресло.

Миллезимо на коленях перед нею. Он не выпускает из рук своих ее руки.

— Так ты меня любишь? — шепчет он. — Зачем же ты прогнала меня? Ведь я с тоски чуть не умер, чуть не застрелился!

И она уж не может смеяться над ним, не может спросить его: «почему ж не застрелился?», не может сказать ему, что, значит, не велика была тоска, если «чуть» осталось. Она уж и не думает ни о чем, и не задает себе никаких вопросов. Может быть, даже ей теперь и дела нет до любви его. Она сама его любит: вот все, что она знает!

— Да, я люблю тебя, — говорит она ему, — люблю всем горем, всем ужасом моей жизни. Пойдем, пойдем, убежим отсюда. Возьми меня, унеси меня подальше!

— Да как же это сделать? — в недоумении проговорил он.

— Как сделать? — смеется она и плачет. — Как? Нельзя этого сделать, да и я сама теперь не пойду с тобою. Нет! Все кончено! Люблю я тебя, ох, как люблю, но уж и не знаю, право, что больше: любовь моя к тебе или ненависть к ним ко всем!.. Если б знал ты, как отвратительны они, как жалки, как ничтожны! Да ты не знаешь, ты не понимаешь этого. И не нужно, не нужно! Знай только одно, что они ошиблись во мне, что никто из них меня не понял. Знай только одно, что я смеюсь над ними и до конца посмеюсь! Они меня продали!.. Может быть, еще раскаются в этой продаже. А он, тот, который купил

меня, — он точно купил как вещь какую — и он раскается! Доброй, верной женой буду я ему!

И она опять хохочет злым, мучительным смехом, и забывает она все обстоятельства, при которых купил ее тот, кому теперь она грозит. Забывает она, что он ее спрашивал — любит ли она его? Она знает, как тогда ему ответила, знает, что своим ответом погубила его и себя, потому что он ее не любит, потому что бессовестно, отвратительно поступили с ним, с этим бедным, измученным ребенком и ее родные, и сама она. Но ничего этого не помнит она, не понимает, знать не хочет. Ей кажется, что он, ни в чем неповинный, прекрасный ребенок, враг ее и мучитель, и вот она собирается мстить ему, и считает себя правою: видно, вконец помутился ее разум. Видно, вконец помутилось ее сердце. Ох, как болит оно, как рвется на части! И опять она плачет, опять прижимает к груди Миллезимо. И глядит на него — не может наглядеться.

Вихрь какой-то поднимается в ней и перед нею. Голова ее кружится. «А! Я еще поборюсь с вами! — мелькает в ней последняя мысль. — Я еще накажу всех вас!» И она опять забывается, чувствует только присутствие милого и шепчет ему:

— Твоя, твоя, возьми меня!..

Летят, мчатся не то часы, не то минуты. Жизнь ли остановилась, и нету ее? Или кипит она и разливается полной чашею? Сон ли это, или явь непонятная? Волшебство какое-то... что-то заколдованное...

Но кто это стучится? Что это такое? Ах! Да это Любаша; видно, долго, видно, много прошло времени. Утро скоро, пора проститься. Да разве возможно это? Теперь... Нет! Нет, теперь уж не отпустит она его! Теперь уж не отдаст его никому!

Но Любаша опять стучится.

— Прощай, — шепчет княжна, — прощай. Никогда мы больше не увидимся!..

— Нет, я с тобой не прощаюсь, — отвечает Миллезимо. — Завтра, завтра я тебя увижу.

«Завтра... разве будет завтра? — думается княжне, — а если и будет, так не увидит он меня завтра. Завтра я буду другая. Завтра он меня не узнает!»

— Не уходи, останься со мною! — безумно молит она и в то же время гонит его, говорит, что поздно, что их застанут, что его



погубят...

Наконец он уходит. Поцелуй последний. Последнее объятие... Вот он ушел. Она слышит, как скрипнула за ним дверка. Она кинулась было к нему, но на пороге своей роскошной спальни пошатнулась и упала, безумно рыдая.

## VII

30 ноября 1729 года было назначено обручение Петра II с княжною Екатериной Алексеевной Долгорукой. На обручение были приглашены все сановники с их семействами и многие богатые московские жители. Собирались в большой зале кремлевского дворца.

Император еще не показался. Долгоруких тоже не было. Все с изумлением передавали друг другу о том, что в этот день караул во дворце был увеличен со 150 на 1200 солдат (целый батальон гвардии). Многие объясняли это тем, что Долгорукие боятся какого-нибудь беспорядка. Поговаривали, что солдатам приказано стрелять по всякому, кто будет замечен в беспорядке и что-нибудь крикнет.

Вот показался Остерман. Многие кинулись к нему, прося объяснения, но он сам пожимал плечами и казался очень удивленным.

Собрались все государственные сановники и знатные русские люди и поместились по одну сторону залы на парчевых скамейках, а скамейки с другой стороны заняли иностранные резиденты и их свита.

В глубине залы стоял балдахин, а под ним два кресла; тут же находился и аналой, на котором лежало Евангелие. Вокруг аналая разместилось духовенство с Феофаном Прокоповичем во главе.

Наконец из внутренних покоев показался император. За ним следовала гренадерская рота, состоявшая из ста человек. Это обстоятельство опять обратило на себя внимание. Капитаном гренадерской роты был князь Иван Долгорукий: теперь уж нет никакого сомнения, что все делалось по его распоряжению. Император лишен им свободы, он у него под караулом и не видит этого или не находит в себе силы противиться своему фавориту. Петр казался спокойным и равнодушным. Он подошел к некоторым лицам, каждому сказал две–три фразы.

Но вот взоры всех обратились к дверям; поднялся шепот. В дверях показался Иван Долгорукий. Он вел за руку свою сестру, за ним следовала княгиня Долгорукая со второю дочерью.

Император пошел к ним навстречу, взял руку невесты и отвел ее под балдахин к одному из кресел, а в другое сел сам. И так неподвижно и молча сидели они несколько минут.

Княжна Катерина была одета в платье из серебряной ткани, плотно охватывавшей ее нежный стан. Волосы ее были расчесаны на четыре косы и убраны алмазами, на голове была надета маленькая корона.

Княжна опустила глаза и ни на кого не смотрела. Лицо ее было бледным, губы сжаты, но во всей ее фигуре было заметно спокойствие. Император тоже вдруг побледнел и не глядел на свою невесту. Он рассеянно перебирал серебряное шитье на своем светлом камзоле. По временам утомление и даже тоска выражались на лице его. Ему было неловко, он Бог знает что бы дал, чтоб иметь возможность убежать отсюда, куда-нибудь скрыться. Но теперь уж убежать и скрыться некуда. Он очнулся, встал с кресел, подал руку невесте, и они подошли к аналою. Слабым, упавшим голосом объявил император, что берет княжну себе в жены, обменялся с нею кольцами и надел на ее правую руку свой портрет. Потом жених с невестой поцеловали Евангелие. Феофан Прокопович прочел над ними молитву. Император поклонился княжне, и они снова сели на золоченные кресла, и опять-таки ни разу не взглянули друг на друга. Оба все были так же бледны, так же печальны, казались такими же усталыми. И всем было тяжело и странно смотреть на них, всем казалось это торжество обручения какой-то печальной церемонией, предвещающей что-то недоброе.

Император подозвал к себе Ивана Долгорукого и сказал ему, что желает назначить кавалеров и дам ко двору своей невесты. Машинально, будто повторяя затверженный урок, он произносил имена и фамилии, и, окончив это, взял руку невесты.

Все присутствовавшие кавалеры и дамы одни за другими подходили и целовали эту руку.

Княжна все не поднимала глаз. Ее холодная рука лежала, как мрамор, как неживая в руке императора. Но вдруг она подняла глаза, из груди ее вырвался слабый крик. Она быстро поднялась с кресел и вырвала руку из руки императора. Он изумился, взглянул на нее, потом

перед собою, и яркая краска залила его щеки. Перед ним стоял Миллезимо, а княжна сама протянула ему руку, и он целовал ее.

«Что ж это такое? Ко всему еще и оскорбление!» — подумал император, но справился с собою: он теперь уж умел с собою справляться.

Все сделали вид, что ничего не заметили, и целование руки продолжалось снова. Толпа придворных поспешила окружить и спрятать за собою Миллезимо. Его вывели из залы, усадили в сани и увезли. Он молчал, не отвечал ни на какие вопросы и позволял делать с собою все, что было угодно этим людям. Он даже не знал и не интересовался: спасают его или везут на погибель. Он сделал свое дело: простился с Катериной Алексеевной, исполнил данное ей обещание.

А во дворце все шло своим порядком. Церемония окончилась, духовенство удалилось из залы, и начался бал. Император был в первой паре с княжной, и она снова была равнодушна, бледна и молчалива. Он тоже не говорил ей ни слова. Ни одним звуком не заметил он ей, что находит странным и неуместным ее поступок. Он спешил скорей кончить танец, чтоб иметь возможность уйти от невесты. Еще час тому назад он был к ней только равнодушен, а теперь, когда связал себя с нею, новое чувство охватило его. И это чувство было то же самое, какое испытал он два года тому назад к княжне Меншиковой: невеста стала ему противна. Он помышлял теперь о том, что зачем же допустил он обручение, что еще можно было отказаться. Что ж такое они в самом деле? Ведь есть же конец дружбе! Да и прав ли Алексей Григорьевич, точно ли это нужно? Прежде всего государь должен быть свободным человеком, должен располагать сам собою, а не отдавать свою жизнь и свою радость каким-то странным и вряд ли существующим necessitatibus.

Бал скоро кончился, и княжну отвезли в головинский дворец в карете императора, на верху которой была корона; конвой сопровождал эту карету.

Дома собрались родные поздравить царскую невесту, но прежде еще она должна была вынести бурю. Мать ее всплеснула руками и разразилась неудержимым потоком упреков.

— За что ты и себя и нас осрамила? — говорила княгиня. — Что ты сделала! Ведь теперь всякий, вон, толкует, что ему вздумается.

— Да что ж, ведь правду толковать станут! — ответила княжна.

— Ну, скажи на милость, что это случилось с тобою? Ведь вчера еще ты уверяла и обещалась, что выкинула совсем из головы эту глупость, что забыла и думать об этом Миллезимо. Что ж это, наконец, такое? О себе не думаешь, так подумала бы хоть об императоре, ведь ты его срамишь!

— Я и сама не знаю, как это случилось, — тихо отвечала княжна. — Я не думала увидеть его, не думала, что он придет со мной туда проститься. Но он пришел... и не могла же я того вынести, чтоб он поцеловал мою руку из рук императора.

— Да говорю тебе, подумала бы хоть о государе! Ведь его ты осрамила!

— Ну, об нем-то я, действительно, не очень думаю: ровно столько же, сколько и он обо мне.

Но эти последние слова были сказаны так тихо, что одна только мать и расслышала их.

Князь Иван не вернулся домой. Он не хотел теперь встречаться с сестрою.

Все уж стали расходиться по своим комнатам, когда слуга доложил о приезде фельдмаршала Долгорукого.

Он вошел своей тяжелой походкой, приблизился к царской невесте, обнял ее, а затем, отступив на шаг, почтительно поцеловал ее руку.

— Поздравляю тебя, — громко сказал он, — поздравляю вас, ваше императорское высочество! Вчера я был твоим дядей, нынче ты моя государыня, и я буду всегда твой верный слуга. Позволь дать тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твоя фамилия многочисленна, но, слава Богу, она очень богата и члены ее занимают хорошие места. И так, если тебя будут просить о милости кому-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетелей. Это будет настоящее средство быть счастливою, чего тебе желаю.

Фельдмаршал низко поклонился племяннице и снова поцеловал ее руку.

На всех родных эта торжественная речь произвела приятное впечатление. Еще вчера старый князь восставал против задуманного

родственниками брака, еще вчера толковал о том, что брак этот не поведет к добру, что Долгорукие идут по стопам Меншиковых, и ожидает их одинаковая с ними участь. Но, видно, старик передумал, видно, честолюбие в нем заговорило!

Князь Алексей радушно обнял его и благодарил за родственные чувства и за прекрасную речь, им сказанную.

Фельдмаршал промолчал и скоро уехал. Он не думал изменять своих мыслей, он только видел, что теперь ни к чему их высказывать: все равно все уж сделано и ничего не поправишь.

## VIII

Алексей Григорьевич вернулся домой в самом мрачном настроении духа. Он еще не знал, что будет завтра, какое впечатление произвел глупый поступок Катерины на императора. Так ли это пройдет все, или поднимется буря. Но, во всяком случае, теперь-то уж необходимо окончательно уничтожить причину ожидаемой бури. Он призвал себе князя Ивана и стал толковать с ним о том, что немедленно надо ехать к графу Братиславу и убедить его услать куда-нибудь подальше Миллезимо.

— Конечно, это следует, — отвечал князь Иван. — Не для сестры я это сделаю, а для несчастного государя. Если б знал я вовремя, что еще такое вы ему приготовили, так не допустил бы этой ужасной свадьбы.

— А, ты опять свое начинаешь! — угрюмо проговорил ему отец. — Хоть теперь образумься, оставь и нас, и сестру в покое. О себе думай!

«Да, пора мне о себе подумать!», — мысленно проговорил князь Иван, и поехал к цесарскому посланнику.

Он мучительно обдумывал, как заговорить о таком щекотливом деле.

Но граф Вратислав предупредил его. Ему было уж все известно, и он поспешил уверить князя, что на другой день Миллезимо отправляется к цесарю с различными поручениями.

— Говорю это к тому, князь, — закончил Вратислав, — что не будет ли от вас каких поручений?

Гора с плеч свалилась у князя Ивана. Он сердечно поблагодарил посланника и поспешил домой, передать своим о благополучном окончании дела.

«А теперь мне нужно о самом себе подумать!», — опять мысленно сказал он. И думал он о себе всю ночь, и решил, что назавтра, так или иначе, а будет разъяснена вся судьба его.

На другой день он выехал куда-то торопливо. Лихие кони его мчались, и рослый, толстый кучер диким гарканьем отгонял с дороги прохожих. Встретился на улице князю Ивану экипаж герцога де-Лирия.

«Куда он этак мчится? — подумал герцог. — Наверно, к принцессе. Я не я буду, если завтра мы не узнаем о его свадьбе с Елизаветой!...»

Но испанец ошибался. Князь Иван повернул не в ту сторону, где жила цесаревна. Он спешил к шереметевскому дому.

Навстречу князю вышел юный хозяин, граф Петр Борисович. Конечно, ему было лестно видеть у себя всемогущего фаворита — да еще когда? — на другой день после обручения княжны Долгорукой с императором. Он не знал, как и благодарить его за это посещение, и только несколько успокоился, когда князь Иван сказал, что приехал по большому делу.

— Какое может быть у тебя дело до меня? Чем могу служить тебе? Слово скажи, все исполню! — спрашивал юный граф, подумывая о том, что теперь необходимо, как можно теснее сблизиться с Долгорукими.

— Скажи мне, Петруша, ведь ты теперь хозяином этого дома считаешься, старшим Шереметевым? Ведь ты теперь глава брату и сестрам, так ведь?

— Конечно! — самодовольно ответил юноша.

— Ну, так вот, значит, тебе, безусловно, мне приходится в пояс кланяться, просить тебя по старому обычаю. Слушай меня, граф Петр Борисович, пришел я к твоей милости просить у тебя руку сестры твоей, Натальи Борисовны.

Молодой Шереметев не вспомнился от изумления и радости, услыша слова эти. Он кинулся на шею князю Ивану, стал обнимать

его.

— Если б можно было, — радостно говорил он, — я б за тебя всех моих сестер разом отдал!

— Так, значит, ты согласен?

— Что же еще спрашивать: не грезил о таком счастье!

И он опять кинулся целовать князя.

— Так поди к сестре, передай о моем предложении, и если согласна, то пусть меня примет.

— Согласна! Вот вздор какой! Как будто может она быть несогласна! Да ее в этом деле и спрашивать нечего.

— Я не так думаю, — заметил Долгорукий, — если б она была не согласна, так силой брать не стану.

Шереметев хотел было ему что-то напомнить, хотел было заметить, что не всегда таковы были у молодого князя правила, но воздержался и поспешил к сестре.

«Да ведь не спятит же она с ума, — дорогой подумал он, — не вздумает же отказаться, а коли вздумает, так я с ней не поцеремонюсь, уломать сумеем».

Наталья Борисовна входила в свои комнаты, когда ей доложили о приходе брата.

— Что тебе, братец? — изумленно спросила она. Брат не баловал ее своими посещениями, иногда по целым неделям она его не видала. — Да, вот что я скажу тебе, — продолжала она, не дожидаясь его ответа на первый вопрос ее, — сходи ты к бабушке в комнату, я сейчас от нее. Совсем она больна, может, умрет скоро, о тебе спрашивала...

— Экая невидаль! Не в бабушке теперь дело. Слушай ты, сестра, с чем я пришел к тебе.

И он передал ей о предложении Долгорукого.

— Где же он, где, здесь, у нас в доме? — быстро спросила Наталья Борисовна, краснея, как маков цвет, и задыхаясь от волнения.

— Да, твоего ответа дожидается. Если согласна, так просит принять его.

Наталья Борисовна молчала.

— Что ж ты, сестра, говори же! Ведь нельзя же так долго его заставлять дожидаться. Согласна ты иль не согласна? Да, впрочем, о чем тут толковать? Конечно, согласна. Разве от такого жениха можно отказываться, а теперь особенно? Что ж мне сказать ему от тебя?

— Скажи, что я жду его, — тихо шепнула графиня.

Иван Алексеевич не заставил себя ждать.

Пятнадцатилетний, но уже благоразумный, осмотрительный Петр Борисович не вошел вместе с ним, оставил их наедине.

— Чем решишь ты судьбу мою, Наталья Борисовна? — спросил Долгорукий, кланяясь графине.

Она протянула ему руку, которую он поцеловал почтительно и с невольным сердечным трепетом.

— Присядь, князь, — сказала она, — потолкуем. Прежде всего благодарю за честь, которую ты мне делаешь...

— Этого могла бы и не говорить, — перебил ее Иван Алексеевич.

— Отчего мне не говорить этого, коли я так чувствую? Правда эго, что ты мне честь делаешь. Хоть по рождению моему я и не ниже тебя стою, но ведь ты, князь, теперь так высок сделался, что мог рассчитывать на лучшую невесту. Все даже и говорили, что ты уж приглядел себе цесаревну Елизавету. — Несмотря на все свое волнение, несмотря на страшную важность решавшегося, на счастье, безмерно охватившее душу, Наталья Борисовна все же не могла удержаться от этого упрека.

— Не кори меня цесаревной, — ответил ей Иван Алексеевич. — Коли прошлым корить станешь, много найдется, и кончишь ты тем, что не за честь почтешь мое предложение, а за бесчестье себе немалое.

И он грустно глядел на нее.

— Ах, что ты, что ты! Прости меня, глупую, зачем я это сказала?! Незачем было говорить мне: ведь вот коли за меня сватаешься, так, значит, другой невесты у тебя нету, значит, прежние мысли оставил. Что ж это я тебя упрекнула! Видишь, как я глупа, может, и впрямь ты найдешь жену поразумнее меня, которая бы тебе больше подходила, больше тебя стоила.

А князь уж был перед ней на коленях и целовал ее руки.

— Радость моя, — шептал он, — по глазам твоим вижу, что не хочешь ты погубить меня, не откажешь ты мне. Спасибо, родная, спасибо. Долго не смел я к тебе появиться. Страшно мне было и прикоснуться к тебе: таким недостойным и низким себе я казался. Но больше терпеть не хватило силы. Когда мог бороться себя, борол, ради тебя, помня слова твои, много раз от искушений разных устаивал и зла убегал. Знаю, что много мрака еще во мне осталось, но не возгнушайся



ты мраком моим, прими меня, каков я есть, и помоги мне чистотою души своей победить врага. Только с твоей помощью и могу я стать настоящим человеком.

Он говорил это так искренно, он глядел на нее с такой верой и любовью, что она невольно склонилась к нему и обняла его шею.

— Не унижай себя предо мной, недостойной, я, может, еще во сто раз хуже тебя! — шептала Наталья Борисовна.

— Ты не гневи Бога, не клевети на себя, — ответил он, покрывая поцелуями ее руки, — но знаешь ли: вот велико теперь мое счастье, но я все же готов от него отказаться при одной страшной мысли...

— Что такое, что? Скажи мне все, всю свою душу! — испуганно спрашивала она.

— Послушай, Наташа, послушай, жизнь моя! Вот ты сейчас говорила о том, что я так стою высоко... сегодня — да, но завтра может все перевернуться. Непрочно мое величие, и сам я это знаю лучше, чем кто-либо. Всего мне нужно бояться, а пуще всего сестриной ненависти. Знаешь ли ты, что она меня ненавидит? Знаешь ли ты, что все она сделает, чтобы только погубить меня? И с чего эта ненависть, не понимаю, но только она существует, да ведь и ты сама ее видела. Так после этого сообрази ты, как непрочно мое величие. Быть может, скоро, очень скоро я буду забытым, изгнанным человеком. Мне все равно, от души говорю, как перед Богом истинным, что не стану я на это сетовать. Не надо мне ни блеска, ни почестей; много их, да счастья они мне не дали. Ведь не за них же ты меня любишь, а только одна любовь твоя и есть мое счастье. Мне их не надо, я помирюсь со всякой долей, да ты-то как же! Имею ли я право, при такой непрочности моего положения, звать тебя за собою в это неведомое, быть может, страшное будущее?

— Князь Иван, — обратилась к нему графиня, и все ее лицо сделалось таким серьезным, так изменилось: она казалась уж не юной, не шестнадцатилетней девушкой, а женщиной, много испытавшей, — князь Иван, — повторила она каким-то вдохновенным голосом, — дважды любить я не сумею. Раз тебя полюбила — и только один ты и есть у меня, и вся жизнь моя будет с тобою, или совсем одинока. Если судьба сулит нам счастья — будем счастливы, если судьба готовит нам горе, страданья — будем горевать и страдать вместе. Я не отойду от тебя и верю, что и ты меня не оставишь. Я не обману тебя и верю, что

и ты меня не обманешь. Князь Иван, хочешь — бери меня, бери всю жизнь мою, тебе, и одному тебе отдаю я ее, и как бы страшно ни было это будущее, о котором ты теперь думаешь, я с восторгом и блаженством принимаю его из рук твоих!..

Невольный крик вырвался у Ивана Долгорукого, и с этим счастливым криком он кинулся к ней, и они снова обнялись крепко. И он понял, как много дает ему судьба, понял, что нашел клад заколдованный, величайшее земное сокровище.

## IX

Герцог де-Лирия должен был сознаться, что предсказал плохо. Весть о помолвке фаворита с графиней Шереметевой облетела Москву так же быстро, как и весть о царской помолвке. Теперь все, что стремилось в головинский дворец, стало спешить и в шереметевские палаты. Там всех встречала юная невеста, сиявшая красотой и радостью. И все несли ей свои льстивые поздравления, все твердили вокруг нес: «ах, как она счастлива!» «Искали ее милости, рекомендовались под ее протекцию». Потом, вспоминая это время, Наталья Борисовна писала в своих записках: «я не иное что воображала, как вся сфера небесная для меня переменилась».

Графиня забыла все свои прежние печали и сомненья, забыла свои обеты, воздержание от веселья и приготовление себя к скуке. Она радовалась и веселилась всем существом своим, она слушала эти: «ах, как она счастлива!», и сердце ее твердило: «да, я счастлива, и счастливее меня нет на свете». О будущем она не думала, а думала только о том, как бы почаще, да побольше видеть милого человека.

А кругом, в богатом их доме уж шли приготовления к стовору. Многочисленная родня Долгоруких каждый день подносила невесте роскошные подарки: серьги бриллиантовые, часы с разными фокусами, табакерки, «готовальни и всякую галантерею».

Петр Борисович Шереметев послал жениху шесть пудов серебра в подарок, кубки да фляжи золоченые. Вот назначили и стовор, приглашена была вся знать, все чужестранные министры, столько гостей, одним словом, сколько мог вместить только просторный дом

Шереметевых. Ждали и царскую фамилию. Сговор назначен был в семь часов вечера, и когда стемнело, то по всему двору широкому зажжены были смоляные бочки, освещавшие гостям дорогу.

Стали собираться: потянулись цугом кареты за каретами. Около ограды дома собралось столько народа, что вся улица была запружена. И кричали в народе: «слава Те, Господи, отца нашего дочка идет замуж за большого человека, восставит род свой и возведет братьев своих на степень отцову». В народе хорошо еще помнили старого фельдмаршала Шереметева, и память была о нем добрая. Но все же слышались и такие голоса, что говорили: «жаль только, что за Долгорукого выходит: в дурную семью попадет». Но эти голоса раздавались тихо, тихо, и никто их не слушал.

Скоро приехал император, его невеста и цесаревна Елизавета. Петр ласково обнимал своего любимца Ивана Алексеевича, поздравлял его с такой красавицей. Ласково беседовал с Натальей Борисовной, говорил ей, что она будет счастлива, что жених ее хороший человек, что по нем она ему, императору, родней становится, и он рад сердечно такой новой роденьке. И все лучезарнее становилась улыбка красавицы невесты. И ничего не замечала она, кроме своего счастья. Не замечала, что ласковый император сам что-то бледен и печален, что, говоря о ее счастье, сам он, жених тоже недавний, не похож на счастливого. Но другие люди, которым нечего было ликовать и радоваться, хорошо заметили, что император похудел и изменился в последнее время. Заметили они много странного и в обращении его с невестой. Он выражал ей большое почтение, но от этого почтения веяло холодом, скукой и тоскою. Он, очевидно, рад был отойти от нее подальше; вся его любезность, все его оживление были напускные. Потом заметили, что он пристально и любовно взглядывает на цесаревну Елизавету. Вот он подошел к ней, и на лице его мелькнула прежняя светлая детская улыбка.

— Лиза, — сказал Петр, — редко выдаю я тебя. На людях тогда ты меня поздравила, не мог я и слова сказать тебе. А к тебе поехал и не застал тебя.

— Да, государь, — ответила цесаревна, — редко мы с тобой теперь стали видеться, но я ли тому причиной? А как был ты у меня, я ездила поздравить твою невесту, поцеловать у своей новой государыни ручку.

Но Долгорукие были уж близко. Они уж вслушивались в слова цесаревны и поспешили окружить императора, «отвести его от опасной персоны».

В большой шереметевской зале совершенно было обручение. Обручал архиерей, и присутствовали два архимандрита и многочисленное духовенство. Перстни, которыми обручались Наталья Борисовна и Иван Алексеевич, стояли: женихов — двенадцать тысяч, а невестин — шесть.

Во все время совершения обряда невеста была спокойна. Она даже забыла, что, по старым обычаям, ей следовало, хотя для видимости, плакать. Она не плакала. Великое счастье разливалось по лицу ее. С этим счастьем глядела она на жениха своего, а он... забывал все, что нужно ему делать, он только видел одну свою милую невесту. Бесчисленные взоры были устремлены на них, и много скрытой зависти, много недоброжелательства заключали в себе те взоры. Но немало было и таких, в которых светилось истинное участие. Глядел император на любимца своего и его невесту и думал: «вот как они счастливы, сейчас это видно. Есть же, значит, на свете счастье!» И вспомнилось ему собственное обручение, бывшее так недавно, несколько дней тому назад, и представилась ему огромная разница между этими днями. Никогда он не чувствовал себя таким несчастным, таким уставшим. В последние дни ему положительно не давали прийти в себя: от него ни на шаг не отходил Алексей Григорьевич. Сначала он боялся, что император поднимет «бурю» по поводу поступка Катюши. Но император не сказал ему даже ни одного слова. «О чем теперь говорить, все уж сделано». Да и понял ли он, что значила эта вспышка его невесты! Может быть, не понял. С ним начинало делаться что-то странное. Иногда мысли его останавливались, спутывались...

И государыня невеста, княжна Катерина Алексеевна, пристально смотрела на брата и Наталью Борисовну. Ей тоже вспомнилось ее обручение. Она тоже повторяла себе: «ведь есть же счастье! И у нее могло быть такое счастье, и она могла так глядеть на жениха своего, как глядит Наталья Борисовна, если б жених этот был тот, кого она любит. И где он теперь? Куда услали его? Что с ним сделали? Всех спрашивала, не отвечают». К ней приставлена стража великая, как зверя стерегут ее родные. «Ну да что, не устерегли, теперь поздно!..» — с мучением и страшной злобой думала она. И все пуще и пуще всех

она ненавидела, но почему-то ее ненависть обращалась, главным образом, на тех, кто мало был виновен перед нею. Теперь она ненавидела даже Наталью Борисовну, свою прежнюю подругу и приятельницу, ненавидела ее за то, что она так счастлива. «Да недолго будет их счастье, — успокаивала она свою злобу, — недолго! Меня погубили, а сами хотят блаженствовать! Нет, не дам я им этого. Я несчастна, так все вы будете несчастны, лучшего вы не стоите!»

Но во всей своей злобе великой, во всем своем мучении и в этих безумных планах мести, обращенных на неповинных, даже ей самой не думалось, какого страшного несчастья будет она причиной, до чего доведет ее злобное чувство.

— Милый мой, — шепнула Наталья Борисовна жениху, когда после обручения он с ней под руку выходил из зала, и со всех сторон стремились гости приносить им свои поздравления, — милый мой, зачем же ты говорил мне о страшном будущем? Разве у нас может быть оно страшно? Посмотри, как светло все кругом. Посмотри, какое счастье, ведь и во сне никогда такого не снилось.

— Ах! — так же тихо ответил ей жених. — Зачем ты вспомнила об этих словах моих, Наташа? Теперь вот ты снова напугала меня. Я ни о чем не думал, а теперь вдруг мне кажется, что недолго всему этому счастью нашему продолжаться, и именно потому, что оно так полно, так волшебно. Не стою я такого счастья! Разве что ради чистоты души твоей ангельской получу я его, но боюсь ему верить.

— Что ты, что ты, полно, отгони от себя мрачные мысли, не теперь им предаваться!

Они проходили мимо императора, который что-то таинственно говорил цесаревне Елизавете. Он говорил ей:

— Лиза, завтра утром жди меня, я к тебе буду.

— Не будешь, государь, — отвечала ему Елизавета, — не пустят тебя ко мне.

Но она быстро раскаялась, что сказала слова эти. Пристально взглянув на племянника, она увидела в лице его такое мучение, что ей стало бесконечно его жалко.

— Голубчик мой, — прошептала она, — мне кажется, ты болен.

— Нет, я здоров. Отчего ты так думаешь?

— Да ведь на тебе лица нет, ты так бледен, и у тебя вид такой странный. Такой странный! Ты ужасно изменился! — твердила она с

возраставшим испугом, и все пристальнее в него вглядывалась. Она давно его не видала и теперь не могла не поразиться страшной перемене, происшедшей в нем.

— Нет, я не болен, — печально сказал он снова.

— Так что с тобой? Что с тобой?

— Вот я и приеду сказать тебе, что со мною. Теперь разве можно? Смотри, уж следят за нами...

Пированье в шереметевском доме продолжалось. С хор гремела музыка, много роскоши, много блеска разлито было всюду, все имело внешний вид беззаботного веселья. Но над всем этим как будто висела какая-то черная туча. Предчувствие близкого горя, чего-то недоброго носилось над всеми, и никто не мог отогнать от себя неясной, но страшной мысли.

## X

На следующее утро, когда еще никто из Долгоруких не показывался во дворец, император велел заложить сани и поехал к цесаревне Елизавете. Она уже ждала его. Она видела из вчерашнего с ним разговора, из того, как он смотрел на нее, что теперь он непременно придет. Она встретила его со своей всегдашней ласкающей улыбкой.

— Вот видишь, я здесь с тобою, — грустно сказал он. — Давно собирался, да не дают мне ни минуты отдыха. Одно не оставляют; целый день то то нужно, то другое. Ведь еще когда, никак около месяца, как вернулась ты из своего Покровского, а все же нам с тобою без посторонних поговорить не удавалось. Ну, что ж, Лиза, что ты мне теперь скажешь? Вот я и не пристаю к тебе с моею любовью. Вот я невесту себе нашел, жениться собираюсь! Что ты мне скажешь?

Он с нетерпением и тоскою ждал ее ответа.

Она подняла на него свои ясные глаза.

— Что ж я могу тебе сказать, Петруша? Я уж тебя поздравила.

— Нет, скажи мне, как ты находишь мой выбор?

— И на это опять ничего не могу сказать тебе. Сам выбирал, сам решил дело, и у тебя свой разум.

— Господи! — отчаянно заломил руки император. — И ты тоже, ты то же самое говоришь, что и Андрей Иваныч! От вас двоих только и ждал я путного ответа, и ничего вы сказать мне не хотите! Разве ты ничего не видишь, разве ты не замечаешь, что я самый несчастный теперь человек в мире?!

— Как же могу я что-нибудь видеть? Все время я не была здесь. Ты не видался со мною, ты совсем от меня отвернулся. Я из Покровского не выезжала... ничего я не знаю...

На слова Елизаветы юный император ответил:

— Ах, Лиза! Знаю я, знаю, что ты можешь упрекать меня, знаю, что не прав перед тобою. Прости меня, ради Бога! Видишь ли! Сначала мне было так тяжело, я так любил тебя, Лиза, а ты от меня отворачивалась, ну, и... сердился я на тебя, конечно. И больно, больно мне было видеть тебя: при тебе мне становилось хуже. А потом... потом, Лиза, со всех сторон мне про тебя дурное стали говорить, убеждали...

— И ты поверил? — грустно усмехнулась она.

— Поверил, Лиза! — смущенным тоном тихо ответил Петр.

— Я не сержусь на тебя, — сказала она, положив руки ему на плечи, — Бог с тобою, верь, если хочешь! Сама не знаю, что дурное делаю, у каждого свой взгляд на дурное или хорошее; может, есть где-нибудь и дурное. Знай только одно, голубчик мой Петя, что часто о тебе я плакала, часто мне хотелось видеть тебя, поговорить с тобой, и чего боялась я, то и случилось. Но скажи мне, скажи все, не скрывая, может, теперь на всем свете один только друг у тебя и есть, это я.

Как в прежние далекие дни придвинул император бархатную скамеечку к креслу Елизаветы, опустил на эту скамеечку и положил свою усталую голову на колени красавицы тетушки.

— Страшно мне, Лиза, тяжело мне, не люблю я моей невесты. Никогда никого не любил я, кроме тебя. Помнишь ты княжну Меншикову? Помнишь ты, как смотрел я на нее? Ну вот и теперь то же самое. Точно так же противна мне становится моя невеста...

— Господи! Да зачем же ты сделал ей предложение? Ведь никто же силой не заставил тебя?!

— Не силой, а заставили.

И он подробно рассказал цесаревне все, что с ним было. Он не винил Долгоруких, не винил и княжну. Он до сих пор был уверен, что

с их стороны не было ничего заранее подготовленного, никакого умысла. Но не так думала цесаревна. Она ясно поняла в чем дело и не могла удержаться от слез.

— Господи! Еще этого не доставало, — начала она, обнимая Петра. — Голубчик мой, но ведь это дело невозможное! Ты не можешь отдаться им в руки, ты не можешь погубить себя. Ты должен отказаться от невесты.

— Как это можно, Лиза! Теперь это совсем невозможно.

— Да отчего же, отчего же?

И она начала убеждать его.

Он внимательно слушал. Многое ему становилось ясно, чего до сих пор не понимал он. Была минута, когда он решил в себе, что так и поступит, как советует Лиза: сбросит с себя это ненавистное бремя, еще раз покажет, что он свободный человек и император.

В волнении, блестя глазами, поднялся он. Снова вернулась к нему теперь сила: он бодро стоял перед цесаревной. Вот он сжал кулаки и сдвинул свои темные брови.

— Да, ты права! Да, я не могу губить себя, я так или иначе развяжусь с ними.

Но, видно, теперь уж всякое волнение вредно на него действовало; видно, в нем пробудилась не сила, а только последнее подобие силы и энергии, он пошатнулся и помимо своей воли очутился снова на коленях перед Елизаветой.

— Боже мой! Что с тобою?

— Голова кружится, Лиза! Теперь часто кружится. Плохо мне что-то в последнее время...

Она схватила его за руки: руки, как лед, холодные, лицо бледное.

Доброе сердце цесаревны сжалось болью. «Погубили, погубили моего мальчика!» — думала она.

— Знаешь, Лиза, иногда весь день брожу я, как шальной совсем, просто разум у меня мутится, ничего не понимаю, по ночам трясет лихорадка. Потом все пройдет, и несколько дней опять ничего, но теперь... теперь мне все хуже и хуже.

— Так зачем ты не лечишься? Я сейчас поеду к Андрею Ивановичу...

— Ах, оставь, не ездь! Что они могут мне сделать?! Ты помнишь, Лиза, как умирала сестрица, она тогда говорила, перед самой своей



смертью говорила, что скоро я буду с нею, к ней отправлюсь. Знаешь, я слышал, что у тех, кто умирает, бывает такое просветление, многое они видят и понимают из того, что никому нам неясно. Я еще вчера вот долго об этом думал, всю ночь сегодня тоже продумал, не спалось мне. Я и приехал сказать тебе это, Лиза, что скоро меня не будет...

Она хотела утешить его, но слов не находила. Ей самой теперь казалось, что он непременно умрет скоро. Да и разве можно было вынести то, что он вынес? Еще нужно удивляться, как до сих пор сил хватало. Но нет же, ведь этого нельзя допустить, он так молод, его жизнь еще не началась почти, разве можно ему умирать? Еще есть возможность спасти его, у него такая здоровая природа. Теперь бы ему отдохнуть, поехать в чужие страны, к тем водам целебным, где батюшка лечился. Цесаревна хорошо помнила, как один раз ее великий родитель уехал в Спа совсем больной, совсем измученный, а вернулся сильным и бодрым.

— Ехать тебе полечиться в чужие страны! — громко выразила она императору свою мысль.

Он махнул рукой.

— А разве выпустят? Скажут, что нельзя никак, что государство от этого страдать будет. Да и зачем? Никуда теперь не тянет меня, Лиза, и жизнь мне уж надоела. Право, умереть лучше, чем так жить, как живу я. Прежде, недавно еще, много было радостей, все меня забавляло, все меня веселило: каждую свою охотничью собаку любил я, каждая из них мне доставляла удовольствие. Птицу застрелю, зверя затравлю — не знаю куда деваться от радости, а теперь вот не влечет и охота. Что ж мне жить-то, Лиза! Кого люблю я, тот меня не любит: кого не люблю, тот всегда, со мною. Вот ты говорила отказаться от невесты; подумал я сейчас, что можно это сделать, а теперь вижу, что не хватит у меня на то силы. Да и что ж потом, хоть бы даже ушла и эта невеста? Опять ведь придет другая. Ведь все кричат, все только то и твердят в уши, что должен я непременно жениться. Ну, год пройдет, другой, ведь все равно жена будет, а где же я найду невесту себе по сердцу? Какая принцесса пленит меня? Лиза, пойми, моя золотая, что никого не люблю я, никого не могу любить.

— Полно, Петруша, не тем ты теперь был занят. И мысли, и чувства у тебя по твоему возрасту, а вот пройдет год, другой, и

непременно кого-нибудь полюбишь. Ведь человек ты тоже, а с человеком так всегда бывает.

Император печально улыбнулся.

— Вот то-то, Лиза, что мало ты меня знаешь. Не был я человеком, да никогда и не буду: был я малым ребенком, а потом прямо стариком сделался. Ну, посмотри на меня хорошенько — разве не старик я теперь? Как есть старик старый, расслабленный. И знаешь ли, как у стариков все светлое, все хорошее далеко позади осталось, и живут они только о нем вспоминая, так и у меня: все, что мило и дорого — далеко. Далеко наше время золотое, помнишь, петергофское время, далеко сестрица Наташа... да и ты далеко. Ты теперь для меня уж не прежняя. Знаешь ли, как я любил тебя, Лиза? Знаешь ли, что каждую минуточку малую об одной тебе только думал? И я ждал, что и ты меня полюбишь, ждал, что ты будешь моей женою, что мы всю жизнь проживем вместе, вот были мои мечтания, вот было бы мое счастье — ты его не захотела.

Елизавета молча плакала.

— Но ты не думай, — продолжал Петр, — не думай, Лиза, что теперь я не люблю тебя; так же люблю, как прежде, может, еще больше люблю, только уж без всякой радости, без всякой надежды!

Не могла цесаревна его больше слушать, не могла смотреть на него. Сердце ее разрывалось. Кругом придворные давно уже говорили, что она холодная, честолюбивая девушка, увлекает его, желает забрать в руки и женить на себе, чтобы стать императрицей.

Ни одной минуты она этого не думала, но любила императора нелицемерно, как милого младшего брата, А вот теперь так первый раз в жизни подумала: «Боже мой, какая жалость! Нет сил вынести. Нужно спасти его, нужно ему собою пожертвовать».

— Слушай, Петя, — вдруг взволнованным голосом обратилась она к нему, крепко сжимая его руки, — если правда, что ты так меня любишь, если правда, что я могу сделать тебя счастливым, слушай — я согласна. Я на все согласна. Я буду твоей женою, буду, хоть это противно нашей религии, буду, хоть бы за это на меня посыпались камни. Только, милый, улыбнись мне, только в себя приди: отбрось, прогони от себя всех этих негодных людей, которые ищут твоей гибели, только живи, голубчик!..

Император глядел на нее остановившимися глазами и вдруг зарыдал мучительно, кинулся к ней на шею, крепко ее обнял и спрятал свою голову на груди ее. Долго не мог прийти он в себя, долго не мог произнести ни слова. Но вот рыдания его прекратились, он поднял голову и пристально взглянул в лицо цесаревны. По-прежнему чудно прекрасно смотрело на него лицо это. Неподдельное, искреннее чувство, теплое участие светилось в нем.

— За эти слова, дорогая Лиза, благодарю тебя. Лгали бессовестные люди, все лгали — один я прав был, зная тебя, зная твое сердце золотое. Еще раз прошу простить меня за то, что я был так глуп, смел на тебя сердиться. Но слушай, Лиза! Если б теперь ты на коленях стала умолять меня о том, о чем столько раз просил я тебя, если б сейчас стала мне клясться Богом, что любишь меня так, как я всегда хотел, чтоб ты меня любила, все же, Лиза, из этого ничего бы не могло выйти. О, как я тебя понимаю! О, какая ты добрая! Тебе меня жалко, и вот ты хочешь мне пожертвовать собою. Но, Лиза, я не принимаю такой жертвы. Я только благодарю тебя за нее, но не принимаю, не могу принять. Я понял, что нельзя тебе любить меня, я для тебя мальчик, я для тебя брат маленький. Прежде не понимал этого — теперь понимаю.

Цесаревна крепко обняла его.

— Так что ж мне делать, чтоб тебя успокоить? Скажи только, все исполню. Хочешь, и не отойду от тебя? Я буду твоим лучшим другом!!

— Да, хорошо бы это было, — прошептал он, — но меня от тебя отнимут.

— Стыдись, — вдруг заговорила она, думая, что есть еще средство возбудить в нем энергию, — стыдись быть таким малодушным. Ты был меньше, ты был совсем ребенком, и у тебя хватило силы уничтожить ненавистных Меншиковых, разбить вражеские ковы, распутать себе руки. Теперь, теперь ты старше, должен быть сильнее: жизнь тебя поучила, видел ты людей, мог узнать их. Что ж, неужели ты считаешь своими друзьями Долгоруких? Еще Иван, может быть, тебя любит, но те, остальные... Подумай хорошенько, пойми наконец... Это обманщики, плуты. Видно, не знаешь ты, что они делают. Они казну грабят и творят всякую неправду. На них весь народ жалуется. Их все ненавидят. Они то же,

что Данилыч... хуже, тот, по крайности, делал дело, голова была золотая, а эти ничего, кроме зла, не делают...

— Ну, ты сердита на них! Может быть, ты несправедлива, не так уж они дурны, — смущенно заметил Петр.

— Что ж, околдовали они тебя, что ли? Вспомни все хорошенько, вспомни все эти охоты; ведь прежде постоянно я там тоже бывала с вами, ведь я все видела! Разве вчера, что ли, началось это дело с княжной Катериной? Разве Алексей Григорьевич не всячески старался ее выставить на глаза тебе?!

— Ах, может быть, это и правда, — отчаянно проговорил Петр, — да только знаешь, что я скажу тебе! Вот сейчас сию минуту, я все ясно вижу, я все понимаю. Вошли бы они теперь сюда и посмотрела бы ты, как я их бы встретил... а через час будет совсем другое. Может быть, точно, они меня околдовали — у меня теперь никакой нет силы, никакой нет воли, я теперь не знаю, что со мною. Видно, много успел нагрешить я, что Бог меня так наказывает.

На глазах изумленной и испуганной цесаревны в императоре произошла перемена. Недавно еще от волнения его щеки разгорелись, но теперь покрыла их смертная бледность, вот он задрожал и испуганно осмотрелся во все стороны.

— А, может быть, нас подслушали? Может, здесь где-нибудь Алексей Григорьевич? Посмотри, Лиза, пожалуйста, поди к дверям, послушай, послушай!..

— Голубчик мой, что, что с тобою? Ты, право, болен, ты бредишь!

— Нет, я не брежу, Лиза, не брежу. Я знаю, что ни одно мое слово, что ни одна моя мысль не проходят так, все они знают. Как, откуда — не понимаю, Лиза, если тебя будут спрашивать, о чем мы говорили, пожалуйста, что-нибудь выдумай!..

Цесаревна до того испугалась этих странных, безумных речей, что думала кликнуть кого-нибудь, послать поскорей за доктором. Она не знала, что ей делать, металась по комнате.

— Петечка, ангел мой! Позволь я пошлю за своим доктором, он даст тебе какого-нибудь лекарства.

— Ах, что ты, что ты! — испуганно бросился он за нею и не пускал ее от себя. — Что ты, как можно доктора! Какое лекарство он даст мне? Вон и так принесли мне намедни лекарство, я сказал, что выпил, а сам тихонько вылил его. Знаешь, Лиза, я тебе признаюсь,

только ради Бога не говори никому об этом: знаешь, я каждый раз за обедом боюсь, что меня отравят.

— Да кто тебя отравить может? Кому это нужно?

— Не знаю кто, только разве это не бывает?! Да, может быть, уж и теперь во мне отравы, отчего я так болен, Лиза, отчего на меня находит такая слабость?

Цесаревна видела, что он, действительно, бредит. Она дотронулась до головы его — голова горячая, сам дрожит весь.

— Послушай, поедем, позволь, я довезу тебя. Я провожу тебя, тебе надо лечь в постель, отдохнуть. Ты, верно, простудился...

— Нет, что ты, что ты! Не езди со мною, тебе ведь сделают за это неприятность.

Но он уж так ослабел, что ей нетрудно было от него вырваться. Она приказала скорее давать себе одеваться и почти силою увезла его.

Во дворце Долгорукие уже давно тревожились, не зная, куда он выехал: всюду послали разведывать.

Алексей Григорьевич сильно покосился на цесаревну, но, взглянув на императора, перепугался. Петра раздели и уложили. Созвали докторов: те все приписали простуде.

## XI

На другой день Петру стало лучше. Простуда прошла, но осталась прежняя слабость, прежние уныние и апатия. Елизавета возбудила в нем последнюю вспышку энергии, и он был прав, говоря ей, что положение его безнадежно, что никакая сила теперь не спасет его, не вырвет из власти Долгоруких. Да и как ему было вырваться? Он не раз сравнивал свое теперешнее положение с временем, предшествовавшим низвержению Меншиковых. Тогда было другое дело, тогда мог он поступить энергически. Он восставал за свои законные права, восставал против человека, самым незаконным образом похитившего власть и во зло ее употреблявшего. Тот человек держал его в руках, оскорблял его, стеснял всячески, злобствовал и тиранствовал над всеми. Такого человека должно было удалить и уничтожить. Теперь не то, новая родня, «компанья», как называли тогда Долгоруких, не

стесняла свободы императора, напротив, всячески ему угождала, исполняла малейшее его желание, только и думала, как бы забавлять его. Конечно, великое стеснение его воли была помолвка с княжной Катериной, но ведь сам он согласился. Никто не принуждал его словами и угрозами, сам он во всем виноват, виновата его бесхарактерность.

«Но ведь права Лиза, — безнадежно думал бедный император, — что они все это подстроили нарочно, заранее все подготовили. Как же смели они! Какая же невеста мне Долгорукая? Она меня старше, она мне не нравится. Но ведь сам я виноват, зачем тогда же, сейчас не отказался. Где был мой рассудок? Где была моя воля? А теперь поздно, поздно!»

Хватило еще раз у него силы вырваться из-под неусыпного надзора Алексея Григорьевича и съездить тайно к Остерману, но все ничего не вышло из этой поездки.

Андрей Иванович, конечно, мог говорить так же убедительно, как и Елизавета, может быть, еще убедительнее, но говорить он теперь боялся. Он хорошо понимал, что вряд ли удастся ему побороть Долгоруких, покуда жив император. Конечно, можно настроить юношу, но нельзя поручиться за продолжительность такого настроения. Сегодня он будет поступать по советам Остермана, а завтра Долгорукие опять возьмут свое и легко выпытают, кто замышляет их гибель, и в один день погубят самого Остермана. А он больше, чем когда-либо, должен сидеть крепко и не подавать голоса. Чувствует он, что скоро все переменится. Не надолго торжествуют Долгорукие: пусть повеличаются, пусть побахвалятся. Конечно, тонко и осторожно нужно раздражать против них императора, и если он жив останется, то, может, через год, другой сам стряхнет с себя их иго, раскается в своей женитьбе, далеко разошлет родню свою незваную, царицу в монастырь заточит. Если же не выдержит, если умрет скоро, тогда все кончится само собою. Что тогда будет, о том Остерман думает непрестанно. Он уж решил, какую роль ему в таком случае играть надобно. Чаше и чаще становятся его письма в Митаву, герцогине Анне Ивановне и Бирону. Дышат эти письма искренней дружбой и почтением. Верным и неизменным рабом подписывается он герцогине, верным и неизменным другом подписывается Бирону.

И в разговоре с императором только вздыхал Андрей Иванович, соболезнавал, советовал заняться собою, полечиться, вести жизнь более регулярную; но про Долгоруких не сказал ни одного дурного слова.

Не спорил он и с герцогом де-Лирия, который уверял его, что государь начинает стряхивать с себя иго.

Когда кто-нибудь с ужасом объявлял Андрею Ивановичу, что Долгорукие уж начинают делить между собою высшие должности: Алексей-де хочет быть генералиссимусом, первым министром, Иван — великим адмиралом, Василий Лукич — великим канцлером, Сергей Долгорукий — обер-шталмейстером, он спокойно отвечал на это:

— Что ж, конечно, в порядке вещей желать им себе почестей; теперь ведь близкой родней государю делаются, конечно, им первое место.

И все уходили от него, понимая, что с таким осторожным и ничего не выдающим человеком лучше и не разговаривать. Можно только завидовать его разуму и стараться идти по стопам его.

Но что бы ни говорил Андрей Иванович, всем было ясно, что если даже государь и не стряхивает с себя ига, то, во всяком случае, очень холодно относится к своей невесте. «И она довольна этим, наверное. Она неохотно принимала бы нежности жениха: ведь не успела еще забыть своего милого, графа Миллезимо». Так обыкновенно кончались все подобные разговоры. И поневоле приходилось убеждаться, что сильно заколдовали царя Долгорукие, если он после известной сцены, устроенной невестой, от нее не отказался.

Княжна Катерина, действительно, была очень довольна женихом своим: если бы он относился к ней иначе, если бы постоянно требовал ее нежности и ласк, она, может быть, и не выдержала бы. Теперь же ей предоставлена полная свобода. Но куда девать ее?! Больное, измученное злобой и тоскою сердце жадно просит какой-нибудь жизни, хоть в буре, хоть в грозе страшной готова найти жизнь эту. Но пока нет ни грозы, ни бури — полное, тяжелое затишье. И вот все дни красавицы княжны проходят в безумных грезах. Мчатся, несутся эти грезы в даль неизвестную, в ту даль заколдованную, куда увлекли от нее ее милого. Иногда кажется ей возможно добыть себе зелья, что помогает преодолевать всякие преграды. Вот чудится ей, что она уж обладает сверхъестественной силой, что теперь не для нее созданы

неумолимые законы пространства и времени. Миг один, и разбиты земные цепи! Ищут ее, ищут, и не находят. Она далеко, где? — не знает: там, где ее возлюбленный. Она с ним, и летят они за тридевять земель, в тридесятое царство, в царство весны вечной, благоухающей, в царство вечного света и радости, и там новая, чудная жизнь начинается...

И страшно, страшно княжне оторваться от грез этих, заменить их печальной действительностью. Нет того волшебного зелья всемогущего, бессильна она, как малый ребенок, в крепкую тюрьму замуровлена, не выбьется из тюрьмы этой.

Прносятся другие грезы: думает она о том, что ждет ее в близком будущем. Вот совершилось ее венчание. Вот она царица, еще больше склоняются перед нею люди. И желает она многого, мести желает врагам своим лютым, а враги ее — люди кровные: отец да брат, что теперь с невестой любимой счастьем упивается. И с мучением, с злобной отрадой придумывает княжна всем им кару жестокою. Но вот и покарала, вот и отплатила, а потом что же? Потом из земель далеких возвращается Миллезимо. Ведь это же может быть, это же должно быть, это будет! Он снова с нею. Ото всех взоров скрывают, берегут они свое счастье. Да хоть бы и не уберегли, кто смеет против нее? Она — царица. А муж-государь? Но не ей его бояться, о нем она и не думает...

Время идет, 6 января пришло, праздник — Крещение. На Москvere парад назначен, водосвящение, Иордань устроена. В роскошной золоченой карете выехала государыня-невеста. По обеим сторонам дороги народу видимо-невидимо, шапки перед нею ломают, кричат свои приветствия, войска в каре построены, командует ими Василий Владимирович Долгорукий.

Император приехал из Лефортова дворца, куда теперь переселился. Он занял полковничье место. На нем мундир блестящий, вокруг него большая свита.

Сначала и не взглянула на жениха своего княжна Катерина, только вдруг нечаянно глаза ее с ним встретились, и долго она с него их не спускала.

«Что это, как он изменился?!» — Ушедши в свой внутренний мир, она совсем не замечала его все это время.



«Ах! Какая перемена, видно, он болен! А что, как не на шутку заболел, что, как умрет, пожалуй! Ну, что ж, я свободна тогда, — подумала Катерина Алексеевна, — должна радоваться. Но нет, нет, теперь мне не надо этой свободы. Что ж тогда будет?» «Ей стало бесконечно дорого еще недавно так ненавистное и насильно навязанное ей величие. Ведь только это величие ей и оставалось в жизни, вдруг и его судьба отнимет?! Прекрасный, измученный юноша, которого она так жестоко обманула и которого за что-то ненавидеть хватило у нее силы, теперь сделался ей дорог, но все же не как человек, а как вещь многоценная, земное богатство. И она все глядела на него, все мучалась видимой в нем переменной.

С парада он приехал в головинский дворец к невесте, куда собрались и многие придворные.

Княжна Катерина поспешно подошла к нему, взяла за руку: рука у него, как лед, холодная.

— Что с тобой, государь? — непривычным ей нежным голосом спросила она. — Мне кажется, ты нездоров. Коли так, зачем выехал сегодня?

Он изумленно взглянул на нее.

— А ты только сейчас заметила, что нездоров я? — спросил он с насмешливой улыбкой. — Или тебе меня жалко?

— Что за слова такие, государь? Кого же мне и жалеть, как не тебя?!

— Так успокойся, моя княжна заботливая, я здоров, так здоров, как никогда не был. Я здоров, здоров!

И он дико смеялся, страшно смеялся.

Она поняла, что дело плохо и кинулась к отцу.

— Батюшка, что же вы ослепли все, что ли! Разве вы не видите, что государь болен. Как можно было выпустить его на воздух? Посмотрите, что с ним. Он на себя не похож... У него лихорадка.

Алексей Григорьевич а за ним и князь Иван поспешили к императору и увидели, что княжна права. В глазах странный блеск, лицо в огне, сам дрожит... видно, плохо вылечили доктора недавнюю простуду, вот теперь она снова вернулась. На Иордани он был слишком легко одет и говорил много... Скорей, скорей домой! Докторов скорее!

Повезли императора. И как ни коротка была дорога, а он с каждой минутой все больше и больше расхварывался в карете, так что

привезли его совсем уже больного. Он даже и идти сам не мог: внесли его.

Собрались доктора. К императору никого не впускали, при нем был только Алексей Григорьевич да князь Иван. Спешили приготовить лекарства, по всему дворцу шла суета.

Через час Долгорукие вышли из спальни Петра.

— Что, что с ним? — спрашивали со всех сторон. Но ни Алексей Григорьевич, ни Иван Алексеевич сразу не могли и ответить: на них лица не было, оба они дрожали.

— Да что, что такое?

— Доктора сказали, что у него оспа, что ему худо, — прошептал наконец Иван Алексеевич и горько заплакал.

## XII

Опять по Москве волнение великое: молодой государь опасно болен. Все, что имело какое-нибудь соприкосновение с двором, стало метаться во все стороны. Многие ожидали всяких случайностей, но несмотря на это, весть о царской болезни всех поразила. Оказалось, что никто, конечно, кроме Андрея Ивановича, и не подумал о том, что ж наконец будет в случае смерти Петра II? Теперь быстро образовались партии. Одни находили, что престол по праву должен принадлежать цесаревне Елизавете, родной, теперь единственной, дочери Петра Великого. На это возражали всякими вымышленными рассказами о дурном ее поведении, о том, что если она взойдет на престол, то многим следует ждать ее немилости. Это мнение особенно распространял датский посланник Вестфален, которому три года тому назад уж удалось отстранить герцогиню Голштинскую Анну Петровну и Елизавету от русского престола.

До сих пор Вестфален был спокоен за интересы своего двора, но вот опасность возвращается, и он снова волнуется: ездит то к Долгоруким, то к Голицыным. Но кого теперь застанешь? Все во дворце! Наконец кое-как ему удастся наедине поговорить с Василием Лукичем.

— Слышал я, — говорит он князю, — что Дмитрий Голицын желает учинить наследницею цесаревну Елизавету. Если же это сделается, то вы сами знаете, как будет неприятно двору нашему. Я дам вам, если слову моему не верите, письменное в этом удостоверение, вы можете показать его кому хотите.

— Теперь, слава Богу, оспа высыпала, — отвечал Василий Лукич, — и есть большая надежда, что император выздоровеет. Но если б он и умер, успокойтесь, уж приняты меры, чтобы потомки Екатерины не взошли на престол. Так и напишите двору своему об этом деле, оно несомненно.

Но Вестфален в тот же день все же прислал князю свое письменное заявление. Вот что писал он:

«Слухи носятся, что Его Величество очень болен, и если престол Российский достанется Голштинскому принцу, то нашему Датскому Королевству с Россией дружбы иметь нельзя. Обрученная невеста из вашей фамилии, и можно удержать престол за нею, как Меншиков и Толстой удержали престол за Екатериной Алексеевной. По знатности вашей фамилии вам это сделать можно, притом вы больше силы и права имеете».

Князь Василий Лукич приехал с этим заявлением в дом Алексея Григорьевича и прочел его в кругу собравшихся родных. Но рассуждать теперь не стали, так как из дворца вернулся князь Иван с радостным лицом и известием, что государю гораздо лучше...

В это время несколько экипажей стояли у ограды монастыря Новодевичьего. Нашлись люди, вспомнившие старую царицу и поспешившие к ней известить ее о серьезной болезни внука и в то же время напомнить ей, что она законная супруга императора Петра Великого. Их экипажи были замечены многими, и скоро поднялся говор о том, что есть еще третья партия — старой царицы Евдокии Феодоровны. Вот она, та минута, о которой не раз думала в томительные последние дни инокиня Елена: «внук умирает! Загубили-таки его. Нашлись люди, приехали к ней известить, шепнуть, что наступило и ее время. Да, она должна теперь, наконец, поднять свой голос. Загнанная, забитая, измученная старуха — завтра может быть русской императрицей!» Загорелись глаза ее, сильно застучало сердце. Поднялась она, опираясь на свой посох, но вдруг почувствовала, что все пришло слишком поздно и что теперь ей ничего

не нужно: совсем стара она, одолела старость, одолели лихие болезни, одолело великое горе целой жизни. Нет, не подняться ей, не суждено быть императрицей. Пройдет, быть может, несколько дней и не короновать, а погребать ее станут.

Но все же она заторопилась во дворец ехать, навестить внука, а когда приехала, когда ввели ее под руки в покои, близкие к императорской спальне, вышедший от Петра доктор сказал ей, что больному стало хуже и что теперь никак его нельзя видеть. За доктором выбежал и Алексей Долгорукий и спешно уехал к себе домой. Сейчас же послал он гонца за родственниками, чтобы съезжались как можно скорее. Бледен был Алексей Григорьевич, ноги его подкашивались, видел он, что страшный час пришел: теперь или величие, или неминуемая гибель. Все надо сделать, все испытать! В голове старого князя одни за другими роились планы и мысли. Он еще не унывал духом, но ослабел телесно: не мог совсем на ногах стоять, лег в постель. В спальне своей и принял он родственников. Вот все съехались.

— Что, что такое?

— Император болен, худа надежда, чтоб жив был, надобно выбирать наследников, — проговорил князь Алексей, едва ворочая языком.

— Кого же вы в наследники выбирать думаете? — спросил Василий Лукич.

— Вот — она! — указал пальцем наверх Алексей Григорьевич.

И взгляды всех инстинктивно обратились кверху, как будто сквозь потолок можно было видеть княжну Катерину Алексеевну, которая жила там, в верхнем помещении. И все молчали. Наконец князь Сергей Григорьевич прервал это молчание.

— Нельзя ли написать духовную, будто его императорское величество учинил ее наследницею?

— Эх, неладное дело вы затеваете, — наконец поднял свой голос фельдмаршал Василий Владимирович, — где это видано, чтоб обрученной невесте быть Российского престола наследницей! Кто захочет ей подданным быть? Не токмо посторонние, но и я, и прочие из нашей фамилии, никто в подданстве у ней быть не захочет. Княжна Катерина с государем не венчана.

Алексей Григорьевич бешено взглянул на него.

— Хоть не венчалась, да обручалась, — проговорил он.

— Что ж такое! — отвечал, даже не взглянув на него, фельдмаршал. — Венчанье иное, а обручение иное. Да если бы она за государем и в супружестве была, то и тогда бы в учинении ее наследницей не без сомнения было.

«Это еще что? — отчаянно подумал Алексей Григорьевич. — Уж в родне несогласие? Но разве можно допустить это?»

— Послушайте, други мои, — обратился он ко всем, — все сделать можно, стоит только хорошенько приняться за дело, и успех у нас будет. Мы уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Михайловича Голицына. А если они заспорят, то мы будем их бить. Ты, Василий Владимирович, в Преображенском полку подполковником, а князь Иван — майор, и в Семеновском полку спорить о том будет некому.

Но Василий Владимирович, из всех Долгоруких оставшийся хладнокровным и спокойным, не мог с этим согласиться.

— Что вы, ребячье, врете! — кричал он. — Как тому можно сделаться, и как я полку объявлю? Услышав от меня об этом, будут не только меня бранить, но и убьют, наверное.

И, не дожидаясь дальнейшего, Василий Владимирович уехал вместе с братом, князем Михайлою.

— Туда вам и дорога! — трясясь от бешенства и ужаса, прошипел им вслед Алексей Григорьевич. — И без вас дело сделаем. Выручи, Василий Лукич, придумай что-нибудь, ради Бога!

Князь Василий Лукич сел у камина перед маленьким столиком, взял лист бумаги и чернильницу и начал писать духовную. Но скоро он остановился и разорвал бумагу.

— Моей руки письмо худо, кто бы получше написал? — сказал он.

Писать вызвался Сергей Григорьевич, только просил, чтобы диктовали ему Василий Лукич и Алексей Григорьевич. Скоро успели два экземпляра.

В это время в спальню отца вошел князь Иван прямо от императора, с опухшими от слез глазами, весь даже растрепанный. Он сел на стул и поглядел на всех в полном отчаянии.

— Иван! — обратился к нему отец. — Еще раз умоляю тебя, помоги нам. О своей голове хоть подумай. Ведь если не уладим дело,

все мы погибли. Мало, что ли, врагов у нас? Лютая смерть ждет, подумай!

Князь Иван молчал.

— Или ты ума–разума лишился!? — тем же отчаянным, умоляющим голосом продолжал отец. — Ну, нас не жалеешь, себя не жалеешь, так пожалей хоть невесту свою, Наталью Борисовну. Она тебя любит пуще жизни, зачем же ты ей готовишь гибель?

Князь Иван вздрогнул. Нашел отец чем вывести его из неподвижности.

— Да, — едва слышно прошептал он. — Да, ради нее на все готов, все сделаю. Что вы тут? — Духовную пишете, так я подпишусь. Не раз с государем в шутку писывал, умею под его руку подписываться, так что никто и не распознает.

Он дрожащей рукой схватил перо и написал: «Петр».

Все кинулись к бумаге и в один голос решили, что очень похоже. Положили, чтоб Иван и подписался под духовную, если государь за тяжкою его болезнью подписаться не будет в силах.

### XIII

— Господи, что с тобою? Голубчик мой, радость моя, ты как смерть бледен! — так говорила, испуганно вглядываясь в жениха, только что приехавшего к ней, Наталья Борисовна Шереметева.

Он наклонилась к плечу ее и зарыдал, как ребенок.

— Государь умирает! — едва смогла она расслышать его отчаянный шепот.

Да быть этого не может! Уж не ослышалась ли она, точно ли он сказал это: государь умирает! Еще вчера извещал ее Иван Алексеевич, что государю лучше и она, было, успокоилась, прогнала от себя все мрачные мысли. И вот государь умирает...

— Иванушка, так ли это? Неужели нет надежды? Ведь докторам нельзя верить; вот в позапрошлом году я тоже была больна сильно: всех докторов с Москвы созвали, и все сказали, что умру непременно, а вот выздоровела. Может, и теперь так оно будет, помилует нас Господь, даст государю здоровье.

— Нет, Наташа, родная моя, не утешай ты меня, совсем ему плохо. Только на секундочку и приехал взглянуть на тебя, поплакать с тобой. Сейчас к нему возвращаюсь, боюсь, в живых застану ли...

Он говорил это таким безнадежным голосом. Он так измученно, так страшно смотрел на нее, она поняла, что он не ошибается. Да, еще так недавно, сейчас еще было счастье, ни о чем страшном не думала молодая невеста, сейчас еще вся жизнь казалась такою радостью, впереди только свет был. И вот как скоро ночь пришла страшная, ночь непроглядная. Разрывается ее сердце, на милого человека глядя, понимает она все его муки, его боль душевную.

Ах, как судьба к ней немилостива! Долго ли счастье длилось, и вот она сочла, сколько длилось это счастье, и вышло двадцать три дня с половиною. Чем ей утешить теперь князя Ивана? Нечем, нет слов таких у нее, она может только ласкать его, может только прижать его к своему сердцу и плакать с ним вместе. И она плачет и целует его.

— Но поезжай, поезжай скорее, — говорит она, — я не держу тебя, поезжай скорее, тут еще больше мучаешься. Может, и полегчает государю. А я хоть буду молиться, как только умею, авось, дойдет до Бога и моя грешная молитва.

— Да, молись, Наташа, молись! — глухим голосом проговорил князь Иван. — Только нет, Господь Бог не смилосердится над нами: давно мы все заслужили гнев Его, возьмет Он к себе эту чистую душу, нами, окаянными, погубленную. А нам, нам остается тяжкая кара и здесь, на земле, и на небе!

Не могла слушать речей этих Наталья Борисовна. Зачем он и себя с ними равняет и себя к ним причисляет. Он и они, что мрак преисподней и светлое небо.

— Ах, Наташа, теперь все вины мои стоят передо мною. Нет такого наказания страшного, нет такой пытки ужасной, не выдумали люди такую пытку, какую я заслуживаю. Все теперь помню, все, в чем повинен был перед государем. Многому дурному научил я его во дни моего неразумия, во дни моего окаянства.

— Да ведь это же давно было, — прервала его Наталья Борисовна. — Ведь ты теперь совсем другим человеком сделался; ведь знаю я, что кроме добрых советов ничего не слышал от тебя император.

— Да что эти добрые советы были! Поздно взялся я за разум, голову снял, да о волосах стал плакаться. Нет, Наташа, ждет меня кара,

и я сам пойду на нее!

Он отшатнулся от Натальи, он с ужасом взглянул на нее и схватил себя за голову.

— А перед тобой-то, перед тобой-то как я виновен! Зачем я погубил тебя-то, зачем связал твою светлую жизнь с моей беспутной, черной жизнью!? Наташа, слушай меня, слушай: торжественно, перед Богом заклинаю тебя: уйди от меня! Оставь меня! Я отказываюсь от тебя! Слышишь? Отказываюсь. Ты мне больше не невеста! Я не загрязню тебя, я не заставлю тебя идти за мною в мое страшное будущее. Слышишь, Наташа? Я от тебя отказываюсь!

Он дрожал, он смотрел на нее как помешанный.

Она схватилась за сердце, крикнула отчаянным голосом и кинулась ему на шею.

— Ты от меня отказываешься? — говорила она, глядя на него с мукой и любовью. — Ты от меня отказываешься, и ты можешь от меня отказаться? Хорошо, отказывайся, если меня не любишь, да я-то не откажусь от тебя! Никто, никакая сила человеческая тебя от меня не отнимет теперь. Ты мой, слышишь? Ты мой, на всю жизнь! На счастье, на муки, на радость и горе, всюду пойду я за тобою. Отказывайся, беги от меня. Я настигну тебя, где бы ты ни был. Достану тебя на глубине моря, всюду достану. Нет, ты не уйдешь от меня, твоя судьба будет моею судьбою. Я покажу тебе, что умею любить только раз в жизни. Я покажу тебе, как верна в любви я; я покажу это всему свету. Бедный, милый Иванушка, где же твой разум-то? Сообразить не можешь, что в счастье великом могла бы я тебя еще оставить, а в горе как же я тебя кину? Неразумную вещь ты придумал: теперь-то я и нужна тебе. Спешите же, спешите скорее, немедленно иди к императору.

Она крепко, крепко его поцеловала. Она перекрестила его, благословила, убежала к себе в спальню, заперла на ключ дверь и стала горячо молиться.

Себя не помня, приехал Иван Алексеевич во дворец и кинулся к спальне императора.

— Что он, что?

— Взгляни, уж без памяти, — прошептал в ответ ему Алексей Григорьевич, не отходивший от кровати Петра.

Император, действительно, лежал без памяти. Он метался, воспаленные глаза его глядели на присутствовавших и никого не



видели.

— Что ж, он говорил что-нибудь? Звал кого-нибудь? — спрашивал князь Иван.

— Зовет Андрея Иваныча, да не знаю я, пускать ли? Пускать не следует.

— Как? И теперь, и теперь его еще мучить? Кто-нибудь! Скорее зовите барона Остермана! — обратился Иван Алексеевич к окружавшим.

Никто не шевельнулся. Тогда сам князь Иван отворил двери и позвал барона.

— Андрей Иваныч, где ты? — раздался слабый голос императора.

— Здесь я, здесь, государь, здесь... или ты меня не видишь?

— Кто говорит это? Это не твой голос, Андрей Иваныч, тебя нету, приди же ко мне, тебя не пускают, тебя у меня отняли. Где ты, Андрей Иваныч?

И тщетно Остерман старался уверить больного, что он здесь, тщетно брал его за руку — император смотрел на него, но ничего не видел. Вот он совсем замолчал. Все притаили дыхание... «Может, заснет». Не это был не сон, а забытье тяжкое. Наступило бессилие, и долго длилось оно.

Полночь давно пробила. Еще час прошел — все недвижим император.

— Иванушка, ты здесь? — наконец раздался опять слабый голос. — Поди ко мне поближе, или нет, остановись, встань только так, чтобы я мог тебя видеть. Не подходи ко мне, ведь у меня оспа, я могу заразить тебя. Ах страшно, ведь это! Подальше уйди, подальше. Ты должен беречь себя: у тебя невеста, ведь на лице знаки останутся, подурнеешь ты, князь Иван... Послушай, я лежал вот, и мне слышалось, что кто-то сказал, будто я совсем умираю. Иванушка, правда ли это?

— Неправда, неправда! — едва сдерживая рыдания, говорил князь Иван. — Неправда, государь, ты выздоровеешь, потерпи немного...

— Да, я хочу выздороветь. Я не хочу теперь умирать. Мне жить хочется, я встану и другим сделаюсь. По новому все начнется. А где она, моя невеста? Прошу, чтобы ее не впускали, да, впрочем, и сама не придет: побоится испортить красоту свою. Ну, и хорошо, я не могу ее

видеть! Я не хочу ее видеть, слышишь, Андрей Иванович? Не хочу, ни за что не хочу!..

Алексей Григорьевич, если б только можно было, зажал бы рот умиравшему.«Ведь вот-таки позвали этого Остермана! Теперь вот сидит и каждое слово в своей памяти записывает. Потом из всякого слова сделает историю: за звук один погубить нас сумеет!..»

Он кинулся к Остерману и уж не знал, что и придумать, чтоб только как-нибудь удалить его из спальни.

Но сознание вернулось к больному.

— Оставь его, Алексей Григорьевич, — строго проговорил он. — Не уходи, будь со мною, Андрей Иваныч. А где Лиза? Как бы хотел я ее видеть. Где Лиза, и ее не пускают?! Пошлите за нею сейчас, чтоб непременно она приехала. Я хочу ее видеть, хочу, слышите! Лиза, где ты, моя добрая, милая Лиза? Посмотри, как я болен: говорят, я умираю. Веришь ли ты, что я умираю?

И он ждал ответа, но никто не отвечал ему: цесаревны не было. Ее решительно не впускали, представляя в резон, что она может заразиться. Но теперь и за нею послал Алексей Григорьевич.

«К чему было не впускать? — думал он. — Если и заразиться, тем лучше, — пускай сама заболит и умрет, хоть с этой стороны не будет напасти».

Прошло еще несколько минут, и снова император потерял сознание... он стал бредить. Вот и сестру вспомнил, вот ему кажется, что перед ним она, что он говорит с нею.

— Наташа, чего ты так долго не приходила, зачем меня одного оставила? А без тебя что было со мной, какие муки, какое горе! Прости меня, Наташа, я грешник великий, да, я преступил свою клятву, тебе данную: здесь, в этой ужасной Москве остался, и Бог наказал меня! Болен я, тяжело мне! Наташа, зачем ты меня оставила? Наташа, не отвертывайся от меня, прости меня. Послушай, не верь им, никому не верь, если тебе скажут, верь: насильно, против моей воли все это сделалось. И все оттого, что тебя не было. Я ждал тебя, ждал, а ты не приходила...

Волосы дыбом становились на голове у Алексея Григорьевича. Он Бог знает что бы дал теперь, чтоб никого, кроме него, не было в спальне.

Остерман сидел с наклоненной головою, ото всех пряча лицо свое.

Князь Иван ни о чем не думал, даже, может быть, не понимал смысла слов умиравшего своего друга. Он только терзался тоскою, только чувствовал всем своим сердцем, что еще минута—другая — и все будет кончено...

Медленно отворились двери, и тихо, едва держась на ногах, в спальню вошла царица Евдокия Федоровна. Она снова явилась мрачным привидением, как и тогда, в последние минуты жизни внучки своей Натальи. И как тогда никто не обратил на нее внимания, так и теперь тоже. Император уже не мог ее видеть, о ней не думал, а видел теперь только тех, кто был в его сердце.

Снова тишина водворилась в спальне. Слышно было тяжелое дыхание умиравшего. Доктор наклонился над ним, взял его за руку и печально покачал головой.

Вдруг все лицо Петра преобразилось. С широко раскрытыми, блестящими глазами приподнялся он с подушки.

— Иван, Иван! — Скорей запрягайте сани... хочу к сестре ехать!..

Он силился еще сказать что-то, но вместо слов слышались одни хриплые, непонятные звуки. Он к кому-то простер руки и вдруг упал навзничь. Его руки опустились.

#### XIV

На другой день рано утром в палатах Верховного Совета назначено было собрание. Туда съехались все сановники, а также и высшее духовенство.

Началось предварительное совещание о том, кого теперь выбрать на престол Российский. Все были в сборе, одного Остермана не было: он находился при теле государя и в Совет не поехал. Многие уговаривали его, но он решительно отказался. И покидать тело любимого монарха нет у него силы, да и в Совете ему делать нечего: он иностранец и примет общее решение.

Но все же рано утром над телом царственного покойника Остерман уже успел переговорить с князем Дмитрием Голицыным. Теперь он мог оставаться спокойным, он знал, к чему будет клониться решение Верховного Совета.

В Совете же был шум великий, и долго никто не мог понять друг друга.

Все, что говорилось еще накануне про разные партии, теперь оказалось вздором, никаких партий не было; все явились ни к чему не приготовленными, пораженными смертью единственного внука Петра Великого по мужской линии, и потому все шло вразброд. Сильнее всех и отчаяннее говорил и требовал внимания князь Алексей Долгорукий. Он сразу объявил, что престол должен принадлежать его дочери, показывал всем завещание Петра II, но никто не обращал на него внимания.

Если б мог князь Алексей взглянуть теперь вокруг себя хладнокровно, он увидел бы ясно, что дело его проиграно. В семье Долгоруких единства не было: он остался один со своим подложным письмом, на которое никто и глядеть не хотел.

Имя царицы Евдокии Федоровны пронеслось было по собранию, но сейчас же и замолкло. Старая, умирающая монахиня, что ж это будет? Царица на два дня, а потом опять то же! Цесаревну Елизавету даже как будто совсем позабыли.

Один князь Дмитрий Михайлович Голицын упорно молчал. Он выжидал время, когда все успокоится настолько, что станут его слушать, и вот, выбрав удобную минуту, он встал со своего места и заговорил ровным, громким голосом о том, что дом Петра I пресекается со смертью Петра II, и по справедливости необходимо перейти к старшей линии, то есть к линии царя Ивана Алексеевича. Старшую дочь его, царевну Екатерину, выбрать трудно, она замужем за герцогом мекленбургским, а вторая дочь, Анна, герцогиня курляндская — вдова, свободна и одарена всеми способностями, необходимыми для монархини.

Алексей Григорьевич кинулся было к нему, ему хотелось задушить его, сам он и не вспомнил про бедную курляндскую герцогиню и вообразить не мог, что она явится соперницей его дочери, но князь Алексей удержался. Он с ужасом увидел, как все собираются кругом Голицына, как все кричат: «так, так! Конечно, и рассуждать больше нечего! Выбираем Анну». «Анна! Анна!» — только и слышалось в заседании Верховного Совета.

Тяжелые двери растворились и на пороге залы показалась полная, бледнолицая фигура барона Андрея Ивановича Остермана.

— И я подаю свой голос за герцогиню курляндскую! — проговорил он. — У одной у нее, по мнению моему, законное и неоспоримое право владеть русским престолом.

Алексея Долгорукого родственники должны были вывести из залы заседания: сам он уж идти не мог. Он безумно глядел на всех и шептал слова непонятные.

А в это время»разрушенная царская невеста»гнала всех от себя, никого к себе не впускала: сидела, запершись, в своих комнатах. Какие муки вынесла она, какие мысли прошли в голове ее, никто о том не ведал, да и никто теперь о ней и не думал больше. Каждый был занят своим личным горем, своими опасениями, и стон стоял по Москве от этого личного горя.

Не избег его и дом Шереметевых: в этом доме в гробу парчевом лежала покойница: бабушка Натальи Борисовны.

И не знала бедная невеста Ивана Долгорукого, о чем ей больше печалиться; о смерти ли доброй бабушки, или о смерти императора. Чувало сердце Натальи Борисовны, что беды только еще начинаются, что впереди одно горе. Плакала она и стонала день целый, и никто не мог ее утешить. Она хорошо предвидела, что не оставят теперь в покое ее друга милого, что погиб он. Родные ее уговаривали, представляли ей, что она еще человек молодой и нечего так безрассудно сокрушать себя. Можно этому жениху отказать, если ему худо будет; мало ли женихов у нее найдется. Но она с ужасом просила родных молчать и не заикаться ей о таком позорном деле; не для славы, богатства и почестей решила она выйти за князя Ивана.

— Не могу я согласиться такому бессовестному совету! — твердила она. — Одному отдала свое сердце, чтоб жить и умереть вместе, а другому уж нет участия в любви моей. Нет у меня той привычки, чтоб сегодня любить одного, а завтра другого! — и снова она плакала, и конца не было слезам ее.

«Он-то что теперь, он-то, несчастный, как мучится? — думала она. — Хоть бы на минутку его увидеть!»

Но князь Иван не показывался; он был при гробе императора.

Вот и день пришел страшный. Сейчас повезут мимо двора Шереметевых государя. С опухшими глазами, измученная, на себя непохожая, подошла к окошку Наталья Борисовна, к стеклу прильнула и замерла. Видит она, по улице уж медленно подвигается

торжественная процессия. Вот проходят духовные особы: множество архиереев, архимандритов и всякого духовного чину. Потом несут государственные гербы, кавалерии, ордена разные, короны. Вот и гроб. А перед гробом идет князь Иван Алексеевич, несет на подушке кавалерии. Двое людей каких-то ведут его под руки, «сам, видно, ослабел совсем, бедный». Слезы застилают глаза ее, грудь давит от рыданий, но все она смотрит, не отрываясь смотрит на своего несчастного друга. Епанча на нем траурная, предлинная: флер на шляпе до земли, волоса распущены, сам так бледен. «Никакой в нем нет живости».

Вот по ровнялся он с окном, из которого она глядит, взглянул на нее опухшими от слез глазами — и махнул рукою. Все закрылось перед Натальей Борисовной. Со стоном упала она на окошко и лишилась чувств.

С этой минуты кончилась ее прежняя жизнь, веселая жизнь девичья, кончилось ее счастье мимолетное, началась новая жизнь, страшная, такая страшная, что если б она могла всю ее предвидеть, молила бы об одном только Бога: взял бы Он ее поскорее.

Вслед за воцарением императрицы Анны Иоанновны началось преследование мнимых и явных врагов ее: конечно, прежде всех, Долгоруких. Обвинили их в том, что они не берегли здоровье государя и были причиною его ранней смерти. И повторилась над Долгорукими судьба Меншиковых. По той же дороге пошли они, и кончилось их странствие тяжелыми испытаниями, всякими обидами и мучением, окончилось тем же далеким сибирским островом, где стоял домик, построенный Александром Даниловичем.

Графиня Наталья Борисовна, несмотря на все мольбы и даже угрозы родных своих, не отказалась от жениха, и всей своей долгой страдальческой жизнью доказала свету, что в любви верна она. Дальнейшая история Долгоруких может составить предмет многих рассказов, но со смертью Петра II наш рассказ окончен. «Разрушенная невеста» была причиною окончательной гибели родных своих и в том числе брата. Она отомстила им, как давно о том мечтала. Сама она во все время царствования Анны Иоанновны находилась в тяжелой ссылке. Но императрица Елизавета вернула ее в Россию, окружила прежним блеском и величием. Катерина Алексеевна вернулась ко двору постаревшею, изменившеюся, но неизменным оставалось ее

гордое сердце. Она вышла замуж за графа Брюса и скоро умерла от сильной простуды. Последние слова ее перед кончиной были: «сожгите все мои платья и наряды — не хочу, чтоб кто-нибудь носил их после меня!»

Смутное переходное время русского общества, вызванного к новой жизни гением Петра Великого, создало целый ряд страшных драм. Перед нами проходят вереницы виновных и невинных жертв общественного разлада, и невольно сжимается сердце, вспоминая судьбу иных чистых и светлых людей, безвременно погибших. Среди этих образов стоит и юный император. Природа богато одарила его; в другое время, в других обстоятельствах, при другом воспитании из него, может быть, вышел бы достойный преемник великого деда. Но судьба решила иначе, и он должен был погибнуть.

Долгорукие вполне заслужили свою кару. Один только из них, князь Иван Алексеевич, искупил все грехи своей юности. Строго судить мы его не можем. Мы видим его впоследствии добрым и честным мужем, истинным, терпеливым христианином. Приговоренный к четвертованию, он встретил эту страшную казнь с величайшим душевным спокойствием. Твердым голосом начал он последнюю молитву в то время, как отрубили ему руку, и кончил молиться лишь тогда, когда голова его отделилась от туловища. И его мы должны причислить к безвинным жертвам страшного времени.

Но последнее слово наше принадлежит жене его, Наталье Борисовне, печальная судьба которой хорошо знакома русскому народу. Она осталась в памяти народной светлым идеалом чистой душою женщины, жены, матери и христианки. Всю жизнь свою терпела она горе за горем; скончалась в Киеве монахиней. Последние слова ее, записанные ею перед кончиной, были: «оставите по смерти моей, пролейте слезы, вспомя мою бедственную жизнь. Всякого христианина прошу сказать, вспомя меня, слава Богу, что окончилась ее жизнь, не льются уж токи слез и не вздыхает сердце ее».

Ее тело погребено при самом входе в киево-печерскую лавру, рядом с гробом ее младшего сына, ранняя смерть которого была последним ее горем. Надписи на могильной плите теперь не существует. Много людей проходит над прахом многострадальной женщины, не зная, что здесь ее могила, но ее имя не умрет — оно заслужило бессмертие.